ФАБР

Е. Васильева,
И. Халифман

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга рассказывает о знаменитом французском энтомологе и писателе — Жане Анри Фабре.

- Евгения Николаевна Васильева
  -
  - От авторов
  -
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - Глава V
  - Глава VI
  - Основные даты жизни и деятельности Жана-Анри Фабра
  - Краткая библиография
  - Иллюстрации
  -
- notes
  - 1
  - 2

Евгения Николаевна Васильева
Иосиф Аронович Халифман

Фабр

Жизнь замечательных людей

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М ГОРЬКИМ

ВЫПУСК 14
(428)

МОСКВА
1966

Е. Васильева, И. Халифман

ФАБР

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

От авторов

В поиске материалов нам помогли профессора Н. Н. Гусев и Х. Ф. Кушнер, доцент В. А. Алексеев; доктор Энни Мак-Лорен из Эдинбурга (Шотландия); академик Г. Гранди из Болоньи (Италия); профессор А. Балашовски и г. Ж. Карейон из Национального музея естественной истории (Франция, Париж); бывший и нынешний хранители сериньянского дома-музея Фабра «Гармас» доктор П. Вейсьер и г. Л. Жерен; председатель общества «Друзья Оранжа» доктор П. Р. Росса; основатель и хранитель музея Фабра на его родине в Сен-Леоне заслуженная учительница г-жа Мари Гавальда, мэр Сен-Леона г. Пьер Гавальда; директор института Прованса при Сорбонне профессор Жан Бутьер; доктор К. Ш. Матон из университета в Пуатье; доцент Ж.-Л. Декамп; г. Жорж Альфандери (г. Монфаве, Воклюз), предоставивший в наше распоряжение свою уникальную библиотеку по истории французской энтомологии и с неисчерпаемой благожелательностью снабжавший нас редкими изданиями, журналами, документами.

Всем этим лицам, а также сотрудникам архива АН СССР, московских и ленинградских научных библиотек и редакции русского издания писем Дарвина выражаем глубокую признательность.

Глава I
Его университеты

…Учит грамоте ребят
Весь седой ворчун-старик,
Отставной солдат.
— Я согнулся, я уж слаб.
А виды видал!
Унтер не был бы, когда б
Грамоте не знал!
Дружно, дети! Все зараз!
Буки-аз! Буки-аз!..

П. Ж. Беранже, «Урок»

Часто бывает, что призвание натуралиста просыпается раньше, чем научный интерес к природе, в чистом виде.

Академик Жан Ростан, «Право быть натуралистом»

В конце концов должна была появиться голова, готовая заняться всеми загадками, которые ставят на каждом шагу эти маленькие создания, бессчетные, как звезды, загадками, быть может, более разнообразными, более диковинными, более неотложными, чем загадки звезд…

Морис Метерлинк, «Ж.-А. Фабр»

На перегоне между знаменитым Авиньоном и знаменитым Арлем лежат совсем рядом одна с другой еще две географические точки, увековеченные в литературе: это Тараскон, родина достославного Тартарена, и Бокер, ныне мало кому известный. Экспрессы проносятся мимо него без остановки, местные поезда привозят и увозят считанных пассажиров. Зато лет полтораста назад чуть не все пути на юге Франции вели летом в Бокер и чуть не все французские поэты и прозаики упоминали о бокерской ярмарке.

Правда, и тогда Бокер был маленьким и, несмотря на древний замок, жалким городком. Многие считали, будто на свете вообще нет места более скучного.

Но то вообще. Во время же проходивших здесь каждый год ярмарок сонный триста тридцать дней в году уголок становился неузнаваем.

Пестрые толпы заполняют узкие улочки и тесные площади. Шум и громкий говор взрывают застоявшуюся тишину. Натренированное ухо разбирает в слитном гуле наречия Франции и языки иных стран. Купцы прибывают с севера, с запада, с юга — из Неаполя, Генуи, Кипра, Греции, Мальты… Заняты все городские лавки и склады. Крытые холстом ларьки, примостившиеся вдоль домов, доверху забиты добром: штабелями шерсти, кипами белья. На каменных скамьях меж деревьев и прямо на тротуарах выложен нехитрый товар мелких галантерейщиков.

Ярмарка выплескивает за городскую черту, захватывает берег реки. Возле каменного Бокера на огромном лугу возникает дощатый: тянутся ряды, павильоны, палатки.

Преобразилась и Рона. Как ни широка она здесь, как ни быстро ее течение, она вся покрыта судами. Каталонские парусные лодки, генуэзские фелюги, марсельские шаланды, барки из Гренобля теснятся у причалов или стоят на якоре подальше от берега.

Над водоворотом толпы, кружащей в лабиринте ларьков и складов, колышутся полотнища ткани. Они натянуты поперек улиц — квадратные, круглые, треугольные, пунцовые с белыми надписями, зеленые с ярко-красным текстом.

Здесь указаны имена торговцев, их адреса в Бокере.

Ветер развевает эти фирменные штандарты, плещет ими, и весь город на берегу сверкающей реки кажется каким-то сказочным восточным кораблем.

Покупатели тоже собираются отовсюду. Крестьяне — ближние и дальние, скопившие гроши к заветному дню. Целые семьи с уединенных ферм, из горных селений, оставившие ради

ярмарки свои неприступные высоты. Объездчики полудикого скота, что пасется на равнинах Камарга, — гардианы в широкополых шляпах и цветных рубахах, в штанах из кротовьих шкур и с красными поясами — тайолями.

Весь этот люд чего-то ищет, на что-то глазеет, к чему-то приценивается, с кем-то торгуется. В толпе снуют с лотками продавцы сластей, пробираются водоносы с овальными бочонками, покоящимися на плече и затылке. Грузчики, шатаясь под тяжестью тюков, кричат устрашающее: «Поберегись!» Вопят разносчики газет. В стороне, не жалея сил, упражняются на контрабасах и валторнах, готовясь к вечерней страде, музыканты. После заката начинаются балы. Там гуляют жители Нима, здесь — Оранжа, дальше — авиньонцы. Звуки провансальских дудок сплетены с голосами скрипок, виолончелей, а то и заглушают их.

Стендаль, посетив Бокер, заметил в «Записках туриста», что с утра и до поздней ночи «толчея и давка такие, о каких даже в Париже не имеют понятия».

Запись сделана 27 июля 1837 года и потому для нас особенно интересна: она рисует именно ту ярмарку, на которой был герой этой книги.

Остроглазый черноволосый подросток несет на переброшенном через плечо ремне лоток с лимонами. Он пробирается меж толстых стен из вязок луковиц и венков чеснока. Провансалец привычен к их запаху, но здесь этот дух чересчур плотен.

Продавец лимонов спешит туда, где из решетчатых ящиков и корзин выглядывают округлые бока яблок и груш, а на холстинах высятся вороха миндаля, орехов, изюма, слои сушеных и свежих винных ягод. В горячем и сладком, словно даже липком воздухе кружат рои плодовых мух, тучи опьяневших от обильного корма ос и пчел, носятся легкие стрекозы.

Конечно, плодовый квартал соблазнителен, но самое заманчивое дальше. Тут на прилавках цветут обложки книг и стопы красочных литографий.

К прилавку фирмы братьев Декер из Монбельярда близко не подойдешь, только издали видна пухлая книга с нарисованной на обложке каменной башней, в настежь открытое окно глядит красавица, а перед ней распростерла крылья огромная, как гусь, грязно-синяя птица с короной из перышек на голове. Название книги — «Синяя птица» — напоминает сказку о волшебнице, выполняющей любые желания.

А у него есть желания? Добыла бы синяя птица кучу книг. Но куда их девать? Пусть по одной; прочитаешь — она новую несет…

Лоточник проходит мимо палатки, в которой продают

игральные карты; среди них и старинные, первых лет революции, когда валета заменил садовник, даму — жница, короля — лесоруб.

Его привлекают стены балаганов, сплошь обклеенные иллюстрациями из «Юности Поля и Виргинии». Сколько слез пролил он над этой книгой! Рядом лубок о ремеслах. Лист разбит на клетки, и в каждой фигурка: сеятель, аптекарь, художник, шляпных дел мастер, фокусник, точильщик, портной, колбасник, рыбак…

«Кем же я стану?» — думает продавец лимонов. Ни шляпник, ни колбасник, ни даже фокусник его не прельщают.

Дальше на литографиях скачут во весь опор драгуны с саблями наголо, идут гренадеры, подносят к пушкам запал канониры. Продавец скользит взглядом по картине «Ступени бытия человеческого».

— Эх, я и до второй не добрался!

Нет, если что разглядывать, так это «Все — дыбом», «Все — наоборот». Чего тут только не увидишь! В плуг впряжены два крестьянина, за ними с кнутом идет круторогий вол; сын учит отца азбуке; от ветряной мельницы, она свисает с облака острой крышей вниз, еле бредет, согнувшись под туго набитыми мешками, человек, его погоняет осел…

— Ну и выдумщики! — покатывается со смеху парнишка и с удивлением слышит разговор стариков горцев.

— Пожалуй, похоже, — хмуро ворчит один.

— У нас и не такое случается, — зло добавляет второй.

Продавец послушал бы их еще, но тут покупатель отрывает его и начинает перебирать лимоны. Наконец он уходит, и парень, сунув выручку в карман, снова смотрит во все глаза.

«Плот „Медузы“» — литография знаменитой картины Теодора Жерико, и рядом лубок, подробности трагедии, происшедшей еще до рождения продавца, в 1817 году. «Медуза» идет вдоль берегов Сенегала, на которых высятся стройные пальмы; фрегат сел на мель, и пассажиры спасаются, карабкаясь на плот; на плоту под палящим солнцем гибнут от жажды и голода спасшиеся; после 12 дней плавания, когда из 149 человек в живых осталось всего пятнадцать, несчастные видят вдали паруса брига «Аргус»; наконец, матросы с «Аргуса» подбирают полумертвых пленников океана.

Какой раз приходит сюда продавец, а все смотреть страшно!

Зато локомотив — это невиданное чудище — радует глаз. На картинке небо более синее, чем безоблачная лазурь Прованса; чистым серебром и золотом сверкают обручи, которыми окована огромная бочка на колесах; спереди на бочке пузатая труба, из

нее валит черный дым, а снизу бьет пухлая струя белого, как вата, пара. С зеленых откосов на новинку глазеют господа в громадных цилиндрах и дамы с крохотными зонтиками…

Стендаль описал ярмарку как торжище, праздник и приключение. Он не сказал только, что она была для простого люда еще и открытой выставкой, общедоступной школой с несчетными наглядными пособиями. На каждом шагу прибывшего поджидали, отовсюду на него смотрели вещественные доказательства перемен, исподволь обновляющих жизнь страны. Они звенели в новых скобяных изделиях, блестели в лаке галантереи, шелестели в мануфактуре новых расцветок, в листах литографий — жили во всем, что производилось посленаполеоновской Францией как товар.

Не удивительно, что здесь, вдали от хозяйского глаза, юный лоточник был не столь увлечен продажей лимонов, сколько смотрел по сторонам, впитывая картины живописной географии и натурального краеведения. Это впечатление — на всю жизнь! Но, забыв о лимонах и покупателях, он разглядывал не одни лишь лубки, а и ос в фруктовом ряду; не один лишь разрисованный локомотив, а и заблудившуюся бабочку, которая опустилась на прогретый солнцем холст палатки и отдыхала, раскрывая и смыкая украшенные орнаментом крылья.

Напиши об этом Стендаль, мы без колебаний признали бы в подростке-оборвыше Жана-Анри Фабра. Того самого Фабра, который к концу своей долгой жизни стал наиболее известным на всех пяти континентах исследователем и знатоком мира насекомых, их поведения, инстинктов. Он же стал блестящим французским прозаиком, а также видным провансальским поэтом. «Мировым чемпионом самоучек» назовут его впоследствии американские журналисты; англичане объявят одним из самых выдающихся среди salf made man — людей, что сами себя создали.

Фабр написал множество увлекательных книг по разным отраслям знаний. А его «Сувенир энтомоложик». «Энтомологические воспоминания», рассказ о жизни и нравах насекомых, рассказ о природе и человеке. — составили эпоху в развитии науки и научно-художественной литературы.

«Энтомологическими воспоминаниями» восхищались биолог Чарлз Дарвин и поэт Эдмон Ростан, математик Анри Пуанкаре и родоначальник новой провансальской литературы Фредерик Мистраль, молодой французский публицист и политический деятель Эдуард Эррио и старейший русский географ и энтомолог П. П. Семенов-Тян-Шанский, Ромен Роллан и Иван Петрович Павлов. Отрывки из сочинений Фабра — миниатюрные, как и

действующие в них существа, — печатались на обложках ученических тетрадок уже при жизни автора. В наше время кинофильмы, радио- и телевизионные передачи продолжают рассказывать новым поколениям о выдающемся естествоиспытателе, о жатве его жизни.

Все это, однако, много позже, а тогда, в июле 1837 года, четырнадцатилетний Фабр был только продавцом лимонов в Бокере. Впервые отправившись на подработки, он почти на месяц избавил родителей от заботы о себе и еще принес домой несколько франков.

Так начинались его университеты.

Жан-Анри-Казимир — сын и внук Фабров

Люди из народа не имеют гербов и фамильных девизов; нет у них бархатных родословных книг и изображаемого на пергаменте генеалогического древа с могучим стволом и тщательно выписанной распластанной кроной. Отец, мать да разве еще дед с бабкой — вот о ком из предков они обычно знают. Более далекое прошлое рода теряется в неизвестности, слито со всем вокруг, уходит корнями в землю, на которой жили и трудились эти люди.

Фабр не составил исключения.

Сам он не указал точно ни дня, ни места своего рождения, лишь мельком упомянул о Руэргском плато в Провансе. Впоследствии биографы разыскали в церковной книге кантона Везен запись: «Года 1823, декабря 22 дня крещен Жан-Анри-Казимир Фабр, рожденный в Сен-Леоне, законный сын жителей той местности — Антуана Фабра и урожденной Виктории Сальг. Крестным отцом был Пьер Рикар, учитель. В подтверждение чего и подписался Фабр, викарий».

Видимо, фамилия Фабр не была в Сен-Леоне редкой. На провансальском языке, представляющем сплав французского, итальянского и испанского — трех производных единого латинского корня, слово «фабр» значит «кузнец».

Фамилия Фабр распространена не только в этом глухом уголке юга, но и по всему Провансу, по всей Франции.

В любой старой энциклопедии присутствует целая галерея Фабров: один — историк литературы; другой — сатирик и врач, третий — поэт; есть граф, по прозвищу де л'Од — изобретатель налога на театральные билеты; есть автор сочинений о Жанне д'Арк; есть писатель, в 18 лет прославившийся блестящим

исследованием о Буало; есть исторический живописец…

Забегая вперед, скажем, что в новых биографических словарях и энциклопедиях список Фабров сильно поредел, но теперь, пожалуй, во всем мире не найдется энциклопедии, которая не давала бы справки о Жане-Анри-Казимире — крестьянском сыне, родившемся 21 декабря 1823 года в деревне Сен-Леон-де-Левезу.

Детство Жана-Анри можно описать в самых розовых красках. Он увидел свет в двухэтажном каменном доме — незаложенной собственности родителей; первые годы его прошли в родовом владении бабушки в горах. По вечерам, сидя за прялкой, бабушка рассказывала внуку сказки. О феях, отправляющих бедных девушек на бал в карете из тыквы, запряженной быстрыми ящерицами и с важными зелеными лягушатами на запятках… О мальчике с пальчик и о великанах-людоедах, одетых в латы из чистого серебра. Сверкая на солнце, латы расправляются, словно настоящие крылья, и поднимают великанов в воздух… Внук, устроившись у ног бабушки, слушал ее под жужжание веретена и как зачарованный смотрел на пляшущий в камине огонь.

Однако дадим слово Полю-Луи Курье, которого Энгельс ставил рядом с Вольтером и Бомарше, а петербургский «Современник» называл одним из замечательнейших французских публицистов. В памфлете «Деревенская газета», написанном в год рождения нашего Фабра, читаем: «Бриссон не смог уплатить долги. Он утопился. Женщина по фамилии Про из Азе-сюр-шер и бондарь из Монлуи сделали то же. Он — по неизвестной причине, она — потому, что ее обвинили в краже травы с полей… Много людей, запутавшись в делах, прибегают к этому выходу, единственному, в котором не приходится раскаиваться».

Памфлет Курье бросает суровый, но верный свет на обстоятельства жизни французских крестьян в ту пору и позволяет трезво рассмотреть подробности нарисованной выше респектабельной картины благополучного детства.

Начнем с двухэтажного каменного дома. Камня в Провансе больше всего. Недаром местные поговорки утверждают, что «камень от камня недалеко откатывается», что «камни норовят в кучу упасть». Камень тут дешевле дерева, дешевле соломы и уж, конечно, дешевле земли. Потому дом и растет вверх. Внизу — хлев, овцы, во втором этаже — люди. Стены сложены из грубого плитняка; дожди, они здесь редки, зато необузданны, проникают сквозь кладку и за сутки промачивают весь дом. Когда же обрушивается бич края, знаменитый мистраль, быстрый, как пушечный залп, холодный северный ветер, он, врываясь в жилье, гасит лучину, задувает огонь в очаге.

Конечно, дом не заложен. Кто возьмет в заклад жилище из нетесаного камня, сквозняков и сырости?

И все же одно достоинство этих каменных хижин неоспоримо. Они долговечны; переживают и своих строителей и последующих обитателей. Дом, где родился Жан-Анри и где родилась на грани XVIII и XIX веков его мать, стоит в Сен-Леоне по сей день. В 1924 году перед домом воздвигнут памятник. Авейронский ваятель Малэ изобразил Фабра во весь рост; с лупой в руке он наблюдает колонну гусениц походного шелкопряда.

Теперь о бабушке. Жана-Анри отправили к ней, когда в семье появился второй ребенок. Бабка Катрин и дед Пьер-Жан взяли лишний рот к себе — в крохотное горное селение Малаваль. Не так давно отец Фабра в поисках счастья спустился отсюда в Сен-Леон и сюда же вынужден отослать своего первенца. Разумеется, сказок Перро бабушка не знала. И хотя в ее историях действовали те же Золушка, Коты в сапогах, Красная шапочка, Синяя птица, все они говорили на языке горцев-южан, который без переводчика не понятен даже французам из других мест. Это родной язык Жана-Анри. А если он не особенно внимателен, сидя у очага, то потому, что уже тогда его больше занимали не летающие людоеды, а жуки, которые звучно гудят, проносясь вечером над лужайкой; не ящерицы, запряженные в карету из тыквы, а живые юркие создания, скользящие меж нагретых солнцем камней; не застывшие на запятках волшебной кареты волшебные лягушата в зеленых ливреях, а живые, прыгающие по дорожкам после дождя…

«С детства, сколько я себя помню, — писал впоследствии Жан-Анри, — жуки, пчелы и бабочки постоянно были моей радостью. Элитры жука и крылья махаона приводили меня в восторг. Я шел к насекомому, как капустница к капусте, как крапивница к чертополоху». Откуда это у него? Родители его и родители его родителей — нищие крестьяне, возделывающие клочок земли, «плугатари, севцы ржи, скотники». Если они и обращали внимание на какое-нибудь насекомое, то чаще, чтоб раздавить тяжелым башмаком или прихлопнуть ладонью.

Однако уже в возрасте от четырех до семи Фабр не просто радовался природе, но задавал первые вопросы и пробовал находить первые ответы. Босоногий карапуз, в штанишках из домотканой шерсти, с веревочными помочами, стоит на восточном склоне горы, смотрит на слепящее солнце. Он плотно зажмуривает веки, и светило исчезает. А что, если раскрыть при этом пошире рот, будет ли видно солнце? Нет, оно совсем не видно, только греет. Снова и снова повторяет Фабр свой опыт, и каждый раз получается, что ртом, как его ни открывай, солнца не

увидишь.

Точно так же в другой стране, другой ребенок, чье имя стало впоследствии знаменем растениеводов, как имя Фабра — натуралистов-энтомологов, высеет в землю крупные зерна соли и будет затем бегать проверять, что из них выросло…

Точно так же соотечественник мальчугана, высевавшего зерна соли, ныне знаменитый химик, подростком задумался над тем, как может из мягкого металла натрия и ядовитого газа хлора получаться совершенно непохожая на них обыкновенная поваренная соль. «С детским стремлением проверить все самому я у себя дома сжег кусочек натрия в хлоре и, получив осадок, посолил им хлеб и съел. Ничего не скажешь, это была действительно соль», — вспомнит он.

Но во времена Фабра в Малавале никто не знал о том, как рано просыпается мысль ребенка и как важно ее вовремя заметить и поддержать. Когда Жан-Анри вечером, торжествуя, оповестил домашних о своем открытии, бабушка тайком улыбалась наивности внука, другие откровенно покатывались со смеху.

«Таков свет», — вздохнет Фабр, заключая воспоминание. Казалось, все готовило его к судьбе отца и деда, к судьбе далеких предков, чье прошлое теряется в неизвестности, слито с землей вокруг. Но в нем просыпался исследователь, и он до всего старался дойти своим умом, не подозревая, что именно в этом будет его сила и его слабость.

Школа господина цирюльника

Фабру семь лет. Мальчику пора в школу, и родители забирают его в Сен-Леон. После горного безлюдья и тишины все тут захватывающе ново и интересно.

Родительский дом расположен почти на вершине холма над другими строениями деревни, разбросанной по склонам обширной воронкообразной долины. Ниже видны террасы палисадников — каждый в несколько этажей, подпираемых покосившимися стенами.

На краю деревни темнеет могучая липа. В ее дуплах, в развилках огромных ветвей Жан-Анри играет с братом Фредериком. Конечно, они не одни.

Под липой собираются все деревенские ребята.

А раз в год сюда сгоняют с округи на продажу блеющих овец и молчаливых волов. В этот день площадь возле липы

неузнаваема…

Чернобородый человек ведет за повод вереницу мулов, груженных бурдюками из козьей кожи. Это виноторговец. Он направляется к кабаку. Там на поляне выставлены банки с вареными грушами и корзины с виноградом, представляющим в Сен-Леоне заманчивую редкость, а на столиках целые горы обсахаренного аниса и розовых пуделей из ячменного леденца. Здесь толпятся, не в силах уйти, ребята.

Сельские модницы собрались вокруг крытого фургона, с которого заезжий купец развертывает перед ними куски узорчатого ситца. У лотка с безделушкам и дородная мельничиха, отведя руку и прищурившись, рассматривает надетый на запястье браслет. Ярко-голубой камень так и горит на солнце.

Дальше на земле навалом лежат башмаки из букового дерева, раскрашенные волчки, деревянные дудки. Пастухи подолгу выбирают свирели, пробуя их голоса.

Вечером у кабака разгорается шум. Только к поздней ночи все затихнет. Сколько событий!

Впрочем, Жану-Анри с Фредериком есть чем заполнить и обычный день. Ведь у них при доме садик: шагов тридцать в длину и шириной не менее десятка. Правда, их сад самый крохотный в Сен-Леоне — маленькая грядка, и никаких деревьев: одна яблоня затенила бы весь участок. По краю террасы тянется густой рядок кустов смородины.

Братья проползают сквозь смородину до обрыва, выложенного камнем. На дне — владение господина нотариуса. Вот сад! Здесь не только кустарники, но и грушевые деревья. Великолепная жизнь должна быть при таком участке и таких грушах! Райское местечко! Повзрослев, Фабр шутил, что они с братом видели рай, но рассматривали его не снизу вверх, как положено, а сверху вниз.

В этом раскинувшемся внизу раю были даже ульи и вокруг них рыжим дымком вились пчелы. Ульи стояли под ореховым деревом, что росло из трещины скалы. Крона его кудрявится почти на уровне смородинной изгороди, и братья считают урожай в какой-то мере своим. Правда, собирать с него орехи рискованно. Усевшись верхом на сук, надо медленно подвигаться вперед, повисая над обрывом. Чуть что — конец! Не помилуют ни мать, ни слуга нотариуса, ни пчелы из потревоженных ульев. Между тем Фредерик уже протягивает брату крючковатый тычок. С помощью этого орудия можно пригнуть дальние веточки. Карманы наполнены. Пятясь, храбрец возвращается на твердую землю. Орехи делятся поровну, последний, нечетный, раскалывают пополам. Осталось скрыть от родительского взора

выкрашенные кожурой пальцы. Скорее к ручью, оттирать их песком!

Когда тут скучать? Когда заниматься?

Впрочем, школа не особенно перегружала воспитанников. Описывая состояние народного образования в эпоху, когда юный Фабр обучался грамоте, французский историк Олар указывает, что старые декреты Конвента, имевшие целью поднять авторитет и упрочить положение народных учителей, давно утратили силу. Уже при Наполеоне местные власти предоставляли сельским педагогам, как во времена старого режима, только жилье и при нем небольшой участок земли; вознаграждение же выплачивали родители — по франку в месяц. Часть учеников от платы освобождалась, и учитель, собиравший триста франков в год, мог считать себя счастливым.

«На осенних ярмарках, — сообщал в Париж префект одного из южных департаментов, — у нас можно встретить много учителей. В одежде из грубого сукна они прогуливаются среди толпы, и их шляпы с пером оповещают о звании и о готовности наняться на зимний сезон в учителя. Просто поражаешься, как мало они просят за свой труд».

Жизнь учителей отравляла не только беспросветная бедность. Все они находились под негласным контролем служителей церкви, а те, по замечанию историка, ревниво, недоверчиво и недоброжелательно косились на подопечных.

Вот что писали сельские кюре по своему духовному ведомству о педагогах: «Учитель Моро достаточно образован, чтоб преподавать детям грамматику, историю, арифметику, но мораль и наука о спасении души стоят у него на последнем месте». Учителя Моро ожидало неизбежное отстранение от работы на ниве народного просвещения. Зато вполне спокоен мог быть тот, у кого «прекрасные нравственные и религиозные качества и немалый талант: служит подьячим в приходе». И тот, кто как «Лекост, отставной солдат, предпочитает легкое место школьного учителя тяжелым полевым работам»; ведь «хоть и приходится сомневаться в достоинствах его познаний, поведения он, однако, похвального».

Господин Пьер Рикар, сен-леонский учитель и крестный Жана-Анри, имел все основания занять место в одном ряду с подьячим и отставным солдатом Лекостом.

Прежде всего он управлял имением собственника, изредка навещавшего деревню. Владение состояло из земли, окружавшей развалины замка, где жили когда-то дворяне, изгнанные потом революцией. В четырех башнях замка были устроены голубятни. Прилегающие участки давали урожай трав, овса, а в иной год

также орехов и яблок.

Летом ученики помогали наставнику. Те, что помоложе, ворошили сено, чистили голубятню, в сырую погоду давили улиток, наползавших на живую изгородь. Жан-Анри от этой повинности уклонялся. Не лучше ли набить улитками карманы, как недавно он набивал их орехами? Эти медлительные, оставляющие за собой на листьях влажный след живые безделушки — желтые, розовые, белые, все с черными спиральными полосками, право, на редкость красивы. Удивительно, что Фредерик так равнодушен к ним, не понимает, что разглядывать их слаще, чем сосать ячменного пуделя.

Господин Пьер Рикар ведает не только остатками поместья вокруг руин замка, но также тремя колоколами храма. Он отмечает трезвоном свадьбы и крещения. Хорошо еще, что ему не приходится, как другим учителям, подрабатывать в роли могильщика! Когда же приближается буря, он бьет в большой колокол, чтоб отвести от деревни град и молнию. (Уже полвека назад парижские модницы щеголяли в шляпках с громоотводами, но сюда изобретение великого Франклина не успело дойти ни в каком виде!) Раз в несколько дней г. учитель поднимается по засыпанной голубиным пометом лестнице на церковную башню. Прикинув по солнцу час, он устанавливает на циферблате стрелки и, открыв большой дощатый ящик, колдует среди зубчаток и осей, заводя часы, секрет которых известен ему одному во всем Сен-Леоне. По вечерам учитель поет в церкви, наполняя ее своим хриплым басом. Наконец, заросший черным волосом до бровей г. Рикар отлично работает ножницами и бритвой. Услугами просвещенного брадобрея пользуются мэр, нотариус, над садом которого собирали орехи Жан-Анри с Фредериком, кюре, посылающий по начальству характеристики на г. учителя, и прочая сельская знать, включая кабатчика.

Одним словом, учителю приходится быть «Фигаро здесь, Фигаро там» больше, чем подлинному севильскому цирюльнику. Но все службы и повинности никак не освобождали г. Рикара от вполне будничных хозяйственных забот. Он присматривал за ослицей, поросятами и курами, кормя живность в учебное время и нередко в самом классе. Ведь в доме это единственная комната. Здесь, перед узким окошком, прорубленным под самым потолком, стоял стол; вокруг на скамьях сидели старшие, они занимались письмом. Каждый приносил с собой перья из крыльев индюка или гуся, а также сажу и уксус для чернил.

Перья чинил сам учитель. Это работа деликатная. Проверив перо на ногте, г. Рикар брал чистую страницу и выводил сверху палочки, буквы, а то и целые слова. Иногда он давал себе волю и

украшал страницу произведением искусства. Сделав несколько кругов в воздухе, рука его пускалась в извилистый полет над бумагой, и написанная только что строка оказывалась окруженной гирляндой завитков, спиралей и штопоров, из которых вылетала, распростерши крылья, птица. Вечером бумага, принесенная школяром, переходила в кругу семьи из рук в руки.

— Какой человек! — говорили сенлеонцы. — Какое образование! Одним росчерком пера изобразить дух святой…

Каллиграфические шедевры способствовали авторитету г. Рикара не меньше, чем бритье бороды нотариуса, мэра и кюре.

С наступлением холодов ученики норовили примоститься поближе к очагу. Здесь на двух камнях горела связка веток, а около пирамидкой лежали дрова. Каждый школьник должен принести с собой полено, если хочет получить доступ к теплу печи. В углу лопатка, которой выгребают золу, и длинная пробуравленная каленым шомполом еловая ветвь для раздувания огня: деревянную трубку прикладывают ко рту, конец приближают к огню. Дуть надо изо всех сил. Школьный очаг подсказал впоследствии Фабру тему для одной из его первых книг — для «Истории полена».

…Отблески пламени по-рембрандтовски выхватывают из тьмы лица учеников за столом, докрасна накаляют бок медного ведра с водой, превращают в золото оловянные блюда и чаши на полках. В игре света преображаются прибитые по стенам картинки из жизни святых и страстотерпцев. Лица коварных должников, убивающих господина Кредита (единственная в галерее г. Рикара картинка на светский сюжет), приобретают особо злодейское выражение.

Однако воспитанников занимают сейчас не зрелища и не пища духовная. В котлах варится, булькая, месиво для поросят. Самые отчаянные, улучив мгновение, выхватывают, наколов на кончик ножа или на заточенный прутик, полусырую картофелину и, обжигаясь и дуя, уплетают ее.

Впрочем, и не это всего заманчивее в школьные часы.

Дверь из класса вела во внутренний двор, где курица, окруженная цыплятами, рылась в куче навоза, а дюжина поросят тыкалась рыльцами в каменное корыто. Время от времени кто-нибудь из школьников, естественно, выходил, а вернувшись, не забывал оставить дверь неприкрытой. Вскоре в класс врывались поросята, почуявшие запах картофеля, бурлящего в котлах, или курица со своими цыплятами. «Каждый спешил накрошить хлебца этим симпатичным посетителям, привлечь их к себе и кончиком пальца погладить мягкий пушок возле клюва. Нет, в развлечениях недостатка не было», — кается Фабр.

А занятия? У малышей должен быть букварь. На его обложке та же птица, какую столь изящно изображал г. Рикар. Для Фабра это, однако, живое существо. Он подолгу разглядывал круглый черный глаз голубя, считал перья в крыле. Под обложкой шли страницы с буквами и вслед за ними ряды таинственных ба-бе-би-бу-бо. Как одолеть их, если учитель занят старшими?

А старшие читают на французском отрывки из священного писания, но больше загружены латынью, чтобы глаже петь молитвы. История, география? О них никто и не слыхивал. Круглая земля или кубическая? Какая разница? Возделывать ее от этого не легче. Грамматика? Господин Рикар заботился о ней мало, ученики — еще меньше. К чему тонкости склонений, подлежащее и сказуемое, все равно каждый вернется к стаду баранов!

Занимались немного арифметикой, но называли ее не так мудрено — счислением. Писали цифры, складывали, вычитали. В субботу вслед за первым учеником хором повторяли таблицу умножения до 12 × 12. Счет велся на дюжины.

Но то удел успевших изучить азбуку. От Фабра же эта премудрость долго ускользала. К тому же он не полностью освоился с французским. Дорогу к чтению открыла ему разноцветная таблица с изображениями зверей и птиц. Отец купил ее в городе за шесть лиардов — грошей. Под рисунками напечатаны названия, заглавные буквы выделены. Первым шел осел — «Ан», вторым бык — «Беф», потом утка — «Канар», индюк — «Дендон» и так до конца алфавита.

Самые строптивые согласные оказались у гиппопотама, зебу и других незнакомых животных. Тут на помощь пришел отец, и через несколько дней Жан-Анри с успехом листал букварь. Родители обрадованы и дарят сыну сборник басен Лафонтена. В книге действуют, разговаривают ворона, лиса, осел, собака, кошка. Владелец книги уже может составлять слоги, правда, еще не все понимает. Придет время, басни обретут содержание, смысл, и Лафонтен навсегда останется его другом, хотя кое о чем Фабр и поспорит с поэтом.

Двадцать четыре утенка и синяя птица

Однажды вечером, когда Фредерик уже спал, а Жан-Анри хоть и сидел за столом, но поклевывал носом, он услышал такое, от чего сон как рукой сняло. Уронив голову на руки, будто и в

самом деле спит, он старался не пропустить ни слова, воображая себя мальчиком с пальчик под скамьей у дровосека.

— Как жить дальше? — спрашивал отец.

Хорошо тем, у кого земли достаточно. У них зимой каждый день на столе горячий картофель в соломенной корзиночке. А когда клубней уродится много, излишек скармливают свинье, даже двум. Сидят свиньи в ямах, присмотра за ними никакого; знай себе засыпай сверху корм! Пройдет полгода — и выросли сокровища из ветчины и сала. Тяжелый дух, которым тянет по всей деревне из свиной ямы, для провансальца завидный аромат довольства и состоятельности. Подрастут свинки, их заколют, а заодно и берлогу почистят. Навоз — на луг! Удобренный, он позволяет содержать корову. Значит, масла и кислого молока вдоволь. Огород с капустой и репой тоже подспорье.

Но что делать, если ничего нет, кроме грядки, которая семью никак не прокормит?

— Может, разводить уток? — спрашивает мать. — В городе они хорошо идут, Анри мог бы их пасти…

— Попробуем… — хмурится, отец.

В ту ночь Анри снились сладкие сны. Он водил одетых в желтый бархат утят к ручью, смотрел, как они купаются; на обратном пути нес самых маленьких в корзине.

Прошло два месяца, и утята из ребячьих сновидений стали реальностью. Высидели их куры — собственная и взятая в долг у соседки. Когда утята выклюнулись, чужую наседку вернули, а воспитание обоих выводков доверили своей курице.

Пока двадцать четыре утенка плескались в лохани, все шло отлично. Но скоро лохань стала им тесна. К тому же на дне ее не было ни травки, покрытой мельчайшими ракушками, ни червячков. А утятам пришло время нырять в поисках пищи. Куда с ними податься?

Невдалеке от дома заросшая тропинка, изрядно поплутав, спускается к впадине с лужей. Это будет прудок для утят.

В пьесе Метерлинка за синей птицей шла целая вереница оживших чудес. Здесь сама вереница утят была для Анри чудом и привела его к неожиданным радостям и находкам.

Пока подопечные Анри ныряют и роются в грязи, показывая небу острые гузки, он не сводит глаз с прудка.

На дне лежат шнуры вроде тех, что получаются у матери, когда она распускает старые чулки из грубой шерсти. Может, кто-то вязал на берегу и выбросил перекрутившуюся пряжу?

Анри поднимает из воды шнурок. Он тягучий, липкий, скользкий. Вдруг узелки лопаются между пальцев, и в руке остается несколько черных шариков с булавочную головку

величиной. У каждого длинный, узкий хвост.

— Неужели головастики?!

Черные легионы их заполняют теплую воду у берега, неутомимо вьются у самой поверхности. Где поглубже, ныряет плавунец; там же тянутся зеленые нити, от которых, отрываясь, поднимаются пузырьки газа.

По дну разбросаны ракушки, закрученные спиралью или похожие на зерна чечевицы.

Оранжевобрюхий тритон мягко рассекает воду широкой лопастью плоского хвоста. Черные пиявки извиваются со своей добычей. Среди тростника — флотилия ручейников, наполовину высунувшихся из чехликов.

Взлелеянный солнцем бассейн стоячей воды, пусть в несколько шагов длиною, представляет целый мир, неистощимое поле наблюдений для зрелого натуралиста, но также и для изумленного ребенка. Забыв о бумажном кораблике, он впервые разглядывает жизнь в воде.

На поверхности кружат взад и вперед сверкающие вертячки. Толчками, подобно конькобежцам, скользят водомерки. Гладыши плывут на спине с помощью пары своих длинных весел. Личинка стрекозы передвигается невероятным способом: втягивает сзади воду, а потом, сразу выбрасывая ее, делает рывок вперед.

Подняв глаза, Анри замечает на берегу в листьях ольхи жука: с вишневую косточку, но до чего синий! Анри ловит его и прячет в пустую раковину, отверстие затыкает пучком травы. Дома он рассмотрит находку повнимательнее.

Со скалы в прудок прозрачной струйкой падает вода. Влага собирается в углублении размером в две ладони и потихоньку переливается через край. Чем не водопад? Здесь можно построить мельницу, не хуже той, что внизу, на большом ручье.

Прочные соломины прикреплены к одной оси, а она положена на два плоских камня. Колесо готово! Ура, оно вертится! Жаль только, что Фредерик не видит!

На другом краю болотца Анри соорудит запруду. Это будет настоящая каменная плотина. Слишком крупные камни придется расколоть. Удар — глыба разбита. Но что это? Внутри впадина размером с кулак вся выстлана искрящимися кристаллами. Они блестят, как самоцвет в браслете, который примеряла мельничиха, как играющее светом стеклышко в кольце у матери. Не о таких ли сокровищах, оберегаемых в подземелье драконом, рассказывала ему бабушка?

Карманы уже набиты, как вдруг в струйке, падающей со скалы, сверкнула песчинка, другая. Они совсем как золото, из которого монеты. Вот принести бы отцу! Но до чего трудно их

собирать! Уж очень малы! Приходится смачивать слюной конец соломинки и вылавливать песчинки по одной.

Однако солнце уже скатывается за гребень.

Забыв о натертой пятке, прислушиваясь, не копошится ли в раковине жук, с душой, полной восторга, и карманами, полными драгоценностей, пастух переступает порог дома.

Взволновавшая семилетнего Анри история с прудком и утятами описана семидесятилетним Фабром в его «Сувенир энтомоложик». Но русские читатели, знакомые с ними по пересказу Л. Очаповского или по двухтомнику под редакцией Ив. Шевырева, этого эпизода не знают. Дело даже не в том, что и в двухтомнике использованы только восемь томов «Сувенир», а Фабр опубликовал их десять. Главное, и эти восемь томов сокращены; из них выброшены многие разделы, по мнению редактора, «имеющие слишком отдаленное отношение к предмету», но в действительности важные для понимания того, как рождалось призвание, как формировался гений Фабра.

…Итак, Анри вернулся из первого похода на прудок. Но дома никто не замечает синей птицы, подарившей ему этот день и его радости. Фредерик бросается к утятам. Отец смотрит на оттопырившиеся карманы. Сокровища, изъятые суровой рукой, летят в кучу мусора. Мать причитает над продранными штанами и над непрактичностью семилетнего сына, которому давно уже пора стать взрослым.

С семьей и без семьи

И все же в свободное время Анри по-прежнему бродит в полях, поднимается на холмы, лазает по деревьям, заглядывает в птичьи гнезда. Спустившись к ручью, Анри осторожно пробирается среди зарослей ивы, ложится меж корней у самой воды. В глубине видна стая рыбок. Бок о бок, головой против течения, они неподвижны. Только щеки надуваются и опадают: рыбы словно полощут рот. Присмотревшись внимательнее, заметишь, что они чуть подрагивают хвостом и спинным плавником. Это чтобы держаться на месте. С дерева падает лист. Не успеет он коснуться воды, стайка враз исчезает.

Над ручьем стоят буки с гладкими прямыми стволами, в густых кронах возятся перед закатом птицы. Стрекочет сойка, выдирая из хвоста перо. Кружа штопором, оно тихо ложится на моховой ковер. Нога по щиколотку тонет в пухлой зелени.

Ступишь шаг — и перед тобой грибы. Их много в лесу, и они разные: одни, если их сломать, слезятся, плачут молочными слезами, другие синеют; из иных, чуть дотронешься, курится дымок…

И со всем этим пришлось расстаться. Ни утки, ни кролики не оправдали ожиданий. Фабры первые в роду уходят в город. С поросших вереском лиловых холмов Анри попадает в Родез, в клир часовни местного коллежа.

Их четверо в белых стихарях и красных шапочках. Десятилетний Анри, самый юный, только статист, он не умеет толком ни звонить в колокольчик, ни переложить требник. Его бросает в жар и холод когда, сойдясь по двое с двух сторон вся четверка должна, став на колени, запеть молитву. Онемев, он лишь открывает рот, подражая поющим.

Однако участие в церковных церемониях дает возможность бесплатно проходить экстернат при коллеже. Тут он смелее. Преподаватель отмечает его успехи в чтении и переложениях разных классических историй: о прославленном короле альбов Прокасе и его сыновьях Нумиторе и Амулии; о Синегире, человеке с необычайно мощными челюстями, которыми он, потеряв в кровавой сече руки, ухватился за борт персидской галеры и удержал ее на месте; о финикиянине Кадме, посеявшем вместо бобов зубы дракона; в поле выросла армия завзятых рубак: вылезая из земли, они убивали друг друга.

Но полюбил латынь Анри благодаря Вергилию и Овидию. Он узнал интереснейшие вещи о пчелах, цикадах, горлице, козе, ракитнике и с увлечением скандировал звучные латинские стихи о своих старых знакомых.

Чтение чтением, а и в Родезе он не упускал случая сбегать на луга, посмотреть, не появилась ли трава-тройчак, не падают ли с молодых тополей, если их потрясти, майские жуки. Он навещал коноплянку в ее гнезде на можжевельнике, ловил в ручье рака, совсем мягкого после линьки, разглядывал первые цветы баранчика.

…Наступил очередной свободный от уроков четверг. Перевод приготовлен, десяток греческих корней вызубрен. В долину Авейрона спускается ватага сорванцов. Штаны закатаны до колен, в руке трезубец, чтоб наколоть на него заветную рыбешку. Но охота оглашается не столько триумфальными возгласами, сколько тяжелыми вздохами. Утешением служат яблоки из соседних садов.

Есть еще развлечение, которое никогда не надоест. Вокруг бродят, склевывая кузнечиков, одуревшие от жары индюки. Если вблизи никого нет, школяры намечают себе жертвы, и все дружно

нападают на стаю, не обращая внимания на галдеж перепуганной птицы. Нужно заправить индюку голову под крыло и уложить наземь. Птицы так и будут, не двигаясь, лежать на боку. Вся лужайка покрывается телами.

Теперь берегись хозяек, вот они бегут спасать свою живность. Но ребят и след простыл. Только слышны откуда-то шепот и смех.

Как, однако, дознались школьники о тайне усыпления индюков? В учебниках на этот счет, конечно, ни слова. Секрет передается из поколения в поколение и сохраняется неистребимо, подобно многому в детских играх.

Шестьдесят лет спустя Фабр с улыбкой напишет:

— Это самое живое воспоминание, какое оставил коллеж Родеза…

Везде находил Анри случай наблюдать живое. Однажды он, сам того не заметив, увязался за человеком, который вел на бойню вола. Анри совершенно не переносил вида крови. Ему достаточно было увидеть у кого-нибудь глубокую царапину, чтобы потерять сознание.

И вдруг он переступает порог бойни.

Привязанное за рога крепкой веревкой животное идет сначала спокойно, как если б его вели к яслям с сеном. Но тут в ноздри ударяет тошнотворный запах от луж крови и разбросанных внутренностей. Вол чует, что это не мирный хлев. Глаза наливаются, он остановился, упирается, пробует бежать, но веревка уже продета в железное кольцо на полу. Она натянута и пригибает голову вола. Помощник удерживает животное, а сам мясник деловито подходит сбоку, с ножом в руке, пальцем свободной руки проводит по затылку животного, не глядя нащупывает там какую-то точку и вонзает лезвие. Вол падает, словно сраженный молнией.

Анри выходит из сарая обезумев. Что это? Ножом, каким открывают орехи или чистят каштаны, так быстро убить огромное существо! Ни зияющей раны, ни потока крови, ни рева. Человек нащупывает пальцем точку, укалывает в нее, и все.

Мгновенное действие удара остается для Анри загадкой. Позже книги по анатомии объяснят ему, что мясник пронзил мозг в месте выхода его из черепа, Анри снова вспомнит об этом, когда будет изучать перепончатокрылых, вонзающих стилет жала в нервные узлы своих жертв.

С успехом окончив учебный год, Анри уже видел себя в пятом классе, но судьба распорядилась иначе. Отец снова разорился.

В «Письмах с моей мельницы» Доде приоткрыл краешек завесы над драмами, потрясавшими край. «Здесь были еще недавно ветряные мельницы, но француз из Парижа построил

паровую, и ветряки один за другим замерли, исчезли караваны ослов с мешками зерна и муки, красавицы мельничихи продали свои украшения. Прощай, мускат! Прощай, фарандола!» Пар наступал в те годы всюду. И Мистраль с горечью рисует в своей «Роне» состязание обреченной шаланды с бездушным пароходом.

Анри на собственном опыте убедился, что висевшая у г. Рикара картинка — кредитор, убиваемый должниками, — не вполне точно изображает положение вещей.

Фабры переехали в Тулузу, где Анри успел кончить пятый класс. Летом ходил на ярмарку в Бокер. Здесь он впервые почувствовал себя взрослым, и не только провансальцем, а и французом. Родители перебрались между тем в Монпелье, но и тут пробыли недолго. Нужда гнала их с места на место. Позднее обосновались в крохотном Пьерлате… Это уже без Анри. Ему пришлось покинуть коллеж в Тулузе почти так же, как он вышел с бойни, — потрясенным катастрофой.

Прощай, учение! Прощайте, «Буколики»!

«Не один бог делает нищих», — говорит старая провансальская пословица, и отец Фабра не раз слышал ее от сердобольных соседей. Он и сам повторил ее, отпуская Анри на все четыре стороны.

— Ты уже подрос. Зарабатывай, где сможешь, свои два су на печеную картошку!

Стараясь не смотреть на мать, Анри поспешно забросил за спину сак и вышел из дому. Совсем недавно был он миарро — мальчиком с фермы, теперь стал бродяжкой — мауфатаном: перебивается случайными заработками поденщика, разгружает баржи в портах Лангедокского канала. И урывками жадно читает все, что попадается в руки: учебник, роман, газету. Приходится и ночевать под открытым небом, подкрепившись кистью, тайком сорванной на краю виноградника, или и вовсе натощак.

Во время своих скитаний увидел он впервые мраморного хруща, жука в изящном каштановом наряде, осыпанном белыми пятнами, с удивительными антеннами. «Это было как луч света во мраке нищеты», — писал Фабр, удивляясь: голодный, еле волоча ноги, взглянул на сверкание жука и почувствовал приток новых сил. Сколько радости доставляет ему одна возможность видеть живую красоту!

Потом повезло, взяли в артель рабочих на железнодорожной линии между Нимом и Бокером. Прокладывался последний участок: из Гран-Комб в Бокер.

Работа оказалась тяжелой, но интересной. С насыпи далеко просматривалась лежавшая внизу дорога, по которой двигались запряженные четверкой дилижансы. Мелодично пели рожки

кондукторов, щелкали бичами усатые кучера. Сидя на козлах, они покрикивали снизу вверх укладчикам шпал и рельсов:

— Эй вы, помощники курносой! Когда следующее крушение? Сколько вам платят гробовщики за каждого клиента?

Кучера «Мессажери женераль» не отличались изысканностью речи. От них доводилось слышать кое-что и похлестче. Но отвлекаться на перепалку нельзя, хоть среди дорожников тоже достаточно таких, кому не надо лезть за словом в карман. Кучера сами себе хозяева, а у строителей под боком не подрядчик, так приказчик, оба не терпят разговоров в рабочее время.

Наконец, по последнему перегону, пыхтя, отдуваясь и выбрасывая клубы дыма из трубы, похожей на чугунную чашку, прошел локомотив знаменитого Марка Сегена — «французского Стефенсона», как его торжественно именовали в газетах. За локомотивом катились четыре вагончика. То был большой праздник для всех.

Однако после праздника Анри снова без работы, снова бродит по дорогам, и теперь кучера уже сверху, с высоты сиденья на козлах дилижанса, хлещут его своим: «Посторонись!» — и проносятся в грохоте и белой пыли.

Хорошо, когда начинается сбор винограда. Счастливые дни для парня, ищущего, где бы приложить руки. Батист Бонне, бывший солдат, теперь крестьянин, возделывающий здесь оливковую рощу, писал в известной и на родине и за ее пределами «Жизни крестьянина»: «Сбор винограда не работа, а праздник. О сборе винограда говорят не меньше, чем о ярмарке в Бокере». Этот праздник дает Анри и стол и кров. Но урожай собран, и надо опять уходить.

Знойным летним утром Анри попадает в Ним. Сколько уж раз за эти годы видел он гору Кавалье, ворота Августа и амфитеатр, сколько раз проходил мимо храма Дианы! С деревянными башмаками через плечо Анри вступает под холщовые тенты главной улицы и сразу застревает у витрины книжной лавки. Здесь выставлены такие сокровища! Многие книги он уже знает. И вдруг — стихи Ребуля, Жана Ребуля, того самого!

Его имя известно землекопам в железнодорожной артели, завсегдатаям харчевни на перекрестке. Анри читал о нем статью в «Газетт де Франс». Его строфами восторгались Ламартин и Дюма. Они же писали о гордости и благородстве Ребуля и о скромности его положения; о подвале булочной, где с обнаженным торсом, с руками, облепленными тестом, создавал он свои стихи и выпекал славные южные хлебцы. Этот булочник пишет на французском и провансальском. Но именно провансальские стихи, ароматные,

как местное вино, многие считают подлинным свидетельством его таланта.

В кармане у Анри три франка. Проверив, на месте ли монеты, он решительно переступил порог и спросил томик Ребуля.

Глава II
Первая ступень

Благоприятным для меня, как я думаю, обстоятельством является то, что я превосхожу людей среднего уровня в способности замечать вещи, ускользающие от внимания, и подвергать их тщательному наблюдению. Усердие, проявленное мною в наблюдении и собирании фактов, было почти столь велико, каким только оно вообще могло быть. И что еще более важно, моя любовь к естествознанию была неизменной и ревностной.

Чарлз Дарвин, «Автобиография»

Перед лицом живой природы поспешность неуместна. Надо иметь время думать, видеть, размышлять, оценивать.

Джон Стейнбек, «Море Кортеса»

Счастливый день

Медленно идут дни, быстро бегут годы… Рано было Анри повторять изречение, продиктованное опытом зрелых лет. И все же как бесконечно далек от него Сен-Леон! Казалось, оттуда, из окруженной хмурыми высотами воронки, нет выхода. Казалось, ему уготовано одно — доля безземельного горемыки. Могло ли быть безнадежнее и горше?

Оказывается, могло! Уже не первый год бродяжит молодой мауфатан в поисках работы. Но сейчас он в другом Провансе.

Здесь, на равнине, больше простора, больше горячего солнца, сверкают Рона и Дюранс. Необузданно пышен короткий праздник весны в долинах. Между бурями марта и апреля и жаром мая и июня все торопится отцвести, развернуть листья, выбросить побеги. Розово-белыми облаками окутываются сначала миндаль, за ним абрикосы, груши. Французы называют это пудрой весны. Тонко и сладко пахнет лимон; сияющие алебастром венчики соседствуют на нем с тяжелыми плодами. Поля тоже полны ароматов. Цветущие травы теснятся вдоль межей, у оград, переполняют овраги. Здесь не просто тимьян, а тимьян разных сортов; не чабер, а два десятка его разновидностей; не одна лаванда, а множество — от добела выцветшей синей до темно-фиолетовой. И кроме того, лавандин.

Однако прокормиться в этом, по словам поэта, «фантастическом царстве счастья и радости», что «одним именем своим чарует мир», не многим легче, чем в бесплодных горах. Не случайно зовут Прованс краем благоухающей нищеты. Те же силы, что отторгли отца от клочка земли, неотвратимо толкали теперь сына от селения к селению, от городка к городку. И что его ожидало? Не на этот ли вопрос ответил Жан Ришпен в «Кончине путника» — поэме, прочитанной им на открытой сцене в Оранже в дни 90-летия Фабра?

Ришпен говорил о состарившемся бродяге, который, умирая на дороге, вспоминает счастливые минуты, выпавшие на его долю. Когда он был еще ребенком, добрая хозяйка позволила ему в промозглый день посидеть у теплой печи. Юношей, в пору, когда цветет барвинок, он любовался издали белолицыми красавицами, гулявшими в тени деревьев. Случай оставлял для него сухой стожок на лугу; ему, бывало, подносили чашку молодого вина, подвигали на угол стола миску жирного супа, а зимой даже открывали дверь конюшни, чтоб не замерз ночью… Нет, нигде в мире, даже на небесах, не может быть бездомному лучше, чем на земле, вздыхал в последний свой час путник Ришпена.

Анри мечтал о другом. Конечно, земля прекрасна и для бродяги, но бродяжить не лучшее занятие для человека. Он хотел найти место, где можно дышать свободнее, нежели перед чужим порогом, который так трудно переступить, чтобы, сжимая в руке шляпу, спросить, нет ли какой работы.

Он вырвался с предначертанной ему орбиты, ушел от поджидавшей его судьбы. Попалось ли ему объявление, вывешенное на площади перед мэрией в Апте или Арле? Или подойдя к выложенному камнем фонтану глотнуть воды, услышал разговор двух женщин, наполнявших ведра? Или, возле Кавайона,

собираясь заночевать в поле и присев на обочине, вынул из плечевого мешка завернутый в газету кусок хлеба с козьим сыром и, прочитав по привычке обрывок старого номера «Меркюр Аптезьен», нашел сообщение, от которого захватило дух. Конкурс на стипендии в авиньонскую Эколь Нормаль!

Эколь Нормаль! Три года бесплатной учебы, стол и кров, а по окончании — диплом учителя. Разве не головокружительная перспектива для юноши, который, перебиваясь случайным заработком, делит последний грош между хлебом и книгой?

Надо поспеть к началу экзаменов в Авиньон. Анри не впервые отмерять такие концы. Он попытает счастья.

Анри уже видел себя в Звонком Городе, как назван Авиньон его любимым Рабле. Те, кто писал об этом городе, утверждали, что нет ему равного по оживленности и обилию празднеств. Улицы засыпаны цветами, задрапированы коврами. Где-то настраивают органы, снизу, с моста Бенезет, — там пляшут фарандолу, долетает гром тамбуринов, а надо всем плывет гул колоколов. «Счастливое время, счастливый город! Время алебард, которые служили только для парадов и тюрем, в которых заключенным давали вино… Народ не знал тогда, что такое голод…»

Очень легко и не слишком правдоподобно выглядит многое в иных книгах. Но недаром говорят французы, что легенда — это красивая история, а история — часто тоже легенда, только далеко не столь красивая… Во всяком случае, теперь народ знает, что такое голод. Впрочем, неутоленная жажда знаний бывает злее голода.

…С волнением вступает в Авиньон семнадцатилетний бродяга, проходит мимо памятника персу Альтену, добирается по улице Петрарки к школе.

Предварительный отбор заканчивается в один день. Надо продемонстрировать умение читать и писать. Здесь школа г. Рикара и его каллиграфические упражнения с хорошо очиненным гусиным пером сослужили полезную службу. Затем маленькое переложение, счет, и Анри допущен ко второму туру. Эти испытания продолжаются целую неделю. Экзаменующиеся живут при школе, что, конечно, очень кстати, но питаются за свой счет, что гораздо менее великолепно.

Наконец и устные экзамены и оба письменных выдержаны. Анри сдал их лучше всех. Во всяком случае, остальные оказались подготовлены гораздо слабее.

Теперь у Анри надежный кров, его кормят сухими каштанами и горохом, и он может сколько угодно заниматься.

Впрочем, насчет учения не стоит обманываться. В Авиньоне

уже нет трехсот колоколен, трезвонивших во времена Рабле. Многие давно умолкли. Добавился же не очень звучный, но весьма огорчительный колокольчик Эколь Нормаль, оказавшейся достойным продолжением школы г. Рикара!

Да. Почти пятьдесят лет прошло с тех пор, как «Декларация прав человека и гражданина» торжественно провозгласила отмену привилегий для избранных сословий. Почти пятьдесят лет прошло с тех пор, как революционный Конвент создал во Франции широкую сеть начальных и специальных школ, призванных открыть всем путь к знанию.

Но то пятьдесят лет назад.

Теперь, хотя официальная статистика и кичится успехами народного просвещения, ближе к истине негласные цифры: в 1830 году на сто рекрутов было 50 грамотных; вскоре число их упало до 35, дальше еще уменьшилось.

Школы, в которых по замыслу Конвента «ум и сердце молодых республиканцев научались бы практике общественных и частных актов добродетели», готовили теперь детей к первому причастию. После него одиннадцати-двенадцатилетние ребята попадали в поле, на скотный двор, на фабрику.

Женское образование полностью прибрано к рукам духовенством. Да и в каждом классе мужских светских школ висит распятие, обязателен ежедневный урок катехизиса, четырежды в день читают молитвы, учеников строем водят на богослужение. «Смесь казармы и монастыря», — писали об этой школе. Духовные компрачикосы стремились отучить подростков мыслить, воспитать смирение, привить веру в бога да выработать красивый почерк.

Так учили и будущих учителей. Особенно тщательно отсекали все, от чего пахнет материализмом, в первую очередь естественные науки, претендующие проникнуть в тайны мироздания. «Мы жили вне природы и вне истории», — вспоминал современник Фабра историк Лависс.

Трон царицы наук занимала грамматика. Грустные воспоминания остались у Анри и его однокашников от схоластических учебников Ноэля и Шапсаля, о которых впоследствии станут говорить как о двух злодеях. «Они на целое столетие задержали развитие педагогической мысли во Франции», — заключает Луи Матон в докторской диссертации о Фабре-преподавателе.

В условиях омертвляющей затхлости интеллект Жана-Анри неизбежно бы померк, не будь он на редкость целеустремлен, устойчив и уже закален многими испытаниями. Пушкинское «так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат», кажется, особенно

подходит к юности Фабра. Школа не смогла утолить его страсти к знаниям, но не смогла ее и погасить. Впрочем, тиски, в которые зажимали юные души, и тяжкие млаты, которыми их дробили, оставили отметины и на Фабре. Однако от природы его все же не оторвали.

Латынь он знал неплохо, и, когда вокруг шел разбор очередного диктанта и товарищи лихорадочно листали словари, Анри разглядывал в глубине парты плод олеандра и венчик львиного зева, жало осы и надкрылья жужелицы. Во время вакаций Анри ходил пешком за 25 километров к Фонтен-де-Воклюз. Валлис Клауза — Закрытая долина — так именовали эти места римляне. Тут бьет из земли холодный, прозрачный Сорг — отец здешних родников. Ночь Анри проводил в пещере, с нетерпением ожидая, когда вода спадет, обнажив скалы, одетые в черный мох и похожие на огромных зверей.

Все в Фонтен-де-Воклюз связано с Петраркой. Здесь он написал многие из сонетов, принесших ему бессмертие, и поэму «Африка», за которую при жизни был коронован в Риме лавровым венком и о которой почти никто сейчас не помнит. Анри упивается сонетами и с трудом одолевает поэму.

Отвлечения от занятий не прошли бесследно. Анри аттестован как лентяй, к тому же лишенный способностей. Самолюбие юноши задето. Он отложил все, за один семестр второго года закончил трехлетний курс и досрочно сдал выпускные экзамены. Летом 1842 года получен диплом, а на освободившееся место директор зачисляет Фредерика. Анри когда-то делил с ним нечетный орех, сейчас уступает стипендию.

До окончания учебного года еще несколько недель. Где провести их? Бежать из мрачных стен в лес, на реку, на склоны увенчанной снегом Ванту? Побродить по городу, вдосталь насмотреться на чудеса «Господствующего над водами» (так переводят с кельтского слово «Авиньон»)?

Нет, он использует время по-другому. Директор дает ему томики Горация и Вергилия, а также «Подражание Христу» — эту книгу приписывают Фоме Кемпийскому. Издано «Подражание» замечательно: на латинском и греческом. С помощью первого, вполне ему понятного, Анри разберется в греческом и пополнит свои знания, добытые при чтении басен Эзопа.

Кров, стол, античная поэзия, древние языки! Вот это удача! Пройдет несколько лет, и в письме Фредерику, за образованием которого Анри заботливо следит, он напишет: «Возьми Вергилия, словарь и грамматику и переводи на французский, еще и еще… Представь, что перед тобой полустершаяся надпись… Ты знаешь только корни слов, незнакомые окончания чужого языка

скрывают суть, но твоим союзником является здравый смысл, и ты решаешь загадку».

Анри изучает греческий, увлекается Ламартином и Гюго, находит у Бернардена де Сен-Пьера волнующие мысли: «Жизни гения едва ли хватит, чтоб описать историю каких-нибудь насекомых… Где Тациты, которые откроют нам их тайны?..»

Давно заглядывал Анри в лабораторию, где священнодействует школьный химик, и очень обрадовался, узнав, что конец занятий будет отмечен демонстрацией получения кислорода. Приодевшись словно на парад, воспитанники собираются в здании, которое революция превратила в Дом народного просвещения. Под сводами бывшего храма гулко звучат их голоса.

Химик приступает к лекции, и вокруг него собираются добровольные помощники: один поддерживает реторту, другой раздувает огонь. Анри не переносит шума и толчеи. Пока его товарищи, орудуя локтями, пробиваются в первый ряд и мешают увидеть что-либо, он осмотрит лабораторию.

Под обширным карнизом камина стоят тигли, перепоясанные листовым железом. Короткие, длинные, высокие, в дырках, с глиняными крышечками, сложенные башней… В них, должно быть, можно разжечь адов огонь. Далее, похоже, орудия пытки, которыми вырывают тайну у допрашиваемых металлов. А реторты? С длинным клювом или с подобранным брюшком, с отверстием для трубки. Стаканы на коротких ножках, бутыли с двойными и тройными горлышками. За стеклом в шкафах ряды банок, наполненных разноцветными жидкостями и порошками. Но какие варварские названия на наклейках! Язык вывихнешь! Вдоль стен тянутся тонкие металлические трубы с кранами. По углам чаны, в них кипит, чавкает тертый в крошку корень марены. Из него приготовляют красную краску. Говорят, это любимая тема химика.

Размышления Анри прерываются громоподобным ударом, криками, топотом. Реторта взорвалась, разбрызгав кислоту, облив лица и костюмы. Пострадавших уводят к фонтану. А кислород? О нем и забыли! И все же то был счастливый день. Анри впервые вдохнул воздух химической лаборатории, прикоснулся к оснащению святая святых науки, прочитал названия соединений.

«В образовании, — напишет потом Фабр, обобщив свой опыт ученика и учителя, — важна искра, которая зажигает запас горючего, склад взрывчатки».

Подобной искрой и стал для Анри этот неудачный опыт. Придет день, Фабр добудет кислород, без помощи учителя постигнет тайны химии и законы многих других наук. Конечно,

это не самая гладкая и не самая короткая дорога. Что поделаешь? Тем, кого судьба не балует, приходится продвигаться вперед вслепую, ощупью, на свой страх и риск…

Заканчивая школу, Анри опубликовал в газете «Л'Эндикатер д'Авиньон» свое программное «Обращение к музам». Печатая его, редакция отметила «счастливое поэтическое дарование автора». Современный критик обнаружил бы в стихах щедрую дань традиции, но также и свежее чувство природы, пантеистическое восхищение ее красотой, а главное — решимость не уступать «миру коррупции».

Покинул Анри школу уверенный, что обязан дать другим то, чего не получил в ней сам.

Бакалавр, лиценциат

Утро. Рядом с мрачным зданием, смахивающим на исправительное заведение, лежит двор, окруженный высокой глухой стеной. Во дворе галдит орава разновозрастных сорванцов. Звенит колокольчик, и все устремляются в классы.

Солнце не заглядывает сюда. Хорошо хоть в теплую пору дверь можно оставлять открытой. Обычно же в классе сумрачно. Скрытые железной решеткой окна составлены из маленьких стеклянных ромбов в свинцовых рамках. У наружной стены школы — фонтан, и потому внутри все сочится сыростью.

Пока в класс входят дети вперемежку с взрослыми парнями, преподаватель стоит у двери, пропуская их. Он молод: пожалуй, моложе кое-кого из воспитанников.

Это Фабр. Ему девятнадцать лет. Он назначен в Карпантра. Во Франции Карпантра — символ глухой провинции, вроде дореволюционного российского Пошехонья или Царевококшайска.

Фабр ведет в местном коллеже один из начальных классов. Сохранив в душе признательную память о г. Рикаре, Анри старается не походить на него. Как поддержать внимание в классе? Как уберечь воспитанников от апатии и скуки? Учитель вооружен только словом и куском мела. Стоящий у доски стул с продранным сиденьем весь день пустует. Без отдыха вышагивает педагог по комнате, то и дело возвращаясь к черной доске. Его костюм из грубого сукна покрыт меловой пылью и белыми следами пальцев.

Какое высокое призвание — просвещать народ, такой же

нищий, как и его учителя! Какая ответственная миссия — нести народу знания в надежде, что он будет жить лучше, чем живет учитель!

Чилийская сельская учительница Люсила Годой, она же поэтесса Габриэла Мистраль, породнившаяся псевдонимом с прославленным земляком Фабра Фредериком Мистралем, выразила мысли и чувства всех народных учителей, этих «пролетариев класса ученых», как назвал их Маркс. Вот она — «Молитва учителя»:

«Дай мне простоту ума и дай мне глубину; избавь мой ежедневный урок от сложности и пустоты. Дай мне оторвать глаза от ран на собственной груди, когда я вхожу в школу по утрам. Садясь за свой рабочий стол, я отброшу мои мелкие материальные заботы, мои ничтожные ежечасные страдания… Пусть порыв моего энтузиазма, как пламя, согреет бедные классы, пустые коридоры».

Фабр тоже стремится в преподавании к простоте и глубине, тоже хочет согреть бедные классы и пустые коридоры. Но рассчитывать на помощь и совет старших коллег нечего. Школой заведует аббат, бесстрашно читающий курс физики, хотя ему ни за что не удается запомнить, как там обстоят дела с концами трубки коленчатого барометра: который из них — верхний или нижний — открыт, а который запаян…

Проходит месяц за месяцем, неожиданно событие: классы разделяют на группы, преподавателю дают помещение для работы с начинающими. Появляются даже парты!

Анри получил старших и наиболее способных. Пока для них еще нет узаконенной программы, можно действовать по своему разумению и познакомить ребят кое с чем новым.

Курс физики занят директором. Ладно! Возьмемся за химию. Многие школьники вернутся в деревню, им полезно узнать, что такое почва, как питается растение. Другие станут кожевниками, винокурами, засольщиками рыбы. Их следует познакомить с перегонным кубом, солением, с дубильными веществами.

Как вести предмет, которого не знаешь? Нет ничего проще: изучить его! Откуда, однако, раздобыть оборудование? При коллеже есть лаборатория, но открыта она только для химика и его учеников, готовящихся к экзамену. Профану из начальной школы никто не даст сюда и носа сунуть. Может, попросить кое-что из лаборатории на время?

— Это помогло бы увеличить число учеников, повысило бы доходы школы, — уверяет Анри директора.

Аббат сдается.

С помощью добровольца из числа учеников приборы

доставляются в подвал. Здесь-то и будут проходить занятия.

План действий продуман и уточнен по книгам. Прежде всего Анри получает кислород, проведя тот самый опыт, который на глазах у него кончился неудачей.

Аудитория очарована, учитель тоже. А когда в сосуд с газом вводится стальная пружина из старых часов с кусочком тлеющего трута на конце, возникает фейерверк. Треск, искры, ржавый дым… От горящей спирали отделяются красные капли. Пройдя сквозь слой воды в сосуде, они впиваются в стекло на дне.

Увидев эти жаркие слезы металла, ребята кричат, бьют в ладоши, стучат ногами. Ого, с химией не шути!

Относя после уроков оборудование в лабораторию, Анри чувствует, что вырос на голову. Он вызвал к жизни явление, которое два часа назад ему было известно только по книгам. Значит, можно продолжать!

В амбразуре окна — Анри живет при школе, в комнате, похожей на келью, — устроен склад химических веществ. Учитель покупает их на свои гроши. В печке оборудован тигелек; бутыль из-под засахаренного миндаля служит ретортой, банка из-под горчицы — сосудом для кислот. Анри проверяет дома звенья следующего опыта.

Теперь черед водорода, взрыв гремучей смеси; дальше — фосфор, натрий, хлор, углерод. Их свойства, соединения…

Слух об уроках расходится по округе. В класс приходят новые ученики, и аббат-директор, больше озабоченный доходами школы, чем прогрессом обучения, поздравляет Анри.

Впрочем, успех завоеван не одной химией, но и землемерной практикой — геометрией в открытом поле.

Правда, для таких занятий оборудования в коллеже нет, а учителю не по карману. Приходя в табачный киоск — надо же чем-нибудь набить трубку, когда сидишь, готовясь к занятиям! — Анри не раз извинялся, что забыл деньги. И все же землемерную цепь, вехи, колышки, отвес и компас пришлось купить самому. Крохотный графометр размером с ладонь нашли в школе.

Начиная с мая учитель с ребятами раз в неделю покидал тесный класс, уходил в поля. Какая это была для всех радость шагать со связкой колышков через плечо! Они пересекают город, чувствуя себя на вершине славы. Да и учитель, чего скрывать, гордится тем, что несет самый деликатный и самый дорогой прибор: графометр ценою в сто су.

Участок, где идут занятия, — пустошь. На ней — ни куста, ни живой изгороди. Равнина, покрытая камнями, среди которых цветет тимьян, служит полигоном для нарезки трапеций и треугольников, а старая голубятня вдали — вертикаль. Все идет

гладко. Но странная вещь! Кого ни пошлешь к дальнему колышку, ученик по дороге обязательно остановится и, нагнувшись, чего-то ищет. Другой вместо колышка тайком подбирает камень. Третий возвращается с соломинкой во рту. В чем дело в конце концов?

Ребята довольны: наконец-то и они могут кое-чему научить учителя. На камнях пустыря гнезда большой черной пчелы. В них мед, его-то молодые землемеры и высасывают. Он терпковат, но вполне приемлем.

Так Анри впервые встретился с пчелой-каменщицей — халикодомой Реомюра. Это перепончатокрылое в черном бархатном одеянии, с темно-фиолетовыми крыльями показалось ему великолепным. Анри должен узнать о пчеле больше, чем могут сообщить воспитанники, умеющие только опустошать ячеи.

Как раз в то время в книжной лавке Карпантра появилась новинка: сочинение де Кастельно, Бланшара и Люка о насекомых. Во введении к первому тому профессор зоологии Брюле из Дижона излагал основы анатомии и физиологии членистоногих. Последний, только что вышедший том, в котором Анри тут же, у прилавка, нашел сведения о своей новой знакомой, составлен одним Эмилем Бланшаром из Музея естественной истории в Париже. Книга состоит из тысячи заметок, и в каждой сказано, кто, где и когда впервые описал данное насекомое, сообщены его приметы. В конце — подробный алфавитный указатель. А сколько отличных рисунков! Гравюры на стали, «отпечатано в Париже у Терзуоло, улица Мадам, 30».

Все заманчиво в этих трех томах по полтысячи страниц каждый. Но цена! Бюджет Анри не выдержит подобного удара, если даже он возьмет один лишь том. Впрочем, неужели о пропитании ума можно заботиться меньше, чем о прокормлении тела?!

Покупка сделана. Потребуется чудо бережливости и экономии, чтобы как-нибудь покрыть непозволительный расход. Толстенное сочинение проглочено одним дыханием. Анри впервые прочитал о нравах насекомых, впервые встретил сразу заблиставшие в его глазах имена Реомюра, Губера, Леона Дюфура… И в то время как он листал книгу, еще и еще пробегая взволновавшие его заметки, узнавая в описаниях множество до сих пор безымянных знакомых, внутренний голос — он признается в этом — внятно шептал ему:

— И ты, ты тоже будешь историком насекомых…

Позже в руки Анри попал том Туссенеля, который познакомил его с азами науки о поведении животных. Сколько ни пришлось ему потом полемизировать с автором, он очень полюбил книгу и до конца жизни хранил ее в своей библиотеке.

Одно время Фабр стал стрелять птиц. Глаз у него был меткий. А охота — тоже средство получать знания, выяснять, чем птицы питаются, как устроены их внутренние органы.

Заняться бы Анри всерьез животными, растениями! Но он учитель, и ему давно пора распрощаться с низшей, перейти в среднюю школу. К сожалению, естественной истории и здесь нет в программах. Взять химию и физику? Чтобы совершенствоваться в них, требуется оборудование, нужна лаборатория.

Ладно, начнем с математики! Из Эколь Нормаль вынесен более чем скромный багаж. И Анри один, без руководителя, без советчика, вгрызается в новый курс. Он пробирает себя за малейшую слабость, не позволяет отвлечься, отворачивается от каждой новой травинки, от неизвестного жучка. Книги по ботанике и зоологии, драгоценный томик Бланшара — все отставлено. Надо штудировать алгебру.

В то время Анри уже считался в Карпантра педагогом, умеющим расшевелить самых косных и сонных, таких именуют здесь сухофруктами. Его выпускники зачислены в Эколь Нормаль, в ремесленное училище в Эксе (городок этот увековечен Золя под именем Плассана).

Однажды пришел к Анри юноша, он собирается поступать в училище строителей мостов и дорог. У него туго с алгеброй, а экзамен, говорят, строгий. Много он заплатить не в состоянии, но, может, господин Фабр выкроит время?

Господин Фабр в тот же вечер берет тайком из чужого шкафа фолиант толщиной в три пальца, листает его. Взгляд останавливается на разделе «Бином Ньютона». Какое звучное название! Что это за бином и почему он Ньютона?

Локти на стол, концы пальцев в уши. Весь мир исчез из чувств и мыслей, весь — кроме этих строчек. И вдруг его охватывает радостное изумление. Черт возьми, понятно! Скорее к бумаге! Он приводит, перемещает, группирует…

Просто чудесно, если вся алгебра не труднее…

В будущем он избавится от сладкого самообольщения, но сейчас на его пути никаких препятствий. Незаметно бежит время за упражнениями. В семь утра звонок к утреннему супу у принципала, и Фабр спускается по лестнице, торжествуя. Пышная свита из всех этих A, B, C, похоже, сопровождает его.

Назавтра урок. Черная доска и мел на месте. Этого не скажешь о сердце. Однако Анри храбро заводит речь о биноме. Ученику и в голову не приходит, что репетитор начинает с того, чем полагается кончить. Вполне удовлетворенный, расстается он с учителем, почти ровесником.

Легкая победа над биномом вскружила Фабру голову, и он

решает, вернувшись к началу, за три-четыре дня одолеть алгебру. Не тут-то было! Со сложением и вычитанием все шло гладко, но дальше следовало умножение, и здесь нечто ужасное: минус на минус дает, оказывается, плюс. Напрасно читал он и перечитывал текст, раздумывал, проверяя каждое звено в цепи размышлений. Парадокс оставался парадоксом.

Так впервые открылась для Фабра слабость рядового учебника. Кажется, иногда лишь словечка не хватает, чтоб выбраться, но именно его-то и нет в тексте.

А когда темно для учителя, каково ученику? Тем не менее Анри на уроке произносит:

— Вам понятно?

Пустой вопрос. В сущности, попытка выиграть время.

— Попробуем по-другому!

И Анри снова возвращается к загадке. Но вот глаза ученика вспыхивают. Они вместе столько искали, что эффект умножения минуса на минус открывается сразу обоим.

Все приходит к благополучному концу. Ученик выдержал экзамен, без спросу взятая книга возвращена на место, известность молодого педагога растет.

После алгебры — очередь геометрии. С ней Анри немного знаком по курсу в Эколь Нормаль. Благородная дисциплина! Отправляясь от ясного, постепенно погружаешься в неизвестное, а оно, в свою очередь проясняясь, становится исходным для дальнейших шагов вперед.

— Если мне вообще удались несколько понятных страниц, которые прочитываются без слишком большого напряжения, — написал Фабр в «Сувенир», — то я немало обязан этим геометрии, воспитывающей искусство руководить мышлением.

Забившись в уголок, часами сидел он с листком бумаги на колене, постигал свойства окружности, пирамиды, конуса.

Молодому человеку посостязаться бы в прыжках, размяться на гимнастических снарядах. Он видел вокруг многих, кто, упражняя одну поясницу, преуспел в жизни куда больше, нежели поклонники наук. Но нет, он продолжал свое.

Вскоре у Анри появился напарник. То был товарищ по коллежу, унтер-офицер, который, устав от муштры, подался в преподаватели и мечтал о дипломе бакалавра по математике.

— Спинной мозг усох в полку, — огрызался он, объясняя, почему уже дважды провалился на экзаменах.

Неудачи не расхолодили упрямца, он продолжал заниматься. Не то чтоб его восхищали красоты математики. Нисколько. Здесь говорили больше амбиция и выучка: повторять артикул с ружьем до тех пор, пока не отпустит ротный.

Однако в те годы получить право на сдачу экзаменов по математике можно было только тому, кто имел ученое звание по литературе. Анри проклинал инструкцию, которая требовала жертвоприношения из латыни и греческого, прежде чем открыть доступ к синусам и котангенсам.

Хорошо, что языки он знал и на первый диплом времени ушло немного. Потом под началом своего унтера он взялся за аналитическую геометрию. И тут оказалось, руководитель не слишком уверенно чувствует себя среди абсцисс и ординат. Пришлось взять инициативу и кусок мела в свои руки. Обменявшись ролями, оба работают, не жалея сил и не считаясь со временем.

Наступает полночь, веки тяжелеют. Унтер засыпает каменным сном. Анри же долго ворочается в постели, да и когда смыкает глаза, только дремлет. Нет-нет и блеснет перед ним решение задачи, которую с вечера не удалось одолеть. Тогда он вскакивает, зажигает свечу и торопится записать. Эти ночные прозрения держатся в памяти непрочно. Упусти их — и назавтра ничего не останется, начинай сызнова.

Если бы можно было промыть мозги, как грифельную доску! Впрочем, Анри все равно отказался бы от такой губки. Он сам постоянно поддерживает работу мысли, тренирует себя, непрерывно подливая масло в светильник. Хочешь сделать ум гибким и неутомимым? Постоянно думай!

Для Фабра число живет и в науке и в искусстве: алгебра — в астрономии, но астрономия — в поэзии, алгебра — в музыке, но музыка — и в поэзии. Циркуль становится в его руках волшебной палочкой, уравнение — ключом, открывающим дверь в строгий, полный гармонии мир. Он видит индивидуальности математических кривых, чувствует характер линии. Такую индивидуальность с полными внутреннего сопряжения свойствами одна за другой обретают для него геометрические фигуры на плоскости, потом другие — в трех измерениях.

Аналитическая геометрия полна коллизий. Эллипс — траектория планет с сопряженными фокусами, что посылают друг другу постоянную сумму радиусов-векторов. Гипербола с ее отталкивающимися фокусами — неприкаянная кривая; она погружается в пространство, все более и более приближаясь к прямой-асимптоте, но никогда с ней не сливаясь. Парабола тщетно разыскивает в бесконечности свой второй, потерянный фокус; это траектория бомбы, с которой запанибрата унтер.

Но бывший унтер только отмахивается от поэтических экскурсов в точную науку:

— Фанаберии, пустая трата времени…

Наконец друзья отправились в Монпелье и вернулись оттуда с дипломами бакалавров по математике. Бывший унтер потирает руки. Дело сделано — и гори она, математика, с небесной механикой! Это его больше не занимает.

«Теперь я совсем один, не с кем поговорить, посоветоваться», — вздыхает Анри. Однако верно это только отчасти. В газете «Эко де Ванту» он напечатал новую поэму «Цветы». Только ли о красоте цветов его стихи? Фабр уже не одинок: он любит и любим. Вопреки провансальской поговорке — «какую девушку меньше видишь, о той и тоскуешь» — избранница Фабра тоже живет в Карпантра. И она тоже учительница.

Но вот что на первый взгляд странно! Человек с таким трепетом радости, волнением, нежностью поведавший о встрече с фиолетовокрылой халикодомой, с энтомологией и ее создателями, человек, способный с воодушевлением говорить о свойствах параболы и гиперболы, — этот богатый чувствами человек ничего не сказал о женщине, ставшей его женой. Впрочем, можно ли упрекать его в том, что он не превратил воспоминания в автобиографию, а стихи — в исповедь? У нас нет, однако, оснований подозревать, что он мало любил Мари-Сезарин. Когда родители воспротивились браку, Анри был потрясен и отказался подчиниться их воле.

Он женился в октябре 1844 года, а в опубликованном «Эко де Ванту» 2 ноября стихотворении «Что дает золото?» (биографы прошли мимо этого факта) храбро написал: «Не золото дает счастье!» Конечно, молодой семье не помешали бы не только веселые желтые луидоры, с таким аппетитом описываемые Дюма, но и просто серебро, даже несколько лишних медных грошей — лиардов. Анри получает всего семьсот франков в год. «Для семейного человека это нищета!» — восклицал один из членов Законодательного корпуса, когда обсуждали вопрос о положении народных учителей.

Стихи Фабра сами по себе могут показаться пересказом старого афоризма Гельвеция, повторением сентенции Лабрюйера и уж, конечно, подтверждением народного «не в деньгах счастье». Но мы находим здесь прежде всего признание. Анри пишет: «Судьба выполняет любые прихоти богача, быть счастливыми дано другим».

Женившись, Фабр покинул свою келью в коллеже и переехал в предместье, где жилье дешевле и откуда из окна можно любоваться серебряной вершиной и зелено-рыжими склонами Ванту. В комнате стояла взятая напрокат за пять франков в год черная доска. Стоимость ее была несколько раз оплачена, но доска так и осталась некупленной: заплатить за нее сразу не было

денег.

К ночи Мари, убаюкав сына, засыпала, а Анри опускал абажур, заслонялся черной доской и ниже склонял голову над книгой. Так каждый день, в четверг же и воскресенье — особо. Ведь воскресений (в церковь он не ходил) и четвергов, когда учителя свободны, в году 104 — вдвое больше дней, чем в отпуске. Не упускать же такое время!

Бывает, однако, только соберешься вникнуть в формулу первого закона Кеплера — одного из трех китов, на которых держится небесная механика, только мысль сосредоточилась, чтоб проследить рождение истины, и вдруг, как на грех, с улицы доносится пиликанье скрипок и буханье барабана.

— Будьте вы прокляты с вашим павильоном!

В нескольких шагах от дома, где живут Фабры, находится харчевня «Китайский павильон». По воскресеньям перед вечером сюда собираются парни и девицы с окрестных ферм. Чтобы привлечь побольше народу, кабатчик устраивает после танцулек беспроигрышную итальянскую лотерею томболу.

Уже за два часа до начала по улице кружит целая процессия. Верзила, опоясанный красным шарфом, держит в руках мачту, на которой развеваются длинные ленты. Мачта звенит, среди лент скрыты бубенцы. Дальше несут главные выигрыши: мелькают серебряные стаканчики, сверток фуляра, фигурные канделябры, коробка сигар. Перед большущим сараем, украшенным гирляндами зелени, собирается толпа. Как раз под окнами Анри. Теперь до поздней ночи будут реветь трубы и дребезжать цимбалы.

Анри убегает в степь. Он давно присмотрел километрах в двух небольшую площадку. Здесь тихо, разве птицы щебечут и стрекочут кузнечики. В скупой тени вечнозеленого падуба можно побыть один на один с кеплеровскими формулами. Если б только не жара: прежде чем добраться до законов мироздания, проходишь настоящее пекло.

Вскоре Анри с успехом выдерживает экзамены. Дважды бакалавр — по литературе и наукам, он становится теперь и дважды лиценциатом — по математике и физике. В эти же месяцы он успевает написать три поэмы. «Миры» опубликованы в «Меркюр Аптезьен», «Запад» и «Насекомые» — в «Эко де Ванту». В последней он говорит о тех насекомых, что живут общиной, как некогда спартанцы, трудятся каждый для всех и все для одного, сообща строят свою мудрую республику, возводят этаж за этажом общее жилье, заполняют общими запасами общие закрома. В «Западе» воспевает красоту неба и земли и находит случай укорить греков, которые, прославляя одного Одиссея, забыли

воздать должное его спутникам, участвовавшим в тех же походах и совершившим такие же подвиги. Анри чувствует себя крупицей общины, частью «всех», он отказывается молиться на избранных…

То были последние стихи, написанные в Карпантра. Непоправимая беда обрушивается на молодую семью. После короткой болезни умирает первенец.

«Сердце разбито от слез, — пишет Анри Фредерику. — Все время думаю о нем, которому говорил: вырасти, и я вложу в тебя знания, которые мне так тяжело даются и которые я понемногу собираю».

Черные дни закрывают от Жана-Анри и Мари-Сезарин происходящее вокруг. Страна переживает события 1848 года. Отгремели бои на баррикадах, свергнута монархия. В коллеже все с обостренным вниманием прислушиваются к новостям. Ведь один из лидеров революционных событий, Франсуа Распай, уроженец Карпантра и когда-то преподавал здесь риторику. Сейчас его имя не сходит со страниц газет. Он герой борьбы за свободу, за права человека, за науку. Отголоски столичных бурь докатываются и до скромного домика на окраине, до погруженных в траур Фабров. Анри — сейчас ему столько лет, сколько было Распаю, когда тот здесь учительствовал, — возвращается к своим занятиям. Наука стала для него убежищем в несчастье, но все же он не может больше мириться с унижением, перебиваться как нищий. Этому должен быть конец!

Товарищи по коллежу и аббат-директор удивляются, почему педагог с четырьмя дипломами прозябает в начальной школе на самой маленькой должности и мизерном окладе. Жалованье выплачивают с опозданием на месяцы, по частям. «Надо сидеть в засаде за дверью, поджидая кассира, чтобы вырвать несколько грошей. Самому стыдно!» — негодует Анри.

Фабр обращается к ректору учебного округа: «То, что давали мне до сих пор, стало для меня невыносимым. Вы можете, г. ректор, располагать моим местом точно так же, как и мною. И пусть только все разрешится скорее». Это уже не просьба, а ультиматум. Невидимый противник сдается: Жан-Анри получает назначение на Корсику, преподавателем лицея в Аяччо. Победитель и не подозревает, что от этого места отказались все, кому его предлагали.

Знакомство и прощание с Корсикой

Фабр преподает на новом месте физику и химию. Он живет недалеко от лицея, в одном из небольших домиков, что прилепились на склоне, спускающемся к берегу прославленной бухты. В открытые окна слышен шум прибоя, льется горячий свет, доносится запах выброшенных морем водорослей.

Сегодня воскресенье, и Фабр собирается в очередную экскурсию. На континенте, в Карпантра, он крепко держал себя в руках, не отвлекаясь от математики. Здесь, на Корсике, искушение слишком могущественно. Большая часть досуга сохранена для математики — основы университетского будущего, остальное время он с трепетом расходует на изучение даров моря и сбор растений. «Что за страна, какие великолепные исследования можно бы делать, отдавшись полностью своим наклонностям!» — мечтает Анри в письме брату.

Внезапно к привычному голосу волн, шипящих на гальке и громыхающих у скал, примешиваются новые звуки. В них мелодия. Под окном стайка черноволосых загорелых мальчишек исполняет в честь Фабра серенаду. Одни поют, остальные аккомпанируют хору. Напружив щеки, дудят они в словно припухшие посредине зеленые трубки лука и свежие соломины трав. Торжественное вочеро, сохранившееся, быть может, еще со времен античной культуры, передает чувства школьников. Учитель и сам исполнен нежности к своим воспитанникам. Да, его профессия не доходна, зато одна из самых благородных, из тех, что всего больше подходят для сердца человека, любящего людей, думает Фабр, расставшись с ребятами.

Он шагает по горной тропинке, и в его ушах все звучит симфония луковых перьев. На соломине овса свистели буколические пастухи. Теперь для музыки требуются тромбон, медь, бубен, натянутая на барабан ослиная кожа и в момент наивысшего экстаза — пушечный выстрел! Чем не прогресс?

Анри еще не переварил оглушительные аттракционы «Китайского павильона». Теперь они далеко. По правде сказать, и здесь поначалу не все было гладко, а кое-кто из коллег поныне недоволен прибытием молодого человека, о назначении которого на Корсику газета «Эко де Ванту», прощаясь со своим автором и знаменитостью коллежа Карпантра, писала 10 февраля 1849 года: «Запоздалого и давно заслуженного вознаграждения удостоен ум, счастливо одаренный, единственно силой воли и трудом добившийся выдающихся успехов в изучении математики».

С волнением вглядывался он год назад в открывавшуюся перед ним новую землю, пока корабль подходил к острову.

Корсика, родина Наполеона…

Бывалый пассажир, подобно капитану из мопассановской

«Жизни», кричал спутникам:

— Чуете, как пахнет, разбойница?

Природа разбойницы, за несколько километров дышавшей дикими ароматами, поразила Фабра. Здесь он впервые по-настоящему почувствовал море и упивается его близостью. Под стать этой могучей стихии и леса в горах, знаменитые маки. Вечнозеленый падуб, можжевельник, самшит, мастиковые деревья перепутаны, сплетены в колючий колтун вьющимся ломоносом, гигантскими папоротниками, жимолостью, терновником. Над морем зеленого руна поднимаются колонны каштанов бастелико. Гранитные скалы врезаются в темную лазурь неба розовыми, серыми, красноватыми вершинами.

Фабр не перестает восхищаться и только жалеет, что не может познакомить с великолепием Корсики отца и брата.

«Море, бескрайнее море сверкает у моих ног… Белый город рассыпал по берегу свои строения, а дальше чащи мирта струят опьяняющие ароматы; заросли, по которым никто не ступал, покрывают горы от вершины до основания. Залив бороздят рыбачьи лодки. Все вместе прекрасно».

Эта картина создана природой и людьми, а рядом полный разгул, торжество одной стихии.

«…Гранитные гребни, изъеденные суровостью природы, зазубренные, расщепленные ударами молний, расшатанные медленным, но верным действием снегов, головокружительные пропасти, куда отовсюду срываются воющие ветры. Огромные склоны накапливают десяти-, двадцати-, тридцатиметровые пласты снега, и оттуда, извиваясь, бегут ледяные ручьи, заполняющие своей водой зияние кратеров. В них лежат озера, черные, как чернила ночью, и синие, как небо днем… Не могу даже приблизительно описать хаос скал, разбросанных в ужасающем беспорядке. Когда, закрывая глаза, я вызываю в себе воспоминание об этом порождении конвульсий планеты, когда слышу клекот орлов, кидающихся в ущелья, в мрак, который не решаешься проследить взором, я снова и снова спрашиваю, не сон ли это?..»

Романтические крайности корсиканской природы очень по душе Жану-Анри. А его описания, похоже, навеяны стилем Гюго, которым молодой Фабр увлечен.

«Вершины, окружающие залив Аяччо, увенчаны облаками и убелены снеговыми шапками даже тогда, когда вся равнина прокалена насквозь и звенит, как обожженный кирпич, — пишет он в другой раз и восклицает: — Чего стоит рядом с этим скала в Пьерлате, где теперь обитает отец! То просто крупный гладкий голыш, поднявшийся со дна моря».

В середине XIX века Пьерлат, правда, был дырой, которой никто не интересовался. Корсика же только недавно стала французской провинцией, и природу острова лишь начинали изучать всерьез. Для этой цели туда прибыл из Авиньона выдающийся ботаник, знаток средиземноморской флоры Эспри Рекиян. Его картонная папка набита листами бумаги: Рекиян усердно гербаризирует. Фабр постоянный его спутник. Имя Эспри — оно взято не из христианских святцев, а рождено революцией и означает «Разум», — по мнению Фабра, как нельзя больше подходит Рекияну. Никогда Анри не встречал более образованного наставника. Рекияну достаточно увидеть травинку, прядь мха, кусочек лишайника, нить водоросли, и тотчас сообщалось научное — родовое и видовое — название растения, указывались места, где оно водится. Рекиян стал для Фабра не только учителем, но и другом. Внезапную смерть этого выдающегося ботаника — он скончался в мае 1851 года — Жан-Анри переживал глубоко, а память о нем сохранил на всю жизнь.

В письмах близким Фабр не ограничивается описанием острова и его красот. Он по-прежнему следит за работой брата, руководит его самообразованием, подсказывает, как раскалывать твердые орешки.

«Хорошо учиться можно тогда, — пишет он в Лапалю-на-Роне близ Оранжа, где Фредерик стал преподавателем, — когда усваиваешь все сам. Очень советую: откажись насколько возможно от любой помощи в учении, опирайся на собственные силы… Если в твои руки вложат готовый ключ к замку́, нет ничего легче и проще, чем открыть его, но вот второй замок, и ты перед ним так же беспомощен, как перед первым».

Вновь и вновь повторяет Фабр брату, что наука не средство прокормиться, но «нечто более благородное: способ возвысить ум для познания истины».

В других письмах он советует: «Возможно, тебе предложат в коллеже несколько предметов. Не выбирай легких и прибыльных, берись за самые трудные…» «Надо работать, собрав всю волю, чтоб она взрывалась, как мина, опрокидывая препятствия…»

После этих братских назиданий он сообщает Фредерику, что в комнатушках квартиры в Аяччо уже лежат первые сотни листов гербария корсиканских растений, морские раковины, старинные, эпохи владычества Рима, монеты и медали. Эти памятники, считает Анри, дают возможность заглянуть в прошлое земли и человечества, пережить его… «Если бы теперь пришлось уехать в какую-нибудь обыкновенную равнину, я погиб бы от скуки!» — восклицает он.

В голове Жана-Анри зарождаются дерзкие планы. Он

приступает к работе над подробным сравнительным описанием корсиканских моллюсков — морских, пресноводных, почвенных, живых и ископаемых. Он обходит бухты, обследует отмели, собирает и чистит раковины, описывает, классифицирует, воспроизводит в акварельных рисунках оттенки их окраски, изящество их форм. Такие экземпляры и не снились никому в Сен-Леоне! Следует написать брату, пусть начнет собирать раковины в болотах Лапалю, в ручьях и оврагах вокруг Оранжа.

«Лейбницевские исчисления бесконечно малых покажут тебе, что архитектура Лувра менее содержательна, чем раковина улитки. Природа — строжайший геометр, идеально рассчитала развертку спиралей улитки, которую ты, как всякий профан и неуч, признаешь только со шпинатом и голландским сыром…»

Раковина, добытая из недр земли, бросает свет на происхождение почв, на геологическое прошлое планеты, убежден Анри. В этих произведениях природы живет ее величие. Справедливо поэтому редкие и особо интересные виды называют в честь наиболее выдающихся ученых. Взять к примеру улитку, которая встречается только на толокнянке в районе высокогорных пещер Корсики. Это — улитка Распая. Анри снова вспоминает о давнем преподавателе риторики в Карпантраском коллеже, чьи книги он еще в 1848 году рекомендовал брату.

Прервем здесь рассказ и напомним, что в это время смелый поборник всеобщего избирательного права, издатель газеты «Друг народа» и «Клуба друзей народа», ученый и врач Распай после поражения повстанцев в Париже был вновь брошен в тюрьму.

Удивительна судьба этого человека. Если другие одинаково процветали при Наполеоне и при Людовике XVIII, Распай был узником и казематов монархии, и тюрем буржуазной республики, и застенков империи.

Во время белого террора Распая приговорили к смертной казни. Ему удалось скрыться. Став исследователем, он работал без лаборатории, без инструментов и сделал ряд важных открытий. В 1830 году сражался на баррикадах. Новый король предложил Распаю службу, тот отказался, и его арестовали. В тюрьме он начал книгу о химии. О Распае писал Герцен. Имя Распая упоминается и в дневниках Н. Г. Чернышевского: «Выбрали Распая, и это очень хорошо». В мае 1848 года, когда Фабр учительствовал в Карпантра, Распай во главе рабочих, выступивших против политики Учредительного собрания, ворвался в зал заседаний. Распая приговорили к 6 годам тюремного заключения. В тюрьме он работал над книгой о биологии.

Как раз теперь Жан-Анри пишет брату о Распае, о том, что

считает Распая замечательным ученым, восторгается его разносторонностью.

Фабр и сам стремится быть разносторонним. Физика и химия, алгебра и геометрия, ботаника и конхилиология, археология и строение земли, античные авторы и современные писатели… Оргия чтения, исследований, наблюдений… Словно вобрав в себя неутоленную жажду поколений тружеников, Анри спешит черпать из множества областей науки и литературы. Добытые знания сплавляются в цельное ощущение мира, в двуединый образ — Вселенной и Человека, стоящего с ней лицом к лицу во всеоружии ума, воли, чувств.

Фабр пишет поэму, названную по-гречески «Арифмос», — гимн числу, «господствующему во времени и в пространстве», гимн дерзающему разуму. В секстинах — стихотворной форме, которой пользовались трубадуры, Данте, Петрарка, — число воспето Фабром как пантеистический образ закона природы. Число, «поднимаясь выше Медведицы, выше Волопаса, пересекающего космос, сеет несчетные солнца в бороздах небес…»

Вскоре случай сводит Фабра еще с одним выдающимся натуралистом. Тулузский профессор Мокен-Тандон, как и Рекиян, будет изучать флору острова. В день приезда Мокен-Тандона все номера в гостинице Аяччо оказались заняты, и Фабр предложил гостю из Тулузы поселиться у него.

Предложение охотно принято, и для Фабра опять открывается новый мир. Сейчас перед ним не только безупречный знаток систематики, но натуралист широкого профиля, философ и одновременно литератор — автор известных сочинений о средних веках, поэт, «умеющий накинуть на голую истину волшебный плащ слова». Его книга «Мир моря», опубликованная впоследствии под псевдонимом Фредоль, стала настольной у Фабра. «Никогда больше мне не приходилось участвовать в таких интеллектуальных пиршествах!» — писал Анри, не подозревая, что встреча с приверженцем учения Кювье о постоянстве биологических видов оставит в его мировоззрении глубокий след, как оставило след и изучение греческого по спиритуалистскому «Подражанию».

— Бросьте вы математику, — уговаривал Фабра Мокен-Тандон. — Займитесь животным, растением, ведь вы больше всего ими и интересуетесь…

Фабр слушал с замиранием сердца: это было то, чего он хотел и о чем не позволял себе думать.

Новые знакомые совершили экскурсию в центр острова, на гору Монте Ренозо, где Фабру уже доводилось бывать. Он

помогал гостю собирать заиндевелые зимующие бессмертники, что образуют удивительные снежные скатерти, искал траву муфлонов и пушистую царицу маргариток, словно закутанную в вату, но все же дрожащую на границе снегов. Здесь было множество и других ботанических сокровищ. Мокен-Тандон восторгался, Фабр же, плененный увлеченностью спутника, его верой в науку о живом, повторял себе: «Правильно! Надо идти туда, куда тебя влечет!»

Через несколько дней, вложив в конверт снежные иммортели и еще ничего не сообщая брату о своем решении, он написал: «Сохрани эти веточки в какой-нибудь книге. Когда будешь перелистывать ее, пусть бессмертники напомнят тебе о грозном великолепии их родины, о прекрасных картинах природы, среди которых они выросли». Лишь через год он скажет брату обо всем, что случилось: «Геометром можно стать, натуралистом надо родиться. Ты лучше чем кто-нибудь знаешь, что самой любимой моей наукой всегда была естественная история».

Вечером накануне отъезда, сидя с Фабром за столом и продолжая беседу, которая почти не прекращалась эти две недели, Мокен-Тандон говорил гостеприимному хозяину:

— Вы занимаетесь конхилиологией. Что же, улитки, устрицы, конечно, интересно. Но вам бы познакомиться с животными поближе. Хотите, я покажу, как это делается…

Хотел ли этого Фабр?

Вооружившись тонкими ножницами из швейной корзинки, взяв оттуда же две иголки и наспех всадив их в отрезки виноградной лозы, превращенные в держалки, Мокен-Тандон положил в глубокую тарелку с водой слизня и продемонстрировал операцию вскрытия. Ловко действуя импровизированными хирургическими инструментами, он объяснял каждое свое движение, потом, вдруг откладывая держалки с иголками, брал перо и набрасывал на листе бумаги схему расположения органов, говорил об их отличии от аналогичных органов у других существ.

То был необыкновенный урок. Позже Фабр и сам стал проделывать такие анатомические операции. «Мои скальпели — крохотные кинжалы, я сам затачиваю их из тонких иголок. Моя мраморная плита — дно миски. Мои пленники дюжинами хранятся в спичечных коробках. Наиболее мелкие твари — всех удивительнее. Maxime miranda in minimis».

Корсика окончательно превратила его в натуралиста, высвободила долго подавлявшуюся страсть. Здесь прожиты самые яркие, самые ясные и счастливые годы, писал позднее Фабр.

И все же ему пришлось покинуть остров.

Малярийные комары из болот маки, куда он ходил слишком часто, не пощадили его. А тут еще курс физики в лицее закрыли: муниципалитет урезал ассигнования. Бюджет Фабра вновь упал до карпантраского уровня. Не то что лечиться, жить стало невозможно, а лихорадка изводила его.

Обессиленный и измученный, Фабр направил в Париж письмо, прося разрешения вернуться на континент, и вскоре уехал, забрав с собой свои гербарии, коллекции раковин и монет.

«Переезд оказался кошмарным, — писал Фабр. — Никогда не видел я такого жуткого моря, и если судно не рассыпалось вдребезги под ударами волн, то лишь потому, что наш час еще не пробил. Было два или три мгновения, когда я говорил себе: все кончено. Можешь представить, что мы пережили. Обычно корабль, на котором мы плыли, — говорят, это лучшее судно на Средиземном море, — идет из Аяччо в Марсель около 18 часов. На этот раз рейс продолжался три дня и две ночи — 60 часов!»

Так после четырех лет пребывания на очаровавшем его острове Фабр вернулся в Прованс. Он получил назначение и, несколько поправившись, выехал к месту новой службы, в уже знакомый ему Авиньон.

Глава III
Авиньонская Каторга
Авиньонские Радости

Ему нравилась мирная провинциальная жизнь, он считал, что для ученого она полезнее парижской сутолоки… Глядя, как он по воскресеньям отправляется на экскурсию на Гарригские холмы с ботанической коробкой через плечо и геологическим молотком в руке, плассанцы пожимали плечами…

Эмиль Золя, «Карьера Ругонов»

Насекомые, обнаруживающие в своих работах самое утонченное искусство, представляют зрелище в одно и то же время странное и имеющее своеобразное величие.

Эмиль Бланшар, «Естественная история членистых животных»

Занавес поднимается

Итак, через десять лет Фабр опять в Авиньоне. Он будет в лицее помощником преподавателя по физике и химии.

Казалось бы, все то же, что и раньше: те же уроки, тот же курс, те же программы, зашнурованные так, что не вздохнуть, те же педантичные предписания.

Но нет, кое-что изменилось.

В свободное время Фабр, сопровождаемый толпой учеников, спешит за город: собирает растения, наблюдает насекомых. Ребята любят эти походы. Помощник преподавателя по физике и

химии — единственный, кого пощадило насмешливое остроумие воспитанников, кто не имеет у них обидной клички. Зато коллеги гримасничают за его спиной:

— Муха!

«Мухе» исполнилось в то время 30 лет. Жалованье — 1600 франков в год. У щедрых хозяев конюху платили больше. Семья же росла: за стол садилось семеро. Нищета была не только по-провансальски благоухающей, но и оглушительной: рядом с Фабрами находились конюшни. Стук копыт и ржание, крики конюхов и кучеров не утихали день и ночь. При любой погоде Фабр готов сбежать из дому, отправиться в лес, в степь.

Казалось, и это уже было.

Но теперь Фабр все свободное время отдает живой природе, не отвлекаясь больше на математику.

Однако грохот конюшен заставил его попытаться сменить жилье. Он присмотрел квартиру поближе к лицею в пригороде Авиньона, Вильневе, у Феликса Гра, будущего писателя. И сам Гра, и дом, и весь пригород нравились Фабру.

В ту пору, когда Авиньон был резиденцией пап, Вильнев облюбовали кардиналы. Отсюда, с колоколен, с башен форта Сент-Андре, далеко видны квадраты полей и сады, цепи Альп Прованса и Дофине. Чуть ближе сверкает снежной шапкой Ванту. На другой стороне внизу серебрится Рона, над ней — освещенная солнцем и все же мрачная громада папского дворца и снова шпили, островерхие крыши, колокольни…

История пригорода полна романтических страниц. Камни Вильнева видели Карла IX и Генриха III. Здесь останавливался Ришелье, когда отвозил на эшафот за измену и сговор с испанцами фаворита Людовика XIII — Анри де Сен-Мара и его друга де Ту. Известна картина Делароша: Рона и на ней две барки — одна с кровавым кардиналом, вторая с его жертвами. В какой-то из темниц Вильнева, под крепостью, построенной Филиппом Красивым, томился в заточении герой несчетных легенд, поэм и романов Железная Маска. Но сейчас Фабра не слишком занимает история. Шум конюшен несносен, а нервы у помощника преподавателя стали совсем никуда.

Да ведь и у Гра будет не легче! Неподалеку на реке прачки вовсю молотят вальками и, перекрывая стук и плеск гамом собственных голосов, за полосканием белья перемывают кости соседям и друг другу. Труженицы задерживаются у реки допоздна, а выходят на прибрежные мостки с зарей…

Пришлось отказаться от Вильнева и поселиться на улице Делямас, в доме № 22. Ничем не выделяющееся с фасада сооружение — одна из достопримечательностей города. Внутри

сохранились кое-где стрельчатые своды. Они подтверждают справедливость предания, что дом перестроен из знаменитой церкви Сен-Клер, где Петрарка впервые увидел Лауру.

Отсюда до кардинальского дворца — в нем расположен лицей — дорога длиннее, но здесь тихо. Рано утром Фабр спешит со связками тетрадей. Время распределено до минуты. Шутка ли, прокормить такую семью! И не захочешь, станешь господином Рикаром. Поначалу появились дополнительные должности в лицее: рисование, черчение. Потом и частные уроки.

Значит, все-таки опять то же?

Но нет, Фабр берет отпуск и отправляется в Тулузу. Здесь он держит перед местными светилами экзамен по естественным наукам. Диплом очень важен, Фабр надеется, что с ним он прорвется к преподаванию ботаники и зоологии, сможет полностью посвятить себя растениям и животным.

Экзамен оказался нелегким, но закончился успешно.

Возвращаясь из Тулузы, Фабр позволил себе отметить триумф заездом в Сетте. Ему захотелось еще раз встретиться со знакомыми по Аяччо флорой и фауной побережья. На рассвете вышел он к морю и сразу заметил на песке пляжа странные следы. Двинулся по цепочке отпечатков, но та вдруг оборвалась, будто существо, оставившее их, волшебным образом исчезло. Улетело? Нет, Фабра теперь не проведешь. Разметая аккуратно песок, он обнаруживает жука — блестящего, как темный янтарь, с телом, раздвоенным глубоким перехватом талии, и с мощными жвалами. Это скаритес гигас. Видимо, по ночам жук охотится на песке, а к утру прячется, да как искусно! И еще одно наблюдение сделал Фабр: если опрокинуть скарита на спину, тот сразу теряет подвижность. Жук поразительно имитирует смерть: когда спустя какое-то время он начинает двигаться, это кажется чудом.

Сколько вокруг таких чудес, чудес, ожидающих исследователя, думает Фабр, глядя на расшифрованные иероглифы — следы жука, артистически притворяющегося мертвым. Здесь, на пустынном пляже в Сетте, он вновь переживал свои первые открытия: блестящего жука, которого принес домой в раковине, заткнутой пучком травы; голубокрылых кобылок, которых находил в поле, батрача на г. Рикара; снова ощущал жесткие элитры жужелицы, которую разглядывал тайком на уроке; снова слышал гудение потревоженных халикодом, мед которых сосал с учениками на уроках полевой геометрии.

Но, вернувшись в Авиньон, он возвращается в будничное колесо лицейских обязанностей и забот.

«Выдержал экзамен как нельзя лучше. Получил диплом с самыми лестными оценками. Мне обещали даже возместить

расходы на поездку», — сообщал он брату и тогда же рассказывал, что курс естественной истории остается недосягаемым.

Опять, казалось бы, старое? Но нет! Именно об этом времени Фабр писал: «Топливо в очаге было уложено. Не хватало только искры, чтобы его зажечь».

И вот искра сверкнула!

Наступила зима. Хоть она и коротка, а все же прерывает наблюдения энтомолога. В эту пору отлично читается. Забыв обо всех горестях и заботах, Анри бережно листал журнал с новой работой Леона Дюфура. Имя его знакомо Фабру еще по томику Бланшара.

В статье описываются нравы одного перепончатокрылого. Когда-то, будучи в Испании с войсками Наполеона, военный врач Дюфур обратил внимание на гнездящуюся в песчаном грунте осу церцерис. Вырытые в почве ячеи оса набивает жуками златками. Это очень заметная дичь. И такую заметную дичь — она блестит золотом и изумрудом надкрылий — пожирают поначалу совсем незаметные личинки, которые вылупятся из яиц, отложенных матерью-осою на теле златок. Вернувшись на родину, в Ланды, в Сен-Север, Дюфур встретил свою испанскую знакомую. И тут ее гнезда полны златок. Как одолевают осы одетых в латы жесткокрылых и как доставляют их в гнездо?

И выходит, они отличают златок от жуков других семейств! А самое удивительное, сколько ни пролежали златки в запечатанных извне подземных гнездах церцерис, они всегда выглядят свежими. Дюфур отнимал у церцерис добычу и тщательно осматривал ее. Никаких ран, а жуки неподвижны, как мертвые.

И вместе с тем они долго сохраняют гибкость членов, окраску покровов, даже свежесть внутренних органов…

Видимо, в данном случае, решил Дюфур, добыча как бы консервируется. Оса зажаливает златку и вводит в жертву какую-то антисептическую, противогнилостную жидкость.

Подкрепляя свою догадку, Дюфур напоминает: сохраняем же мы сардинки в прованском масле, коптим селедку, солим и сушим треску. Правда, консервированная или копченая рыба заметно отличается от свежей. Церцерис же с помощью капли яда делает плоть добычи неприступной для гнили, позволяет ей неделями лежать в земле и оставаться свежей. Дюфур считает этот факт чрезвычайно любопытным.

Фабр кое-что знал об убийцах златок, однако, решаясь проверить мнение Дюфура, кажется себе Давидом, выступающим против Голиафа.

В окрестностях Авиньона нет церцерис, о каких пишет Дюфур, и Фабр спешит в Карпантра, в давно исхоженные и дорогие его сердцу места. Здесь он принимается обследовать гнезда ос и видит: органы жуков целы, сочленения ножек гибки, внутренности не изменились. У жуков определенно продолжается пищеварение. Больше того, у них обнаруживаются и признаки раздражимости; опущенные в пузырек с опилками, смоченными бензином, жуки начинают шевелить лапками и усиками. Значит, это не трупы, сохранившие свежесть благодаря введению противогнилостной жидкости. Но это и не имитация смерти, подобная той, что он наблюдал у скарита на пляже в Сетте. Можно думать, что жуки в гнездах церцерис только оглушены и приведены в неподвижность. Но верно ли это?

Чтоб ответить на вопрос, нужно увидеть церцерис на охоте, проследить всю цепь действий, движение за движением.

С этой минуты мысль сосредоточена, концентрируется на тесном участке, счет времени меняется. Само нападение, когда оса поражает жука, совершается за секунды, но, чтоб обнаружить и рассмотреть его, расходуются часы, дни, недели. Надо уметь ждать и уметь не пропустить краткого мгновения.

Церцерис-златкоубийцы крайне редки в местах, где бывает Фабр, зато здесь сколько угодно церцерис другого вида — бугорчатых, самых крупных и сильных в роде. Наблюдение перенесено на них. Но нужно хоть немного распоряжаться своим временем, Фабр же привязан к Авиньону и в Карпантра отлучаться больше не может.

Приходится применяться к обстоятельствам.

В сентябре бугорчатая церцерис начинает строиться. В откосе дороги или оврага гнездится столько ос, что выходы из норок соприкасаются. Церцерис скоблят острыми краями ножек стенки коридоров, прессуют комочки почвы и, пятясь, выкатывают их прочь. Эти струящиеся по склону песчинки выдают присутствие церцерис. Едва ячеи готовы, осы начинают заполнять их кормом для потомства, провиантировать, говорят энтомологи. Заготовляя пищу для своих плотоядных личинок, оса-вегетарианка (сама она питается только пыльцой и нектаром) становится хищницей; землекоп превращается в охотника.

Сколько талантов в этом шестиногом!

Фабр не отводит взора от входов в гнезда. Оса вернулась, неся в ножках жертву. С помощью соломины наблюдатель отнимает у охотницы ее трофей. Это довольно крупный долгоносик клеон. Он весит почти вдвое больше церцерис.

Долгоносик кажется мертвым, но Фабр не обнаруживает на его теле повреждений. Как же одолевает оса долгоносика?

Между отлетом и возвращением церцерис в гнездо проходит минут десять, значит, радиус рейсов не слишком велик. За это время нужно обнаружить добычу, подавить ее сопротивление, поднять в воздух и долететь с ней домой.

Фабр обследует местность в поисках осы, атакующей долгоносика. В поисках мгновения… Безуспешно!

Попробовать приносить добычу к гнездам?.. Обнаруженная охотницей у самого дома, она должна соблазнить осу. Так, пожалуй, можно заставить ее выдать секрет. Мысль кажется прекрасной, и Фабр принимается обследовать виноградники, пшеничные и люцерновые поля, зеленые изгороди, каменные заборы. Два убийственных дня. Фабр не присел ни на минуту, а нашел, стыдно признаться, трех долгоносиков. И каких? Мятых, запыленных, один без усика, другой без ножки…

Возвращаясь со своим смехотворным уловом к гнездам, Фабр раздумывает о том, насколько успешнее охотятся церцерис. Ведь они регулярно приносят в гнезда жуков — целеньких и свеженьких, словно только из кокона.

Все же он предложит осам свою жалкую приманку.

Церцерис вернулась в гнездо, и Фабр кладет перед входом клеона. Тот уползает, но Фабр возвращает его на место. Наконец показывается широкая голова церцерис, Фабр не сводит с осы глаз и слышит — он признался в этом, — как бьется его сердце. Насекомое топчется перед входом, замечает ползающего поблизости клеона, толкает его, поворачивает, всползает ему на спину и улетает, не причинив ущерба.

Новые опыты перед другими гнездами и новые неудачи. Эти гурманы явно не интересуются добычей, которую им доставляют на дом. Но, может, клеоны слишком стары? Или прикосновение к хитину оставляет запах, который охотницам неприятен?

Все кажется возможным, когда не знаешь. Ладно, закроем осу и жуков в стакане, вдруг церцерис проявит тут свои таланты? Но в искусственных условиях получается нечто несообразное: долгоносик-дичь схватывает осу-охотницу, а та даже не защищается.

Ну и ну! Он ждал чего угодно, но не этого. И в мире насекомых, оказывается, может получаться все наоборот!

Что же делать? Не отнять ли у осы добычу возле самого гнезда и вместо нее предложить другого жука? Может, церцерис, увлеченная охотой, не заметит подмены? Сказано — сделано: охотница возвращается с долгоносиком, спускается вблизи гнезда на землю, и тут Фабр отбирает добычу, а вместо отнятого клеона кладет своего заранее приготовленного.

Ура!

Трижды повторен опыт, и трижды естествоиспытатель наблюдает дуэль насекомых. Так Фабр называл про себя то, чего еще не видел. Теперь-то он знает: никакая это не дуэль.

Заметив, что клеон подвижен, оса становится лицом к лицу с жуком, могучими челюстями схватывает его хоботок. Долгоносик изгибается, а оса передними лапками давит ему в спину, как бы для того, чтобы раскрыть сочленения брюшка. Потом конец брюшка осы скользит по брюшку клеона, и церцерис вкалывает свой ядовитый стилет между первой и второй парой ног в сочленение переднегруди со среднегрудью. Миг — и жук падает неподвижный.

Утирая пот, заливающий ему глаза, Фабр отгоняет воспоминание детских лет: бойню и быка, который упал, словно сраженный молнией. Но быка убили, а клеон остается живым, хотя он и неподвижен. Вот в чем секрет осы-охотницы!

Оса укалывает жалом нервные узлы — ганглии жука и таким образом парализует его. Неподвижный, он абсолютно безопасен для крошек-личинок, и в то же время мясо его совершенно свежее. Как корм для хищных, но беззащитных существ эти парализованные долгоносики сохраняют все преимущества живого и лишены его недостатков.

— Укажите мне академию анатомов и физиологов, которая придумала бы более изящное, экономное и надежное решение задачи! — восторгается Фабр.

Насекомое, с детских лет бывшее для него воплощением красоты природы, ее поэзии, предстает сейчас воплощением ее совершенства, ее глубины, ее законов.

Фабр проверяет себя, укалывая жуков в нервные узлы острой булавкой и вводя с ней каплю аммиака или другого яда. Так оно и есть! Первое его открытие, первый вклад в энтомологию… Гордость и воодушевление первооткрывателя понятны. Но скажем и о другом. Пусть Фабр нашел пока только крупинку, только каплю, главное, он нашел себя.

Занавес поднялся, открыв мир, полный жизни. Фабр попытается рассмотреть ее, постичь, понять. Отныне и до последнего часа его роль здесь одна. Свою жажду и свое терпение, упорство авейронского мужика и пылкость южанина-француза, все, что он приобрел в жизненной битве и обретет в будущем, всего себя отдаст он этому поиску!

Ловить насекомых и накалывать с этикетками на торфяное или пробковое дно ящиков, разбирать строение и анатомические подробности, как звал его Мокен-Тандон? Нет, он будет изучать их в естественной обстановке, в их поведении, в действиях — в этом он видит самое содержательное.

И второй раз пережил счастье первого открытия Фабр, описывая свое исследование. Отчет он направил в один из самых авторитетных тогда парижских журналов по естественной истории — «Анналь де сианс натюрель».

Отослав рукопись, он принялся приводить в порядок давно подготовлявшиеся диссертации на следующую — докторскую — степень по ботанике и зоологии. Ботаническая работа посвящена орхидеям, точнее, клубенькам гимантоглоссум хирцинум. Король ботаников великий Декандоль считал клубеньки корнями, Фабр доказал, что это видоизмененные ростовые побеги. Зоологическая диссертация представляет исследование органов размножения многоножек. Он до тонкости овладел искусством вскрытий и препарирования, хотя работает только на кухне, рядом с плитой, и то чаще ночью, когда все в доме угомонятся.

Закончив диссертации, Фабр повез их в Париж. Оставлены лицейские дела, прерваны наблюдения в природе. Теперь он позволяет себе целиком отдаться размышлениям о созданиях рук человеческих. Впервые в жизни едет он через всю Францию на север. Давно ли подростком любовался он литографией в Бокере? На ней был локомотив, и пассажиры выглядывали из окон. Неужели и у него сейчас такой торжественно-глупый вид? Давно ли, юношей, сам строил дорогу? С какой опасливой усмешкой посматривали на укладчиков пути сварливые кучера дилижансов и кондуктора. Кондуктора-то, пожалуй, нашли себе занятие: расхаживают на станциях по перрону с рожками; ну, а кучерам в пассажирском «Марсель — Париж» делать нечего. И идет поезд по расписанию — не то что вывернувший душу корабль, увозивший их с Корсики… Еще в Аяччо выступил Фабр оппонентом поэтов, ополчившихся на «противную природе» паровую машину. Поэмой «Се-бегемот» Фабр воспел «умелые руки, соорудившие железное чудо». и «разум, покоривший материю».

Конечно, сегодня ода «Железному бегемоту» может показаться наивной. Но не спешите подсмеиваться над автором. Вспомните, что в то же время другой художник в другой стране, где локомотив еще называли *пароходом*, также воспоет его: «быстрее, шибче воли поезд мчится в чистом поле». Ритм поезда ворвался в поэзию и в музыку, восторг перед человеческим гением слился со сладкими надеждами любви, с коварными наветами разлуки. Получившие бессмертие в глинковской «Попутной» строки могли бы стать подписью и к запавшей в память Фабру литографии: «Дым столбом, кипит, дымится пароход. Быстрота, разгул, волненье, ожиданье, нетерпенье…»

Но Фабр не только поэт, он еще и ученый, и не только ученый, а еще и крестьянин. И думает он, что топливо, пылающее

под котлами локомотива, добывать нелегко, зато сколько сена и овса, выращиваемого на корм лошадям, оно заменяет! Сколько земли освобождается для других культур!

И вот Фабр в Париже, в городе, что манит к себе каждого француза, каждого европейца, каждого человека… Однако он приехал сюда не для прогулки. Пока до защиты есть время, он посетит своего корсиканского гостя и наставника, поблагодарит его за совет. Мокен-Тандон оставил Тулузу и заведует кафедрой на медицинском факультете. Взволнованный, поднимался по лестнице простодушный провинциал, но профессор и будущий академик встретил его рассеянно, как бы смутно вспоминая маленького педагога, у которого жил в Аяччо, которому советовал оставить математику и заняться естественными науками. Фабр спешит распроститься.

Жизнь не щадит восторженного романтика, заставляет спускаться с заоблачных высот на землю. Одни в такой школе черствеют, становятся циниками, другие стойко встречают невзгоды, разочарования, удары судьбы и ее невеселые шутки.

В назначенный день Фабр защитил свои диссертации перед жюри в составе Анри Мильн-Эдвардса (Дарвин называл его великим натуралистом), Исидора Жоффруа Сент-Илера и Пейе. Уж этот-то диплом даст ему возможность стать преподавателем естественных наук на факультете!

А пока он получает номер журнала «Анналь де сианс натюрель» со статьей о церцерис. Это вам не стихи о насекомых и не «Эко де Ванту»! Следом приходит сообщение, что академия присудила ему премию Монтиона по экспериментальной физиологии. И одновременно письмо из Сен-Севера: старик Дюфур поздравляет молодого критика с успехом и благословляет на продолжение блестяще начатых исследований.

Полное доброжелательности, широты и преданности общему делу, письмо обрадовало Фабра не меньше, чем академическая премия, рассеяло осадок от встречи с Мокен-Тандоном.

Тем временем муниципалитет возложил на Фабра обязанности хранителя музея. Основу этого учреждения составили коллекции и гербарии, собранные Рекияном. «Я могу, наконец, разделаться с отвратительными частными уроками», — облегченно вздыхает Фабр, делясь с Дюфуром приятной вестью. Конечно, новые обязанности тоже съедают массу времени и сил, но они ему гораздо более по душе, чем приватные занятия с сынками богатеев-лавочников.

Одно за другим пришли приглашения в университеты Пуатье и Марселя. Фабр отказался. Работа была совсем не та, о какой он мечтал, только увела бы от его исследовательской лаборатории

из окрестностей Авиньона. Пусть, когда он спешит из лицея в Сен-Марциал, где разместился музей Рекияна, за спиной слышится шепот: «Смотри, куда наша Муха залетела», он продолжит начатое! Придет день, и он займется изучением насекомых на факультете!

Но вместо этого наступил другой, нежданный день. На урок начертательной геометрии к Фабру явился инспектор Роллье. В лицее этого угрюмого, насупленного человека называли крокодилом. Как бы то ни было, он хороший геометр, и быть не может, чтоб ему не понравился ученик, которого сейчас вызовет Фабр. Правда, юноша несколько вял, даже туповат, но у него золотые руки. Прикасаясь к бумаге линейкой, циркулем, рейсфедером, они творят чудеса. Что же, дорогой, покажем господину инспектору, как мы работаем, как получаем циклоиды, эпициклоиды, внешнюю и внутреннюю, простые и укороченные… Роллье только рассеянно скользит взглядом по листам, а после звонка, оставшись с Фабром в опустелом классе, и вовсе откладывает их в сторону, Усевшись верхом на скамье, он в упор спрашивает:

— Есть у вас средства, связи?

Фабр ошеломлен, но отвечает. Роллье хмурится.

— Так я и думал. Очень жаль и крайне прискорбно! — повторяет он. — Читал вашу статью в «Анналь». Вы прирожденный натуралист, у вас блестящее перо. Вам, конечно, снится факультет?

— Я мечтаю, — признается Фабр.

— Еще бы! — кивает собеседник. — И все же советую: забудьте, выбросьте из головы! Если хотите заниматься своей темой, вам нужен гарантированный доход.

И старик инспектор зло и желчно говорит о препонах, которые стоят на пути к факультету для плебея, если он не имеет достаточно влиятельных покровителей, да еще не умеет устраивать свои дела.

Фабр слушает, похолодев. Вот, оказывается, почему не давали ему хода в коллеже, почему так труден был путь в лицей, почему он до сих пор лишь помощник преподавателя! Он мужик, черная кость. Да еще не желает маскироваться под белую, не заискивает, не лебезит. Сколько ему попортили крови, когда на Корсике он не пошел встречать Новый год к принципалу! Он и теперь избегает светских сборищ и визитов, всего, что крадет время у науки. И этого ему тоже не прощают.

Когда-то юношей он написал стихотворение «Мыльные пузыри»: «Легкий глобус, одетый в сапфир и эмаль, золото и лазурь, раздувается, округляя брюхо, полное воздуха, сверкая

яркими лучами и трепеща на полюсах…» Речь шла, конечно, о мечтах, таких же радужных и таких же хрупких, разбивающихся при соприкосновении с действительностью.

Жан-Анри возвращается мыслью к стихотворению не затем, чтобы похоронить надежды. Ролле раскрыл ему глаза. Он перестроит свои планы, но не откажется от цели. Франсуа Рюд, автор «Марсельезы в камне» — барельефа Триумфальной арки на Пляс д'Этуаль, — говорил, что, если его посадят в колодец, он и здесь не выпустит резца из рук. Фабр, размышляя, как жить дальше, скажет, что его любовь к насекомому уцелела бы среди разгрома и катастроф, что он не отказался бы от своего призвания и на плоту погибшей «Медузы».

Новые незнакомцы

По четвергам и воскресеньям он снова становится мауфатаном и похож на одного из батраков, что бродят от фермы к ферме, ищут, не надо ли работника марену копать. Но сборщики марены выходят в определенный сезон. Фабр же почти круглый год проводит свободное время под открытым небом.

В руках лопата, за плечами мешок, набитый коробками и баночками, ящичками и пузырьками. На груди в кармане лупа — неразлучный спутник экскурсий. Летом, когда на целые два месяца Фабр «из учителя превращается в ученика — в страстного ученика насекомых», он обязательно захватывает с собой еще большой старый зонтик.

Вот он идет, худой, долговязый, в потрепанном костюме, в черной широкополой шляпе, что носят в Провансе крестьяне. И глаза у него прищурены раз и навсегда, как у крестьянина, работающего в поле, на ветру, под солнцем, а может, еще и от крестьянской привычки ничего не брать на веру. Он уже почти такой, как на знаменитых фотографиях, но еще молод.

— Подумайте только, — говорит он шагающим с ним лицеистам, — где справедливость? Каждая профессия имеет у нас в Авиньоне покровителей. У угольщиков — святая Варвара, у мясников — Лоран, у булочников — Исидор, у портных и ткачей — Блаз, у возчиков и тележников — Элуа, у цирюльников, костоправов и умельцев пускать кровь — Козьма, даже у кабатчиков есть патрон — Арсений. Только естествоиспытатели на произвол судьбы оставлены. То-то нам и туго…

Ребята смеются, а лавочники, восседающие на плетеных

стульях у своих порогов, провожают Фабра косыми взглядами. Подобно большинству его лицейских коллег, они не одобряют увлечений Мухи и теперь злословят насчет отца семейства, который кругом в долгу, а прогулочками занимается.

— На званый вечер к директору явился без цилиндра, в фетровой шляпе, наверно, в той же, что сейчас на голове.

— Да у него и сюртук всего один.

— Непоседа. Про них и поговорка: любопытные не домовиты.

— Охотник отца не кормит. Отец его работает у мосье Роберти в Понте, а ведь он в годах. Я его знаю, он за товаром для фермы частенько приезжает.

— Худое порося, — вступает в разговор еще один, — жирной свиньей не станет.

Фабр не слышит пересудов. Он шагает со своими спутниками по берегу Роны мимо стриженых и щетинящихся молодыми ветвями кряжистых тутовых деревьев, мимо садов и орошаемых огородов, лоснящихся всеми оттенками зелени. Кузнечики уже не то что звенят, а гудят здесь слитно и сильно, как колокол. Перебравшись на правый берег, экскурсия направляется к плато Англь. Это просторный участок, где меж каменистых россыпей медленно бродят, выискивая траву, овцы, звеня путами, прыгают стреноженные кони, резвятся жеребята.

Еще совсем недавно Фабр писал с Корсики брату, что умрет от скуки в обычной, банальной равнине. Но что может быть более плоского, более банального, чем плато Англь? Именно здесь, однако, нашел Фабр неисчерпаемое поле для наблюдений. Здесь проводит часы и дни. Сейчас его занимают навозники — золотари и санитары в хитиновых робах.

Какое оживление вокруг коровьей лепехи или овечьих катышков! Пожалуй, авантюристы, собравшиеся на золотые россыпи Калифорнии, менее рьяны, чем эти жуки копры, геотрупы, бизоны, гимноплевры, суетящиеся около своего пирога. Одни скребут находку с поверхности, другие вгрызаются внутрь, выискивая особо лакомые кусочки, третьи подкапываются снизу и, урвав свою долю, тащат ее в норку; самые мелкие убегают, подобрав крошки, оброненные более сильными. Некоторые поедают корм тут же, иные готовят запас впрок.

Кто это черный, громадный бежит рысцой, будто боясь опоздать? Движения длинных ног резки и нескладны, словно они на пружинах. Рыжие антенны шевелятся, выдавая тревогу и вожделение. Пока жук доберется до цели, он растолкает и сшибет с ног многих менее грузных собратьев. Как его не знать? Это священный скарабей древнего Египта, страны, где, по мнению историка, все в природе обожествлялось.

Дорвавшись к лепехе, жук орудует быстро и ловко. Щепотку за щепоткой переносит он навоз под брюшко и, придерживая четырьмя задними ножками, прессует комочек. Подгоняемый солнечным жаром, жук торопится. Только что в его ножках была небольшая пилюля, теперь это, пожалуй, орешек, а там и орех. Скатывая из навоза правильный шар, насекомое демонстрирует смущающее ум стереометрическое искусство.

Не всегда операция протекает благополучно. Вдруг возникают помехи: к шару подходит второй скарабей и явно стремится завладеть плодами чужого труда. Иногда шар катят два жука. В конце концов один из них закопает его в надежном месте и, наглухо запечатавшись в норке, съест.

Если найти в земле такого отшельника-обжору, можно видеть, как из него выходит, спутываясь в комок, нитка. Объемистый шар, что скатан жуком на солнечной поляне, тает во мраке и, пройдя пищеварительный тракт, возникает на другом конце тела в виде мотка.

— Аппетит делает скарабея великим ассенизатором, — говорит Фабр. — Смотрите, как прилежно он исполняет свою роль, и подумайте о чудесах естественной химии; она создает из отбросов полный изящества, благоухающий цветок; превращает отмершую материю в танцующих на весеннем лугу мотыльков.

Но не все свои тайны жук выдает так легко. Давно известны повадки скарабеев, изготовляющих и поедающих шар. А что происходит после? Схоронится ли жук в гнезде, где сжевал корм? Или оставит норку и часть запаса личинкам?

Перерыты и пересмотрены кубометры земли; никаких шаров с личинками! Наступает вечер. Приходится уходить. На обратном пути Фабр рассказывает ребятам о других жуках и объясняет, как узнать, получится ли из тебя натуралист?

— Вы идете с такой прогулки. На плече — тяжелая лопата. Поясницу ломит: полдня просидел на корточках. Солнце нажгло голову, глаза воспалены, терзает жажда. Впереди — несколько километров пути по пыльной дороге. И все же внутри что-то поет. Почему? Потому что несешь с собой даже не насекомое, а только жалкие обрывки оболочки какой-то облинявшей личинки. Если так, — Фабр весело оглядывает ребят, — продолжайте начатое: вы кое-что сможете сделать для науки. Но предупреждаю: это не лучшее средство преуспеть в жизни… Да к тому же не всегда находишь и личинку. Вот ведь мы не нашли…

Личинка скарабея не была найдена и в следующий раз. Зато до родителей лицеистов словно дошло предупреждение Фабра о том, что естествознание скупо кормит самых ревностных своих служителей. По этой ли или по какой другой причине не

отпускают ребят в экскурсии с учителем?

— Только обувь треплют…

Но Фабру надо осмотреть сотни гнезд скарабея. Для массовой операции требуются руки и время. Приходится искать помощников. Он сзывает ребят из деревушки Англь, постоянно рыщущих на плешивом плацу. У них здесь своя забота. После того как пройдут гарнизонные учения со стрельбами, мальчишки принимаются собирать среди камней кусочки плавленого свинца. Если не жалеть босых ног и спины, можно заработать су, даже два. Этих-то добытчиков свинца и привлек к делу Фабр.

Условия изложены самым ясным образом:

— Вот жук, вот его шары, вот норка. Нужен шар с личинкой. За каждый такой шар — франк!

Слух о подземных обитателях, находка которых равнозначна находке сокровища, незамедлительно распространяется по округе. Никогда еще в истории энтомологии не совершались столь многолюдные и целеустремленные поисковые облавы, как те, что целую неделю с рассвета до ночи шли на плато Англь. Увы, ни одной личинки никто не нашел! Признав свое поражение и прекратив поиски, Фабр принес несколько скарабеев домой. Он соорудил в садике под окнами сетчатый вольер над искусственным песчанистым грунтом и выпустил жуков туда. Чтобы заставить их приняться за дело, надо доставлять под сетку корм. А в городе это куда менее просто, чем на пастбище.

Поначалу Фабр тайком покупал навоз у работника с соседней конюшни, но хозяин скоро проведал об этом и пресек расточительство. Пришлось Фабру выходить пораньше из дому с бумажным фунтиком в руках. Помощник преподавателя выжидал, пока дорога опустеет, и тогда поспешно подбирал дары, рассыпанные ослами.

Жуки, казалось, ни в чем не знали недостатка, но погибли, так и не выдав секрета. Однако начало истории скарабеев положено. Фабр сохранит в памяти результаты первых исследований и еще вернется к ним.

Сейчас он делит время между плато Англь и Иссартским лесом. Отсюда, с возвышения, видно, как желтая Рона принимает в себя голубую Дюранс, и два цветных потока, еще не смешавшись, текут в одном русле.

Лес!.. Высокие прямые стволы, влажный полумрак, упругая моховая подушка под ногами… Как бы не так! На выжженных солнцем равнинах таких лесов нет. Иссартский лес — это просто рощица из разбросанных редкими группами невысоких дубков.

Здесь тени нет, и Фабра выручает лишь старый зонтик. А место превосходное. Жгучее солнце, холмики сыпучего песка,

обилие дичи и тишина — разве это не все, что нужно осе бембексу? Впрочем, тишина важна и для Фабра. В Иссартском лесу прохожие редки. Никто не мешает.

Бембекс — оса, но о потомстве заботится совсем не так, как церцерис. Церцерис, снабдив норку долгоносиками, нужными для прокорма личинок, запечатывает гнездо и больше сюда не возвращается. Бембекс же, подобно птицам, приносящим выводку корм в клюве, питает молодь изо дня в день. Охотник-кормилица не парализует жертву, а убивает ее самым заурядным способом. Личинки получают свежую, только что добытую дичь.

Отправляясь на промысел, бембексы, однако, не оставляют норок открытыми, но каждый раз засыпают вход.

Но увидеть бембекса на охоте нелегко. Разве уследишь взором за этими быстрокрылыми созданьями! И у норки напрасно будешь сидеть. Едва вынырнув из песка, осы взвиваются в воздух и исчезают. И все же Фабр, не отрывая глаз, наблюдал за входом в гнездо, а потом следил за бембексами в полете. Это требовало такого напряжения, что он не сразу обратил внимание на маленькие драмы под сводом зонтика, служившего ему укрытием среди песков Иссартского леса.

В самые жаркие часы дня под зонтик прятались разные слепни. Сверкая своими большими золотистыми глазами, эти кровожадные мухи лениво и важно переползали по разогретому матерчатому куполу. Вдруг: пам! пам! Будто кто швыряет в зонтик желуди. Но вокруг никого. Снова сухие щелчки. Оказалось, бембексы, не тратя больше времени на дальние полеты, атакуют слепней, приютившихся под зонтом.

Теперь смотреть во все глаза! Бембексы влетают под зонтик ежеминутно. Щелчок, мгновенная сутолока, и охотник уже исчезает, унося в ножках добычу. В такой горячке хищник, очевидно, разит жалом жертву куда попало.

Личинка бембекса развивается дней пятнадцать. Сколько же раз мать доставляет ей корм? Фабр сооружает искусственное гнездо и кормит личинку мухами собственного улова. За восемь дней — всего половину срока! — крошечная иждивенка успевает сожрать свыше восьмидесяти мух.

Но почему столь различно поведение церцерис-парализатора и бембекса-убийцы? Где здесь причина и где следствие? Потому ли бембекс так обращается с добычей, что его личинке консервы не по желудку, или, наоборот, бембекс не знаком с искусством парализации, и потому его личинкам, пока они растут, приходится мух насущных давать днесь? Да, насекомые, эти древние обитатели планеты, заключают в себе содержательнейшие уроки, поднимают мысль к самым важным

вопросам. Конечно, настоящая удача, что его призванием и всепоглотившей страстью стали именно насекомые!

И потом, положа руку на сердце, лишь они ему и по средствам. При этой бедности, при этой нищете чем еще мог бы он серьезно заниматься? Растениями? Но ведь чтоб высадить хотя бы привезенные с Корсики диковины или редкостный злак, найденный на берегу Дюранс, нужна земля, разрешение хозяев. Целиком зависишь от их благорасположения. А уж с животными и вовсе никуда. Не всегда сводишь концы с концами в пропитании семьи; где тут содержать для опытов четвероногих? Другое дело — шестиногие. Конечно, приходится изворачиваться. Но в конце концов принести кучку свежего навоза или поймать несколько мух — это нам еще по карману.

Вот и получается, что, если уж бедняку приспичило заниматься естественной историей, самое верное обратиться к насекомым. Добывать их проще простого. Чего только не обнаружишь на кусте чертополоха! Загляни под любой камень на дороге, найдешь уйму диковин. И для них ни громоздких клеток не надо, ни аквариумов. Одного отсади в стакан, в пузырек, другого — в коробку!

А как много могут дать для начала одни только наблюдения в природе! Любознательность натуралиста всюду находит достойные внимания объекты. Дома ли, в пути ли, в гостях — везде могут попасться на глаза интересные насекомые.

Осу горшечницу, например, она носит звучное греческое имя — пелопей, Фабр увидел во время прилетов к очагу в кухне. Пелопей счел место подходящим для поселения будущего потомства и носил сюда свой строительный материал — комочки грязи. Хозяйка стирала, в котле кипело белье, и Фабр стал регулировать силу огня, чтобы заложенные осой ячеи не пострадали и пелопей не бросил работу. В другой раз он заметил пелопея на ферме Роберти, когда навещал отца. Повесив на стене барака-столовой кто блузу, кто шляпу, рабочие уселись за стол. Пока они хлебали суп, осы строили ячеи на висящем по стенам платье. Обед кончился, рабочие встают, одеваются, не замечая, стряхивают комочки грязи, склеенные горшечницами… После того Фабр открывает гнезда пелопея над паровой машиной в шелкомотальне, на стенах и на кухонной мебели, даже внутри походной фляги, в которой фермер держит охотничью дробь, короче, всюду, где достаточно тепло и куда не проникают прямые солнечные лучи.

Но, боже мой, как ненадежен успех наблюдений в присутствии посторонних! До конца жизни запомнил Фабр случай с желтокрылым сфексом, волочившим по дорожке не

всегдашнюю свою добычу — сверчка, а кобылку. Фабр не верит глазам. Ведь желтокрылый сфекс кормит личинок только сверчками… Сфекс спокойно входит в норку, втаскивает за собой кобылку. Фабр садится около, терпеливо ждет следующей охотничьей вылазки. Он должен проверить, принесет ли снова сфекс необычную дичь.

Но тут слышны голоса. По дорожке шагают два новобранца. Предупредить их, попросить обойти это место? Не оберешься разговоров. Фабр предоставляет все воле случая и уступает им тропинку.

Черт! Тяжелые подошвы наступают как раз на норку сфекса. «Я весь вздрагиваю, — пишет Фабр, — словно сам получил удар подкованным сапогом».

И однако же Фабр извлек кое-что из этого искалеченного наблюдения. Он осторожно раскопал разрушенную норку и нашел там, кроме только что принесенной кобылки, еще двух. Значит, то была не ошибка. Позднее ему довелось убедиться, что желтокрылый сфекс действительно заменяет иногда свою любимую дичь — сверчка кобылкой, совсем на него не похожей, но, как и сверчок, принадлежащей к отряду прямокрылых. Можно ли отсюда заключить, что амплитуда отклонений от нормы в какой-то мере ограничена? Чем?.. Не внешним видом добычи, это уже бесспорно. Видимо, отряд прямокрылых — это не только плод ума систематиков…

В другой раз Фабр устроился рано утром перед гнездом сфекса лангедокского. Мимо прошли три сборщицы винограда. Они видят человека и почтительно здороваются, он им вежливо отвечает. После заката женщины возвращаются с полными корзинами на голове, а человек в черной фетровой шляпе сидит на том же камне, и глаза его устремлены в ту же точку, что и утром. Одна из сборщиц подносит палец ко лбу, что-то вполголоса произносит, потом все трое крестятся.

— Какая насмешка судьбы! — вроде бы и в шутку, но больше всерьез говорит Фабр. — Ты усердно изучаешь насекомое, стараешься выяснить, что у него инстинкт, а что разум, и именно тут берут на подозрение твою собственную голову, твой собственный разум…

Пустая дорога

Лучше всего Фабру на Пустой дороге вблизи Карпантра. Сюда не забредет новобранец, который, не зная того, растопчет взятый под наблюдение участок, здесь реже проходят сборщицы винограда, которые, не желая того, отвлекают исследователя. А главное, нигде не найти столько перепончатокрылых — любителей горячего солнца и мягкой почвы. Весной несчетные пчелы антофоры строят в глинисто-песчаных склонах свои подземные ячеи и сразу же принимаются заполнять их нектаром с осыпанного цветами кустарника.

В одном месте обрыв вдоль Пустой дороги на протяжении сотен шагов до того источен, что кажется громадной глыбой пемзы. Каждое отверстие, их здесь тысячи, через изогнутый коленом коридор ведет сантиметров на двадцать-тридцать в глубину, к ячейкам. Отложив яйцо в ячейку, антофора ее запечатывает. Запечатывает одну за другой ячейки, но не ход в коридор.

К концу лета все работы закончены. «Замер еще недавно столь многолюдный поселок, — пишет Фабр, применив одно из тех антропоморфических сравнений, которые ему потом поставят в вину. — В почве покоятся тысячи личинок и куколок антофор. Им предстоит лежать в глиняных ячейках до будущей весны».

Сейчас здесь снуют паразиты: мухи антраксы и жуки ситарисы — длинноногие, длиннокрылые, но именуемые, несмотря на это, плечистыми. — по-латыни ситарис гумералис. Самки их даже проникают в отверстия коленчатых коридоров, ведущих к ячейкам. Что манит сюда жуков? Корм, собранный антофорами, или плоть зреющих в земле перепончатокрылых?

Действуя карманной лопаткой, Фабр осторожно вскрывает гнезда.

Ячейки у поверхности не похожи на те, что глубже. Оказывается, часть галерей занята осмией трехрогой — тоже землероющей пчелой.

— Какая густота, какая плотность жизни! — дивится Фабр, добираясь до поселения антофор. Вот их ячеи: в одних еще личинки, там — куколки, в третьих уже — доспевают пчелы. Попадаются ячейки с паразитной пчелкой мелектой. Не то, не то… И вдруг странный хрупкий кокон янтарного цвета. За ним второй, третий. Они прозрачны, внутри ясно видны жуки. Это ситарис плечистый.

Ячеи совершенно целы, никаких повреждений. Как же сюда эти жуки проникли?

Потребовались годы наблюдений и размышлений, чтобы распутать сложный узел, в который сплетена естественная история нескольких видов. Но в конце концов Фабр расшифровал одну из самых удивительных глав книги, прочитанной на Пустой дороге.

Сначала домой унесен пласт почвы с гнездами антофор и несколько самок жука. Часть ячей антофор закрыта, некоторые раскрыты. Фабр дежурит у широких стаканов с пчелиными гнездами и жуками. И убеждается, что самки ситарис не пытаются проникнуть в глубь гнезд. Они откладывают яйца на пороге, у входа. Мать-ситарис ничего не делает для защиты потомства. Она даже не затыкает коридор, где набросала яйца. Дорога для мелких хищников открыта, и из рассыпанных у входа зародышей сохранятся немногие. Не зря так плодовиты самки ситарис. Одна из них откладывала яйца тридцать шесть часов подряд, не сдвигаясь с места!

Видимо, в гнезда антофор пробираются *личинки* жука.

Фабр ждет не дождется, когда сможет проверить свою догадку. К концу сентября — началу октября из яиц вылупляются в стаканах личинки. Но, несмотря на холода, ни одна не стремится в гнездо. Хоть силком подтаскивай их вглубь, они возвращаются к входу!

Может быть, на свободе личинки ведут себя иначе? Фабр спешит на Пустую дорогу к гнездовью антофор, присматривается к личинкам ситариса, которых теперь хорошо знает. Личинки сгрудились в кучку там, где появились на свет. Так они и зимуют! Только весной солнце вернет их к жизни. Фабр узнал об этом дома: к концу апреля личинки после семимесячного сна начали бегать по стакану.

Не ищут ли они корм? Ведь, вылупившись из яйца в сентябре, они до сих пор маковой росинки во рту не имели. Было время проголодаться! Или, свыше двухсот дней проведя на пороге гнезда, от ячей которого раньше убегали, они, наконец, почуяли к нему тягу? Или обе причины, действуя совместно, пробудили их активность?

Но нет, опыты ясно показывают: личинки по-прежнему не проявляют интереса ни к самим антофорам, ни к их медовому припасу. Те, которых Фабр помещает в ячеи, сразу выскальзывают оттуда, а положенные на самый мед или на плавающую по его поверхности личинку антофоры тонут в липкой массе. Если какие и выберутся на сухое, они все равно уже не оправятся.

«Чего им надо, этим переборчивым личинкам?» — ломал

голову над своими стаканами Фабр. Сейчас бы отправиться на Пустую дорогу, заглянуть в настоящие гнезда антофор! Нет, он занят в лицее, отлучаться для дальних походов невозможно.

Наконец каникулы. Но теперь сроки ушли, осмотр гнезд в природе ничего не дает. Приходится ждать почти год.

Пока наступит следующая весна, Фабр успеет на тысячи ладов продумать самые невероятные варианты ответа на загадку и посоветуется со стариком Дюфуром; он напишет ему и о ситарисах и о других паразитах антофор из того же гнездовья. Отвечая на вопросы молодого коллеги, Дюфур расскажет, как он, занимаясь в свое время пчелами андренами, обнаруживал на них маленькие юркие существа, в которых узнал описанных англичанином Ньюпортом триунгулин. Они оказались личинками жука майки!

Письмо Дюфура открыло глаза Фабру. В самом деле, личинка ситариса во многом похожа на триунгулина майки; майка тоже паразитирует на пчелах антофорах; личинки жуков-паразитов схожи между собой и в то же время отличаются от личинок других жуков; есть основания предположить, что повадки маек и ситарисов также сходны. Но известно, что пчелы сами заносят личинок майки в свои гнезда. Не то же ли происходит и с личинками ситариса?

Подошел апрель. В стаканах проснулось новое поколение перезимовавших личинок. Фабр бросает в стакан пчелу осмию (антофор у него сейчас нет) и следит сквозь лупу за событиями. Ага! Пять юрких личинок впиваются в пушок, покрывающий пчелу. Фабр повторяет опыт дважды, трижды, десять раз — результат тот же.

Едва наступают весенние каникулы, он отправляется на Пустую дорогу. Холодно, моросит дождик. На немногих распустившихся цветках — ни одной пчелы. У входов в гнезда стынут окоченевшие антофоры. Одну за другой берет их Фабр своими легкими длинными пальцами. Каждую внимательно осматривает: у всех на груди личинки ситариса. И чаще тоже не одна. Вот минута, когда исследователь вправе сказать себе: эврика!

Теперь разрозненные факты и наблюдения легко и естественно связываются в цепь: самки жука ситариса откладывают яйца вблизи гнезд пчел антофор, у входов в галереи; личинки, вылупившись из яиц, упорно держатся места, где вышли на свет, и здесь зимуют; их будит весеннее солнце, но они, не уползая далеко, снуют у входов в коридоры; а когда антофоры выходят, личинки впиваются в опушение на груди молодых пчел.

Тут цепь обрывается. Антофоры с личинками почему-то

самцы. Случайное совпадение? Да нет, какой же случай, раз все без исключения личинконосы — мужского пола? Скорее загадочный закон! Но что за прок от того личинкам? Самцы гнезд не строят, корма в ячеи не сносят. В холодные дни они ютятся в коридорах гнезда, а едва потеплеет, улетают. Проводя время в ожидании своих суженых, четырехкрылые женихи пасутся на растущих поблизости цветках. Нет, не самцы проложат личинкам жука путь в ячеи. К ячеям имеют доступ только самки. Но, может, в таком случае личинки перебираются с самцов на самок? Но как и когда? Что, если именно в минуту любви, призванную продлить род, с груди самца на самку проскальзывает триунгулин, несущий смерть роду?

Дикое предположение! Впрочем, в науке даже правдоподобные гипотезы не больше чем тема для исследований. Самцы антофор появляются весной первыми, и личинки ситариса, конечно, впиваются в их пушок. Через месяц из ячей выйдут самки. Когда самцы-антофоры их обнаружат, личинки жука и совершат свой цирковой номер.

Хорошо, пусть так! Личинки перекочевали на самок, а те вносят их на себе в ячею. Но ведь искусственно поселяемые в ячеях личинки тонут в меде. Отчего же в естественных условиях они остаются живы и благополучно окукливаются?

Натуралист ищет ответа в окрестностях Карпантра. Приходит 21 мая 1857 года — историческая дата для Фабра. Над Пустой дорогой живой нимб: перед обрывом висит облако антофор. Уже издали слышно их не предвещающее добра жужжание: тысячи пчел прилетают и улетают, кружат у входов в гнезда. Кто посмеет нарушить покой этого пчелиного заповедника? Фабр поеживается, вспоминая, как однажды слишком приблизился к гнезду шершней. И было их не так уж много… Что поделаешь? Кто хочет знать — должен терпеть! Изловив несколько самок, Фабр на многих находит личинок ситариса и принимает решение. Застегнувшись на все пуговицы, надвинув шляпу на лоб, он вступает в самую плотную часть облака, поднимает заступ и с силой ударяет по склону.

Гудение становится еще более грозным, но ни одна пчела не трогает нарушителя. Антофоры, ячейки которых не пострадали, продолжают работать. Те, чьи гнезда разрушены, принимаются чинить их или парят возле. Откалывая пласт с гнездами, Фабр весь в напряжении, однако какой-то стороной сознания привычно фиксирует: антофоры не нападают на врага роем, каждая живет своей жизнью. Это не шершни. Стоя среди мятущихся пчел, Фабр спокойно проверяет ячеи. Пожалуй, теперь ни один зевака не рискнет подступиться близко, а увидит издали, так от души

пожалеет несчастного или заподозрит вмешательство нечистой силы.

Фабр, забыв недавнюю тревогу, всматривается в ячеи. В каждой на поверхности меда лежит яичко антофоры, во многих на яичке, как на плоту, плавает личинка ситариса. Но что за нечистая сила помогает личинке пробраться на яйцо, на единственную точку, спасающую ее от смертельного соприкосновения с медом? И почему она на яйце всегда одна, Фабр это знает, он просмотрел несчетное число гнезд. А ведь на антофоре личинок, как правило, несколько, обычно множество.

Снова ворох вопросов, и выбраться из него можно снова с помощью дикого предположения: личинка попадает на яйцо именно в тот момент, когда пчела его откладывает.

Собственно, прием не нов. По сути, такой же кульбит, что и первый, когда личинки перебираются с самца на самку. Вскоре Фабр увидел: в тот миг, когда яйцо антофоры выходило наружу, одна из личинок, избежав опасного соприкосновения с медом, проскользнула с конца брюшка пчелы на яичко.

Да, как удивительно насыщена и плотна жизнь, порождающая столь изощренные ходы, такие фантастические зигзаги!

Отложив яичко и оставив на нем врага, антофора запечатывает ячейку. Следующая — рядом, и в ней тоже может оказаться паразит.

Яйцо антофоры представляет для личинки ситариса не только спасительный плот на смертельно ядовитом медовом озере, но также и первую, единственно пригодную пищу. Лишь покончив с ней, личинка вступит в следующую стадию и сможет питаться медом.

Фабр тщательно проследил и в природе и в стаканах дальнейшую судьбу личинки и ее превращения. Через восемь дней, когда яичко антофоры высосано досуха и от него осталась только тонкая оболочка, а личинка ситариса увеличилась почти вдвое, кожица на ее спине лопается, выпуская на свет личинку второго возраста. Ее брюшная сторона вздута так, что личинка теперь похожа на маленький баркас. Новая тварюшка плавает в меде спиной кверху, дыхальца же собраны на спине, и липкая жидкость их не касается и не заклеивает.

Именно примером этих превращений Чарлз Дарвин в «Происхождении видов» подкреплял свою мысль о том, что различные стадии метаморфоза насекомых приобретаются путем приспособления: «Любопытный случай Sitaris, жука, проходящего некоторые необычайные стадии развития, служит хорошей иллюстрацией того, как это могло произойти. Первая личиночная форма описана Фабром как небольшое подвижное насекомое,

снабженное шестью ножками, двумя длинными сяжками и четырьмя глазами… Когда трутни весной выползают из норок, что они делают раньше самок, личинки забираются на них, а потом с них, во время их спаривания с самками, перебираются на последних. Как только самки отложили яички на поверхности меда, наполняющего ячейки сотов, личинки Sitaris нападают на яйца и пожирают их. После этого они претерпевают полное изменение: глаза у них исчезают, ножки и сяжки становятся зачаточными, и личинки теперь питаются медом, более походя вместе с тем на обыкновенных личинок насекомых».

На медовом рационе личинка быстро растет. Покончив в июле с запасом провизии, собранным в прошлом году автофорой, она имеет в длину уже миллиметров тринадцать.

Теперь кишечник обжоры освобождается, личинка становится чуть меньше, тонкая кожица ее отстает, образуя мешок. В нем неподвижно лежит овальное, членистое, с плотными покровами рыжевато-бурое тело. Ничего подобного у других насекомых Фабр не видел. Это странное создание уже не личинка, но еще не куколка. Фабр называет его псевдохризалидой — ложной куколкой. Она чаще всего так и зимует, а в июне следующего года вновь превращается в обыкновенную личинку. Насекомое как бы возвращается назад, к своей прошлогодней форме. Третья фаза отличается от второй только менее толстым брюшком: кишечник у личинки совсем пустой.

Третья личинка, отделенная от второй состоянием псевдохризалиды, прожив, как и вторая, около месяца, становится настоящей куколкой — ровно через год после превращения второй личинки. Куколка — жук в пеленках. Тело его уже оформлено, но он еще не окреп и не окрашен. Покровы и ноги в дальнейшем довольно быстро чернеют, надкрылья становятся наполовину желтыми, наполовину черными. В этом состоянии он недели две крепко спит в коконе. Таких-то и увидел Фабр, впервые разбирая ячейки, выкопанные на Пустой дороге. Три года прошло, прежде чем он узнал, что в середине августа жук, разорвав кокон, просверлит крышечку пчелиной ячейки и по коридору без помехи выберется наружу. Таков конец одиссеи ситариса.

Дочитав эту головоломную историю до конца, Фабр вернулся к триунгулинам, которые, подобно огоньку маяка, указали ему выход из тьмы ситарисовых загадок. Он прослеживает их жизнь во всех ипостасях, дополняет наблюдения Ньюпорта и после этого сопоставляет естественную историю двух видов.

Только теперь он считает себя вооруженным для окончательных выводов и обобщений, а также для различения

родов семейства нарывников-мелоид, к которым относятся ситарисы и майки, от прочих жуков.

«Мы знаем, что личинка каждого жука, — пишет Фабр, — прежде чем достигнуть состояния куколки, несколько раз линяет. Обычно эти линьки нисколько не изменяют строения личинки: она только растет. Правда, у таких личинок образ жизни все время один и тот же.

Предположим, что образ жизни личинки в разные ее возрасты различен. Тогда линька не только может, но должна сопровождаться теми или иными изменениями в строении личинки. Первая личинка майки живет на теле антофоры. Ее опасные странствования требуют быстроты движений, цепкости, и она обладает этими качествами. В ячейке пчелы нужно раньше всего уничтожить пчелиное яичко. Острые, изогнутые челюсти первой личинки прекрасно справятся с такой работой. Но вот пища становится иной: личинка начинает есть мед. Изменяется и среда, в которой она теперь живет: личинка плавает на поверхности липкой жидкости. Острые челюсти принимают форму ложек для черпания меда. Бесполезные теперь ноги исчезают так же, как и ненужные в темноте глаза. Другой становится и форма тела: юркая вошка превращается в толстенького малоподвижного червячка…»

Статьи Фабра о гиперметаморфозе, или сверхпревращении — так он назвал прослеженный им способ развития у жуков нарывников, — были напечатаны в № 7 за 1857 год и в № 9 за 1859 год уже знакомого нам журнала «Анналь де сианс натюрель». Французская академия отметила эти работы еще одной премией — Женье, которой удостаивались наиболее выдающиеся исследования, а Дарвин, как мы видели, использовал в «Происхождении видов» пример ситариса, приняв фабровскую трактовку начальных стадий развития этого жука.

Позже Фабр опишет первое звено гиперметаморфоза и в другом семействе насекомых, найдет, что личинковый диморфизм у мух-жужжал объясняется в принципе так же, как и различия в начальных стадиях развития жуков нарывников.

Сложнее оказался вопрос о более поздних стадиях, о «необходимости последующих превращений» второй личинки ситариса, которая сначала становится ложной куколкой, затем на короткое время опять личинкой и лишь после этого настоящей куколкой. «Для чего это нужно, нам не известно», — заключает рассказ Фабр.

Последнюю строку стоит выделить. Через пятьдесят лет автор классического свода «Насекомые» английский энтомолог Давид Шарп в главе о гиперметаморфозе (фабровский термин

укоренился в науке) изложит суть работ Фабра, приведет его рисунки и повторит его заключение: «Для чего это нужно, нам не известно…» И еще полвека спустя, то есть уже через сто лет после Фабра, советский энтомолог Б. Н. Шванвич, рассказывая о не связанном с паразитизмом гиперметаморфозе у жуков-сверлил, отметит, что назначение последних фаз развития у этих насекомых не установлено, подобно тому как оно не установлено до сих пор у нарывников — мелоид и ситарисов.

Как видим, иными открытиями, совершенными на Пустой дороге, поставлены вопросы, все еще ожидающие решения.

Так, во всяком случае, получилось с гиперметаморфозом.

Маршруты восхождения

Теперь уже все семейство стало бродягой-мауфатаном, кочует с квартиры на квартиру. Не то чтоб Фабры были переборчивы или капризничали. Просто на деньги, которые удавалось выкроить для оплаты жилья, ничего путного не найти.

Из исторического здания по улице Делямас переехали на окраину. Рядом с остатками крепостных стен стоял унылый, казарменного типа дом, но в палисаднике нашлось место для редкостных растений, в том числе корсиканских. Папоротники, лютики, цикламены из маки! К Фабрам зачастили и местные любители и приезжие.

Гостил здесь Теодор Делякур — правая рука знаменитого Вильморена, чья династическая фирма уже тогда была известна своими семеноводческими и селекционными чудесами. «Как мне дождаться вас, дорогой друг! — звал Фабр Делякура. — Расцелую вас в обе щеки, и мы совершим очередную великолепную экскурсию».

Сюда наведывались Бернар Верло — главный ботаник Национального музея естественной истории, Бордон — врач и ревностный коллекционер из Карпантра, доктор Вейсьер — преподаватель зоологии из Марселя — все «молодые люди с горячим сердцем, блестящим воображением, полные жизненных сил, общительные и жадные к знаниям», — писал о них Фабр.

Конечно, Жана-Анри растения тоже интересуют, правда, теперь не сами по себе, а как стол и дом для насекомых.

— Ботаника замечательна, — признается он, — но меня занимают создания, которые кишат, копошатся, бегают.

Особенным праздником были походы на Ванту.

Южные склоны почти двухкилометровой горы, спускающиеся к Роне и Дюранс, сравнительно пологи, зато с севера лестницей гигантов застыли обрывистые террасы, а к западу от городка Малоуен — и вовсе неприступная стена. Лишь кое-где среди беспорядочного нагромождения осыпей, осколков, голых скал затерялись неясные тропинки. Сухо скрипит под каблуками известняк да, скрежеща галькой, бегут по каменистому ложу быстрые потоки.

Чего ради забираться сюда натуралистам? Между тем и здесь на каждом шагу видишь:

— Всюду жизнь! И как в общем немного ей требуется!

Внизу вокруг подножья Ванту нежатся в щедром солнце Средиземноморья зябкие оливы, а у вершины встречаются лишь немногие представители северной флоры. В течение дня, пока идет подъем, можно проследить смену растительных формаций, которую на равнине удается увидеть лишь в долгом путешествии с юга на север.

Ботаники из других стран охотно вели обмен с исследователями флоры Ванту, прославленной еще Эспри Рекияном, чьи гербарии приводит в порядок Фабр.

Весной из окрестных селений на поляны Ванту, заросшие розмарином, горчицей, мелиссой, лавандой, вывозят соломенные ульи. Их устанавливают у подножья скал летками на юг, и пчелы собирают корм с медоносов, цветущих в разное время на нижних и более высоких террасах. Тут производится знаменитый нарбоннский мед. Его отбирают из сотов перед холодами; ульи же в конце лета на ослах или на мулах, а то и на собственной спине спускают в долину.

На виду у этой горы прошла вся жизнь Фабра. Если не считать четырех лет в Аяччо, то где бы он ни был, на горизонте, разве только чуть правее или чуть левее, высилась ее серебряная зимой и бурая летом голова. Хотя одинокая вершина не слишком приспособлена для прогулок, Фабр поднимался на нее ни много ни мало 23 раза!

Он знает, когда цветет здесь пунцовый гранат и когда он, созрев, забрасывает сизый сланец взорвавшимися кровоточащими плодами. Знает, где голубеют незабудки, где растут испанские лилии и карликовая марена с красноватыми листьями, где можно встретить кизильник, из ягод которого приготовляется ароматная наливка.

Выше, за узкой полосой приземистых, чуть не стелющихся буков, он находит гренландские маки, серебристый мох и камнеломки. Меж их стеблями прячется пеший кузнечик, не умеющий прыгать, и гусеница парнассиус аполло, из которой

выйдет белокрылая бабочка с красно-черными пятнами-глазками.

…Четыре утра. Во главе каравана Трибуле — старший и опытнейший из проводников. За ним цепочкой тянутся ослы в нарядной упряжи, с помпонами, медяшками и бубенцами на испанский манер. Они нагружены тюками одеял и прессами для сушки растений.

Дальше шагают гости. Вооруженные папками и записными книжками, лопатками и морилками, друзья продираются сквозь колючую ежевику, разгребают песок, поднимают камни, косят сачками. Вокруг находок вспыхивают короткие диспуты, Фабр между делом записывает показания барометра, что висит у него на груди. Диспут может быть очень бурным, Анри не забудет определить высоту, на которой обнаружено растение или насекомое.

Через несколько часов — привал у источника Делаграв. Время! Все уже давно жуют на ходу стебельки щавеля.

Около родника, что бежит по уложенным в ряд длинным корытам из стволов бука, стелют холстину. Из корзин извлекают начиненное чесноком жиго, острые сыры, пухлые арльские сосисоны, зеленые и зрелые черные маслины и, конечно, чеснок и лук — сырой, маринованный, жареный. Не зря говорится, что в Провансе даже известь пропахла чесноком!

Парижане в восторге от экзотических пиров, да и для Фабра это редкость. Когда он ходит один, в ранце у него, как во времена бродяжничества, хлеб и сыр из овечьего молока.

Коллеги по лицею не узнали бы сейчас всегда замкнутого и отчужденного Фабра. Угощая друзей, радуясь их аппетиту, он с удовольствием декламирует Беранже:

Безбожный, нечестивый век!
Утратил веру человек:
Перед обедом забывает
Молиться. Иль не успевает.
Но я молюсь, когда я сыт:
— Верни мне, боже, аппетит
И лакомствам в желудок дай дорогу!

«Когда я за столом сижу, то мир прекрасным нахожу», — отзывается Делякур, а Верло вспоминает Рабле и яства Гаргантюа.

Ночуют в пустой овчарне на подстилке из сухих листьев. Продолжая начатый рассказ, Фабр излагает историю тихонижучка, которому надежное убежище, хороший желудок и сытная еда обеспечивают счастье. Речь идет о личинке баланина в лесном орехе.

— Ее жилище, — говорит Фабр, — не похоже на ветхую овчарню, оно не протекает. Ниоткуда не проникнет незваный гость! Стол, может, однообразен, но даже обильнее сегодняшнего. Личинка и жиреет. К счастью, нам такое счастье не угрожает.

Встают затемно, утро встречают на вершине. Внезапно из-за гребня Альп появляется солнце, и внизу сквозь тающий туман начинает проступать лента Роны.

Высота Ванту раздвигает пространство, помогает Фабру шире смотреть и мыслить. Да, горная флора меняется с каждой сотней метров подъема, вертикальная зональность бросается в глаза. Нет ли, однако, чего-то подобного в биологии насекомых? Может, здесь существуют другие оси?

Если взять, к примеру, вкусы насекомого, пищу, которую оно предпочитает? Во Франции три вида сфексов, и все кормят своих личинок насекомыми из отряда прямокрылых. Для одного вида сфексов добычей служат сверчки, для другого кобылки, для третьего эфиппигеры. А как в других странах? Фабр делает настоящий смотр провинциям сфексов, о которых прочитал все, что было когда-нибудь напечатано. В Алжире у сфексов бурокаемчатого и желтокрылого те же вкусы, что в Провансе. Разделенные морем, они одинаковы. Сфекс африканский, что водится вблизи Орана, кормит личинок лишь кобылками. Сфекс прикаспийских степей добывает для потомства тоже кобылок… Вокруг Средиземного моря — пять видов сфекса, и все выращивают личинок на парализованных прямокрылых.

Не говорит ли родство вкусов о некоем историческом родстве? Но тогда, может быть, ось, которую ищет Фабр, лежит не в двух плоскостных измерениях и не в вертикали, как зоны Ванту, а в четвертом измерении — во времени, в истории?

Не связываются ли тогда осы сфексы с убийцами златок — церцерис, например, и с другими насекомыми-вегетарианцами, питающими молодь животной пищей? В таком случае основанием ветви должны быть виды, поставляющие потомству каждый день только что изловленную добычу, вроде бембексов, что, охотясь на слепней, залетали под зонтик Фабра.

А усложнение метаморфоза — другая цепь, которую вроде бы завершают жуки нарывники с их дополнительными стадиями?

А искусство сооружения гнезда у перепончатокрылых? Не может ли в конечном счете и оно оказаться идущей от вида к виду лестницей усовершенствований?

А обеспечение потомства — заправка гнезд кормом?

Нет! Фабр отказывается видеть последовательность, преемственные связи, о каких говорит автор «Происхождения видов». Подобные усложнения все лежат в одной плоскости,

принадлежат одной эпохе. Истории инстинктов не существует. Сам Дарвин считает: «Инстинкты вымерших видов нам совершенно неизвестны»; «мы не можем надеяться, что когда-нибудь будут найдены пути, которыми были приобретены различные инстинкты, так как у нас имеются только существующие животные, к тому же плохо известные, чтобы судить о ходе постепенных изменений».

Большинство зоологов занимается систематикой, анатомией, физиологией. Натуралистов, изучающих повадки животных, в пору пересчитать по пальцам. Еще меньше таких, кто посвятил себя, как Фабр, нравам насекомых. При этом он в центре внимания сразу поставил инстинкт, в котором видит вершину. Снова, как когда-то в алгебре, он начал не с азов, а сразу с бинома Ньютона.

Фабр не жалуется, что совершает свои восхождения в одиночку, без опытных проводников, без спутников и друзей. И сам несет на плечах все снаряжение и оснащение.

Здесь тропы еще более неясны, запутаны, извилисты, чем на Ванту. Часто приходится прокладывать их и вовсе в нехоженых местах, а каждый новый шаг вперед требует строгой осмотрительности.

Всех, кто работал до него, Фабр ценит, уважает, но чем дальше, тем меньше склонен принимать на веру чужие выводы.

Во французском издании книги Эразма Дарвина Фабр читает, к примеру, что сфекс напал на муху, почти такую же крупную, как сам. Разрезав ее тело на части, он попытался улететь, унося грудь с крыльями. Однако ветер помешал ему, тогда хищник опустился на землю, отрезал крылья и улетел, унося грудь. Эразм Дарвин увидел здесь доказательство разумности. Но эти насекомые на мух не охотятся, их постоянная дичь — мы только что об этом говорили — прямокрылые. К тому же сфексы уносят свою добычу целиком, а не по кускам, как другие осы. Видимо, то был все-таки не сфекс, и, значит, нет оснований делать из наблюдения вывод о сообразительности насекомого.

А любимый Бланшар? Он пишет, что навозник, по неосторожности закатив свой груз в ямку и не в силах достать его оттуда, улетает. Вскоре к ямке прибывают уже несколько жуков, и они, действуя сообща, быстро управляются с делом. Но Фабр провел достаточно наблюдений и знает: шар может переходить из ножек одного жука во владение другого — похитителя, но никогда жуки не выручают и не поддерживают скопом ни обиженного, ни обидчика.

Признанный знаток жуков Клервиль приписал такие же таланты жукам могильщикам, и тоже ошибочно.

Фабр находит, не у кого-нибудь — у Дюфура! — указание, что скорпион лангедокский обзаводится семьей в сентябре. Утверждение верно для Сен-Севера, где живет Дюфур, в Провансе же скорпионы не ждут сентября. Доверься Фабр авторитету, он упустил бы год, если не больше!

Что касается Эразма Дарвина, тот, как выяснилось позднее, неповинен в нелепице. Чарлз, вступившись за честь деда, написал Фабру.

«Уверен, — говорится в письме, — что вы не допустите несправедливости даже по отношению к насекомому, не говоря уж о человеке… Какой-то переводчик ввел вас в заблуждение, ибо мой дед — Эразм Дарвин — утверждает („Zoonomia“, т. I, стр. 183, 1794), что крылья крупной мухи отрывала именно оса (guêpe). Нисколько не сомневаюсь, что, как вы правильно утверждаете, крылья отрывают большей частью инстинктивно; но в случае, описанном моим дедом, оса, оторвав конечности тела, поднялась в воздух и была опрокинута ветром; затем она опустилась на землю и оторвала крылья. Должен согласиться с Пьером Губером, что насекомые наделены в какой-то мере рассудком. Надеюсь, что в следующем издании своей книги вы частично измените место о моем деде».

Фабр, конечно, сделал такое исправление. Но все же, сколько ему приходилось сталкиваться с неправомерно обобщенными случайностями, промахами наблюдения, неточностями перевода, односторонними заключениями! Ошибки эти не удивительны. Наука о поведении животных совсем молода, объект труден и скрытен, требует долгих наблюдений и тщательных опытов. Как же может Жан-Анри, который до всего в познании доходил собственным поиском, доверять тут кому бы то ни было больше, чем самому себе?

Встреча с Пастером, направленным в Прованс министром сельского хозяйства, неожиданно укрепила Фабра в его позиции.

— Я ничего в этом не смыслю, — взмолился Пастер, узнав, что ему поручено изыскать меры борьбы с болезнями шелкопряда.

— Тем лучше, у вас не будет никаких мыслей, кроме тех, какие вам подскажет собственная голова, — успокаивал своего ученика академик Жан-Батист Дюма, — а это часто бывает на пользу делу!

Все же Пастер успел до выезда проштудировать томик Катрфажа — наиболее полное сочинение о шелководстве. Однако он не нашел в книге ничего, что помогло бы ему понять, откуда появляется на червях неумолимая пебрина, которая в короткий срок извела один из самых богатых промыслов Южной Франции.

Приехав в Авиньон, Пастер обратился к Фабру. Химик

пришел к преподавателю химии, уже известному энтомологу.

— Не могли бы вы раздобыть для меня коконы шелкопряда? — попросил Пастер.

— С удовольствием. В двух шагах отсюда живет человек, который выкармливает гусениц. Подождите, сейчас принесу.

Фабр возвращается с пригоршней коконов. Пастер берет один, рассматривает, потом трясет возле уха.

— Э, да там что-то стучит.

— Конечно, — конфузится Фабр, — там куколка.

— Да, да! — задумчиво повторяет Пастер, вертя кокон в руках.

Фабру не верится, что столь простые вещи могут быть в новинку для ученого.

Но Пастер и сам не скрывал, что отправился гасить огонь, не только не имея в запасе пожарных насосов, но и не представляя себе, что горит.

В первых же строках предисловия к отчету об изучении болезней шелкопряда он говорит: «Мне следовало бы начать эту работу с извинения, что я ее предпринял. Я был столь мало подготовлен к исследованию этого предмета, что, когда в 1865 году министр сельского хозяйства поручил мне заняться болезнями, истребляющими шелковичных червей, мне еще никогда не представлялся случай увидеть это ценное насекомое».

Ничего не знать о насекомом, которое призван спасти, и все-таки спасти его, — раздумывал Фабр над отчетом Пастера. — Подобно античному атлету, выйти на арену голым… Значит, и так можно сражаться, и так можно восходить на большие высоты? Есть от чего прийти в изумление. Есть от чего прийти в восторг!

Пастер занимался тогда также и вином. Сейчас *пастеризация* применяется очень широко. В те годы ученый еще только искал этот способ. Закончив разговор о шелкопряде, он попросил Фабра показать его винный погреб.

Какой француз на юге садится за стол без кружки вина? Им запивают соленый сыр, жаркое, фрукты. Когда этого не хватает, в вино макают черствый хлеб. Однако Фабр готовил вино сам, заставляя бродить выжимки с кислыми яблоками и горстью сахара.

«Мой погреб! — вспоминал Фабр. — Показать ему мой винный погреб! А может, подвалы, бочки и запыленные бутылки с этикетками, обозначающими год урожая и местность, где произрастает лоза? Мой погреб!»

Пастер, однако, настаивал, и хозяин отвел его в кухню: на стуле с изодранным соломенным сиденьем красовалась пузатая глиняная посудина литров на двенадцать.

— Мой погреб, вот он, милостивый государь!

— Это ваш погреб?!

— Вот именно!

— И все?!

— Представьте!

Фабр подумал, что посетителю, видно, не знаком голод — блюдо с острой приправой, которое в Провансе называют «бешеной коровой».

Конечно, «погреб» Фабра ничего не мог сообщить Пастеру о ферментах и их влиянии на качество вина. Зато Фабр почувствовал здесь другое: от проницательного взора знаменитого борца с бактериями определенно ускользнул губительнейший микроб, царивший в доме, — микроб нищеты.

В рассказе Фабра об этом эпизоде слышится горечь. Увлеченный своей миссией и своими мыслями, Пастер, не желая того, коснулся больного места, ударил по самолюбию хозяина, ранил его небрежностью.

Видимо, Фабр не совсем без основания бросил Пастеру укор, что тот не увидел микроба нищеты.

От проницательного взора энтомолога скрытыми оказались все учение о стерилизации, вся микробиология в прямом смысле этого слова, бескрайний мир существ, который могущественно влияет и на жизнь насекомых.

Несмотря на прививку против оспы, болезнь задела Жана-Анри, и теперь, когда речь заходит об искусственном иммунитете, он, ссылаясь на личный опыт, высказывал свои сомнения. После того как и дочь, несмотря на прививку, переболела оспой, скепсис Фабра окреп, распространился и на другие области науки о невидимом.

Фабр находил, что Пастер, с ходу вторгшийся в сферу энтомологии, вышел на арену, вступил в сражение голым. Но авиньонский натуралист не подозревал о подлинном научном оснащении своего гостя.

То было не только настроение, не просто чудачество. Здесь в отношении к Пастеру мы снова сталкиваемся с чертой, обнаруживающей одновременно и силу и слабость Фабра.

И вот, до конца жизни не забывая о перевороте, произведенном в шелководном промысле открытием простых и безотказных средств предупреждения болезней шелкопряда, Фабр, восхищаясь победой, перечеркнул для себя победителя, отказался в дальнейшем даже знакомиться с работами ученого, посетившего его когда-то в Авиньоне.

Но и Пастер нигде и никак не вспомнил об авиньонском энтомологе, прошел мимо него, как если б то был все еще

продавец лимонов на ярмарке.

Первая встреча их стала и последней.

А ведь у них было так много общего! Оба неутомимые труженики, разносторонние искатели. Оба жили наукой, отдавали ей все силы ума и воли, оба умели видеть и утверждать новое. Не Моцарт и Сальери, но два Моцарта.

Сейчас, отдаленные от обоих, можно сказать, целым веком, мы понимаем: благодаря им в культурный обиход человечества вошли представления о двух новых мирах — мире микробов и мире насекомых. Не случайно имена обоих известны сейчас грамотным людям всех пяти континентов.

…Два биолога, свидевшись, не поняли друг друга и холодно разошлись, а первая же встреча Фабра с английским философом и публицистом Миллем стала началом их живого многолетнего взаимного интереса и дружбы.

Имя Джона Стюарта Милля стоит в одном ряду с именами Смита и Рикардо — классиков буржуазной политической экономии. Однако в то время, о котором мы рассказываем, важного, даже чопорного с виду англичанина в Авиньоне знали не столько по сочинениям, сколько по драме, заставившей его бросить родину и поселиться на юге Франции.

Этого «апостола рационализма», как называли Милля, привела в Прованс любовь. История его романа исследована, о ней существуют монографии.

Миллю исполнилось 25 лет, а Гарриет — 23, когда они познакомились. Гарриет была замужем. Молодые люди подружились, и это была, как писал Милль в «Автобиографии», «истинная дружба, основанная на взаимном доверии…»

О последовавших годах он вспоминал: «Я глубоко благодарен за силу характера, позволившую ей не обращать внимания на ложные толкования, которые можно было дать моим частым посещениям». Когда в 1849 году, через двадцать лет, муж Гарриет умер, «ничто, — пишет Милль, — не воспрепятствовало мне извлечь из этого несчастного события свое величайшее счастье, прибавив к уже существовавшей связи мыслей, чувств и литературных занятий еще новую, слившую воедино наши существования…»

Счастье Милля продолжалось менее восьми лет: во время путешествия по Франции Гарриет простудилась и умерла в Авиньоне. «С этого времени, — рассказывает Милль, — я стал искать утешения, насколько это возможно, в том, что устроил свою жизнь так, будто моя жена была еще около меня. Я купил маленький домик на окраине, как можно ближе к тому месту, где она была похоронена, и там с ее дочерью, разделявшей со мною

мою печаль и оставшейся единственным моим утешением, проводил большую часть года».

Милль иногда по нескольку раз в день приходит на кладбище с цветами, вновь и вновь перечитывает длинную, в тридцать строк, высеченную на мраморной плите надпись — дань восхищения, обет верности. Если Милль не работал за письменным столом и не уходил к могиле Гарриет, он готовил труд о флоре Воклюза. «В естествознании я больше всего привязан к ботанике», — писал он.

Чтоб ближе познакомиться с растительным миром Прованса, Милль и пришел в Сен-Марциал к Фабру. Возможно, тут имела значение также диссертация об орхидеях, опубликованная в «Анналь де сианс натюрель» хранителем музея Рекияна. Не дошла ли до Милля и высокая оценка, которую Дарвин дал уже первым фабровским исследованиям парализаторов и гиперметаморфоза?

На эти вопросы нет ответа. Отношения Милля с Фабром совсем не исследованы. Майкл Пэк, автор наиболее подробного жизнеописания Милля, рассказывая о частых совместных с Фабром экскурсиях, утверждает: оба «шагали молча, и каждый думал о своем». Они по-разному читали даже одну и ту же математическую формулу, говорит Пэк.

Что же в таком случае стало основой их дружбы?

Милль был убежденным сторонником парламентской демократии. Как Распай, как Фабр, он стоял за всеобщее избирательное право. Как Фабр, он был решительно настроен в пользу эмансипации.

Но не сказывалось ли тут и нечто другое? Пылкий южанин, становившийся деревянным и замкнутым, буквально терявший дар речи, когда дело касалось личных чувств, и холодный сын Альбиона, который посвящал памяти жены книги и до конца дней считал, что не все еще сказал о душевном богатстве, красоте и высоком уме своей незабвенной Гарриет… Сходство крайностей? Может быть. Недаром они по-разному читали даже математические формулы. «Энтомолог и ботаник никогда не понимали друг друга», — сообщает Майкл Пэк. Да, ботаник и энтомолог, но хобби одного и главное дело жизни другого встретились.

Милль интересовался всеми работами Фабра, а в его наблюдениях над аммофилами сам принимал участие.

Значило ли это что-нибудь для не избалованного жизнью Фабра как для человека, значило ли как для натуралиста? Еще бы! Как в свое время на мировоззрении Фабра сказалось изучение греческого по спиритуалистскому «Подражанию», как сказались на формировании взглядов молодого ученого беседы с блестящим

Мокен-Тандоном, который был последователем Кювье и не признавал постепенности в развитии органического мира, так теперь на него повлиял Милль. И когда Фабр в своих «Сувенир» клонит речь к тому, что в науке ценны не абстрактные обобщения — плод ума, которому так свойственно ошибаться, а только надежно установленные факты, разве мы не слышим в этих рассуждениях интонации Милля?

Вместе с тем в книгах, посвященных проблемам этики, Милль высказывает по поводу материнского инстинкта мысли, в которых можно опознать влияние авиньонского натуралиста. Он рассматривает работы Фабра в свете идей Дарвина, из трудов которого делает свои выводы. Если Фабр открещивался от эволюционизма, Милль обнаружил новые сферы, где идеи Дарвина и Фабра оказались созвучными.

Нам еще придется вернуться к этому вопросу, а пока заметим только, что, если б в свое время дружбе Фабра с Миллем была уделена хоть доля того внимания, с каким прослежены перипетии романа Джона Стюарта и Гарриет, эти страницы жизни Милля и Фабра, эти страницы истории науки были бы сегодня и полнее и яснее.

Немые актеры, говорящие сцены

Оса церцерис — герой первой научной работы Фабра — обладает многими достойными внимания свойствами. Она прилежный землекоп и строитель. Сооруженные ею в почве норки глубоки и прочны: их не сразу берешь даже лопатой. Церцерис — неутомимая и бесстрашная охотница: в каждой ячейке гнезда церцерис бугорчатой лежит пять-шесть крупных жуков долгоносиков из рода клеонов. Любой почти вдвое тяжелее осы. А главное, церцерис тончайший анатом и искуснейший хирург: сложенные ею в гнездо долгоносики-клеоны не мертвы, впрочем, и не живы. Для церцерис нужно «нечто противоречащее само себе, — пишет Фабр, — неподвижность смерти и свежесть жизни». Нападая на жука, оса находит на закованном в хитиновую броню долгоносике ту точку, где только и можно пробраться к нервному узлу в глубине тела. Произведя своим ядовитым жалом единственный укол, церцерис надолго погружает жука в состояние «скрытой, пассивной жизни».

Все это важно для потомства церцерис, для ее детей, которых оса никогда не увидит. Отложив на кучке дичи в каждой камере

гнезда яйцо, церцерис наглухо запечатывает снаружи вход и улетает. Отныне дни ее сочтены. Молодые церцерис, которые на следующий год выйдут весной из подземелья, не видели своей матери, ничему не могли у нее научиться. Однако они уже все умеют и, в свою очередь, передадут прерывистую и непрерывающуюся эстафету способностей и самой жизни следующему поколению.

Церцерис с ее материнскими талантами не исключение, даже не редкость в огромном и пестром мире перепончатокрылых. Первая же работа Фабра была вступлением в этот мир. В последующем каждый год параллельно с другими насекомыми изучались новые виды, новые роды перепончатокрылых. Фабр не уставал их описывать, не уставал восхищаться ими. Одиночные осы и пчелы были избранными объектами его исследований и любимыми актерами в комедии нравов животных, которую он увидел и воссоздал.

Вслед за осами церцерис Фабр занялся осами сфексами.

Желтокрылый сфекс выходит из подземных ячеек в конце июля и весь август питается нектаром, летая по колючим головкам чертополоха: других цветов в это время нет. В сентябре сфекс начинает строить гнездо. Этой осе подходит любое местечко с легкой почвой, было бы побольше солнца. Желтокрылый сфекс редко селится в одиночестве. На строительной площадке бывают десятки гнезд.

В окрестностях Авиньона — и около плато Англь и в Иссартском лесу — Фабр знал множество поселений сфексов. Французы называют такие согнездья *бургадами*. Особенно запомнилось ему одно — в спекшейся грязи у края проезжей дороги.

Холмик — около полуметра высотой — изрыт норками до того, что на нем места нежилого нет. Всюду кипит работа. Одни тащат за усики свою добычу — сверчков. Из многих норок сыплются струйки песчинок. То там, то здесь выглядывают запыленные головы землекопов. Некоторые выбираются наружу, чтобы почиститься от пыли, забившей глаза, усики, сочленения.

Вот бы унести к себе весь поселок! Но холмик слишком тяжел. Не один час пробыл около него Фабр, следя за работой, забыв о палящем солнце, обязательном для сфекса и вовсе не обязательном для наблюдателя. Предоставим теперь слово ему самому:

«Быстро скребут песок передние ножки сфекса: на собачий лад, как говорит Карл Линней. С таким пылом роет землю молодая играющая собака. И каждый работающий сфекс затягивает веселую песенку — пронзительный шипящий

прерывистый звук. Это трепещут и жужжат крылья. Можно подумать, слушая нескольких работающих и поющих сфексов, что это кучка молодых подмастерьев, подбадривающих себя в работе. Песок летит во все стороны и легкой пылью оседает на сфексов и их дрожащие крылья. Зернышко за зернышком выбирает оса песчинки, и они катятся в сторону. Если песчинка слишком тяжела, сфекс придает себе силы резкой нотой: он гекает, словно дроворуб, ударяющий топором по толстому полену. Под ударами ног и челюстей образуется пещерка, и вскоре сфекс может уже почти целиком уместиться в ней. Теперь начинается быстрая смена движений: вперед, чтобы отбить новые кусочки, и назад, чтобы удалить их. Делая эти движения, сфекс не шагает, не ходит, не бегает: он прыгает, словно подталкиваемый пружиной. Оса скачет с дрожащим брюшком, колеблющимися усиками, трепещущими крыльями…»

Через несколько часов норка готова. Сфекс выходит на порог и принимается сглаживать неровности, «заметные только его проницательному глазу». Закончив, сфекс без промедления отправляется на промысел.

Пока охотница отсутствует, рассмотрим вместе с Фабром ее сооружение. Норка начинается горизонтальной галереей сантиметров в пять-семь длиной. Здесь насекомое пережидает плохую погоду, здесь ночует, отдыхает днем, «показывая наружу свою физиономию с дерзкими глазами». Заканчивается галерея яйцевидной камерой-ячейкой. Стенки ее не покрыты особым слоем, как у церцерис, но все же отделаны довольно тщательно. Песок словно просеян, нет никаких неровностей, которые могли бы поранить нежную кожу будущей личинки.

Снабдив первую ячейку кормом и отложив там яйцо, сфекс запечатывает ее и рядом — из той же галереи — роет вторую камеру, сносит в нее провиант, откладывает яйцо; потом принимается за третью, иногда и за четвертую.

После этого оса засыпает норку всем выброшенным на-гора грунтом, стаскивает по одной крупные песчинки и челюстями вкладывает их, скрепляя сыпучую массу. Если крупных песчинок на месте не окажется, сфекс ищет по соседству, выбирая, как каменщик, лучшие камни для постройки. Годятся и обломки былинок, обрывки листьев. Строительница замуровывает вход заподлицо.

Гнезда насекомых Фабр изучал, не жалея трудов. Привычка к тяжелой физической работе — за один выход в поле доводилось перекапывать и просеивать не один кубометр земли — оказалась здесь кстати. А знание геометрии и уменье чертить помогли анализировать конструкции и зарисовывать постройки.

Фабр устанавливает, что сфекс откладывает до тридцати яиц, следовательно, строит до десяти норок. А на все про все у него один сентябрь с нередкими уже пасмурными и дождливыми днями, когда работы прекращаются. Сфексам некогда придавать своим галереям ту «почти вечную прочность», которой отличаются норки церцерис бугорчатой. «Кстати, — замечает Фабр, — у этой — бугорчатой — церцерис жилища переходят от поколения к поколению и с каждым годом растут и углубляются. Сфекс же, хоть и селится на месте, выбранном предками, не получает в наследство фамильного замка с глубокими рвами и прочными подземными ходами. Все приходится делать сызнова и поскорее».

Зато личинки, которым мать не оставляет надежного жилища, сами защищают себя непромокаемым покровом. Их кокон несравненно крепче тонкой, пеленочки церцерис.

Тут вернувшийся с охоты сфекс отрывает исследователя от раздумий о том, как личинка своим сооружением компенсирует недостаток времени у матери, как взаимно дополняются их искусства.

«…Он возвратился с охоты и присел на соседний куст, придерживая челюстями за усик полевого сверчка. Огромная добыча во много раз тяжелее охотника. Утомленный сфекс с минутку отдыхает, затем подхватывает сверчка ножками, делает последнее усилие и перелетает канавку, отделяющую его от норки. Тяжело опустившись на площадку, он следует дальше уже пешком».

Фабр устроился на площадке, совсем рядом с бургадой сфексов. Осу нисколько не смущает присутствие постороннего.

«…Ухватив сверчка за усик и высоко подняв голову, сфекс движется вперед, волоча сверчка между ногами, словно сидя на нем верхом». Наконец «сверчок положен головой к норке, и его усики приходятся как раз у входа в нее. Тут сфекс оставляет добычу, и ныряет в глубину подземелья. Через несколько секунд появляется снова, схватывает сверчка за усик и быстро втаскивает в норку».

Чтобы узнать, как сфекс охотится, как справляется со сверчком, Фабр прибегает к испытанному приему. Отобрав у насекомого добычу, он заменяет ее другой — целой и невредимой. Это тем проще, что сфекс, оставляя дичь, спускается на минутку в норку, может быть, проверяет, не прокрался ли в камеру паразит. В это мгновение Фабр и забирает парализованного сверчка, а неподалеку от входа кладет другого, заранее пойманного.

Вернувшийся сфекс спешит схватить дичь. В пыли начинается

бой. Сфекс побеждает. Как ни брыкался сверчок, как ни пытался кусать мощными челюстями, он по всем правилам положен на спину.

«…Я — весь зрение, весь внимание. Ни за что на свете не уступил бы своего места…» — восклицает Фабр.

Сфекс прижимается к брюшку противника, повернувшись головой к концу его туловища и удерживая передними ножками колючие задние ноги сверчка. Страшные челюсти поверженного раскрываются, но впустую. Чтоб не могло шевелиться само брюшко, сфекс схватывает челюстями одну из двух брюшных нитей, которыми заканчивается тело сверчка.

«…Самое богатое воображение не сочинит лучшего плана нападения. Несколько раз вкалывает сфекс жало в тело сверчка. Сначала под шею, затем в заднюю часть переднегруди и, наконец, у основания брюшка. В этих трех ударах кинжалом и обнаруживаются все великолепие и непогрешимость инстинкта».

Фабр сопоставляет действия сфекса с аналогичными действиями своей давней знакомой церцерис. Первой, чтобы парализовать златку или долгоносика, требуется лишь один удар: у этих жуков нервные узлы расположены слитно. Вскрытие же сверчка показывает то, что́ сфексу известно без консультаций анатомов: три нервных центра отстоят у сверчка далеко друг от друга.

В каждой снабженной кормом ячейке сфекса на спине, ножками к выходу лежат три-четыре сверчка. На одного отложено яичко, и не как-нибудь, но всегда поперек груди, немного к боку, между первой и второй парами ножек.

Через три-четыре дня из яичка вылупляется личинка — слабенький безногий червячок. Он сохраняет на теле жертвы то же положение, что и яйцо. Личинка прокусывает особенно тонкий в месте, где она прикреплена, покров лежащей под ней туши и, припав к крохотной райке, принимается сосать.

Но как же сверчок? Он, правда, парализован, однако в частях тела, не пораженных ядовитым жалом, еще сохранилась способность движения. Впилась бы личинка в какую-нибудь не утратившую чувствительности область, жертва вздрогнет от боли, сбросит личинку, и та погибнет. На груди сверчка эта опасность ей не грозит: здесь хоть иглой коли, насекомое не реагирует.

Фабр начинает сам выращивать личинок сфекса, скармливая им сверчков, взятых из ячей. За шесть-семь дней личинка съедает первого сверчка, потом линяет. Теперь личинка достаточно окрепла, и следующий сверчок поедается уже без особых предосторожностей с самой нежной и сочной части тела — с

брюшка. Фабр подозревает даже, что второй и третий сверчки парализованы не столь тщательно, как первый, а всего двумя или даже одним уколом. Ведь приносит же бембекс, словно сообразуясь с аппетитом молоди, сначала маленьких мушек и лишь затем более объемистую дичь. Так и ужаления сфекса, может быть, соразмерны с крепнущими силами личинки? Ничего нет удивительного, что яд не тратится напрасно. Каждая его капелька драгоценна, «она хранитель их племени».

Съев последнего сверчка, личинка принимается ткать двухслойный шелковый кокон. Внутри он к тому же покрыт гладкой, блестящей темно-фиолетовой обмазкой. Однако в шелкоотделительных железах нет ничего похожего на фиолетовую жидкость. Этот цвет замечен только в пищеварительном канале и в комке испражнений в нижнем краю кокона.

«…Каково бы ни было происхождение лакового слоя, его полезность несомненна. Непроницаемая глазурь облицовки надежно защищает личинку от сырости… Желая выяснить, противостоят ли коконы сырости, я держал их в воде по многу дней и после того не находил внутри даже следов влаги».

Личинка сооружает свой кокон менее двух суток и, защищенная им, впадает в глубокое оцепенение.

«Начинается безымянное состояние — ни сон, ни бодрствование, ни смерть, ни жизнь, — которое длится месяцев десять».

В июне следующего года Фабр вскрывает ячейки сфекса и видит там «переходный организм» — куколок. Ножки, усики и свернутые крылья изготовлены, сдается, из самого прозрачного хрусталя. Все остальное опалово-белое, чуть оттененное желтым.

«…Таково деликатное существо, которое, для того чтобы сделаться сфексом, должно надеть черно-красное платье и сбросить с себя тесно окутывающие его тоненькие пеленки».

Прежде всего окрашиваются глаза. Крылья темнеют последними, когда освободятся из чехлов.

Настает день, и сфекс начинает шевелиться в коконе, потягивается, сокращает брюшко, выгибает середину туловища. После четверти часа таких упражнений «тоненькие пеленки» лопаются, сплошной покров превращается в лоскутья. Освободив голову, грудь, брюшко и немного отдохнув, сфекс вытаскивает из чехлов ножки…

Фабр склонился над коробочкой с куколками. Сам словно оцепенев, созерцает он эту тайную тайных, следит за созреванием, «более поразительным, чем развитие дуба из желудя».

Освобождаются крылья. У куколки они коротки и сложены продольными складками. Если их вытащить из чехлов, они останутся сморщенными недомерками. В естественном процессе они по мере того, как выходят, становятся больше, наливаются соками, которые их расчаливают, растягивают, расправляют.

Сбросив остатки чехла, сфекс еще хранит на себе влажность реторты жизни. Три следующих дня он снова неподвижен, за это время окрашиваются крылья и лапки. Наконец все кончено или только начинается: сфекс прокладывает себе выход в песке и на пороге норки чистит крылья и усики, трет брюшко, смочив слюной лапки, промывает глаза и, наконец, уверенно подымается в воздух. Насекомое, знавшее до сих пор только мрак подземелья, только ночь и неподвижность, спешит к дню, к свету, в полет.

«Прекрасные сфексы, появившиеся на моих глазах, выращенные в песчаной колыбели на дне коробочки из-под перьев и выкормленные моей рукой; вы, за превращением которых я следил, просыпаясь по ночам, чтобы не упустить минуту, когда куколка разрывает свои пеленки или крыло выходит из чехла; вы, которые научили меня многому, а сами не научились ничему, зная и без учителей все, что вам нужно знать, о мои прекрасные сфексы! Улетайте, не боясь пробирок, коробочек и пузырьков, летите к жаркому солнцу! Отправляйтесь, но берегитесь богомола, который замышляет вам погибель на цветущей головке чертополоха! Берегитесь ящерицы: она стережет вас на прогретом откосе! Летите с миром, ройте свои норки, пронзайте жалом сверчков! Размножайтесь! Пусть ваше потомство доставит другим то, что вы доставили мне: редкие минуты счастья».

Этим стихотворением в прозе, этим гимном природе заканчивает Фабр свой отчет о желтокрылых сфексах и об исследованиях, в которых он, не нарушая хода событий, сумел разглядеть, что происходит в черном ящике. Ученый воспевает четырехкрылого героя как источник радости, как летающий цветок, как материализованный сгусток солнечного сияния и одновременно рисует в деталях развитие и жизнь сфексов. Читатель становится здесь не только очевидцем, но и соучастником наблюдений, опытов, размышлений, переживаний.

Начав с церцерис и продолжив на сфексах знакомство с осами-парализаторами, Фабр нащупал здесь особо отчетливо биение пульса, открыл смотровой глазок, позволяющий заглянуть в глубины мира не только перепончатокрылых, не только насекомых, но животных вообще. Снова и снова проверяет он напрашивающиеся выводы. Проверяет на желтокрылом сфексе и на его близких родичах — сфексах белокаемчатом и

лангедокском.

Найти лангедокского сфекса довольно трудно. Дело в том, что с большим или меньшим весом добычи разных видов сфекса связана такая важная черта повадок, как характер поселения: в компании или в одиночку. Заготовляющий для выкормки потомства эфиппигеру — грузного и громоздкого виноградного кузнечика, сфекс лангедокский в отличие от желтокрылого не устраивает бургад, но роет норку неподалеку от места охоты. А так как никогда не знаешь заранее, где и когда найдешь лангедокского сфекса, то к наблюдениям над ним невозможно подготовиться, когда же он попадется, все приходится импровизировать на месте.

Однажды, проходя по винограднику, Фабр заметил в кучке пыли сфекса, который строил норку. Едва приготовив ее, сфекс отлетел метров за десять, где в траве у него была припрятана уже парализованная добыча. Ухватив грузную эфиппигеру за усик, оса волоком потащила ее к гнезду.

Благоприятная минута, чтобы испытанным приемом отнять дичь и предложить вместо нее другое насекомое. Однако эфиппигер у Фабра в запасе нет. Скорее искать! Сфекс не успел унести жертву в норку, а Фабр уже раздобыл эфиппигеру и пинцетом придерживает добычу осы. Сфекс крепче ухватывает усик, тогда Фабр перерезает его ножницами.

Сфекс убегает с отрезанным усиком, но скоро останавливается и спешит назад. Его эфиппигера исчезла, вместо нее лежит пойманная Фабром. Сейчас секрет откроется, наблюдатель увидит, как оса парализует эфиппигеру.

Сфекс обходит подношение со всех сторон. Он явно не спешит схватить добычу. Фабр придвигает ее, чуть не вкладывает усик в челюсти сфекса. Но что это? Оса пятится и, просто глазам не верится, улетает, оставляя естествоиспытателя размышлять над случившимся.

Не сразу удалось выяснить, в чем дело: лангедокский сфекс охотится на одних лишь самок, а Фабр предложил ему как на грех самца. Ценное открытие, но сделано слишком поздно: в том году уже больше не удается застать сфекса на охоте. Остается изучать эфиппигер, уже принесенных сфексами в гнездо. Каждая лежит на спине, но брюшко пульсирует, подвижны щупики и усики, челюсти тоже. Фабр извлекает эфиппигеру из норки, она с силой отбивается. И тем не менее крохотная личинка сфекса пожирает свою жертву, не терпя никакого урона. Чем это объяснить?

Сфекс лангедокский, подобно желтокрылому, находит на груди жертвы место, где яйцу и вылупившейся из него личинке ничто не угрожает: ее не заденут ножки, не разорвут челюсти, не

проткнет яйцеклад. Эфиппигера лежит на спине в ячейке, ей здесь не повернуться, не переместиться. Правда, сфекс лангедокский только частично ограничивает подвижность жертвы, он парализует дичь гораздо слабее, чем желтокрылый. Личинке лангедокского сфекса полупарализованная эфиппигера ничем не угрожает, однако сама доставка добычи в гнездо небезопасна для осы-охотницы, которая транспортирует эфиппигеру в то время, как ее челюсти еще сохраняют разящую силу. Потому-то в трудных случаях сфекс лангедокский подавляет сопротивление жертвы особым приемом.

«Нервные узлы, управляющие движениями челюстей эфиппигеры, помещаются в голове. Если их повредить, движения челюстей прекратятся. Как это сделать? Инструмент, которым сфекс пользуется при этой операции, не жало…»

Схватив шею жертвы челюстями, сфекс старается проникнуть поглубже в голову, но не прокусывает, нет, а только сдавливает головной нервный узел. Жертва сразу обмирает, становится неподвижной, и сфекс без помехи тащит ее в норку.

На следующий год Фабр, изловив несколько эфиппигер, проделывает подобную операцию: он сжимает пинцетом головной мозг, и насекомое впадает в состояние, схожее с состоянием жертв сфекса. Исследователь гордится успехом, но подопытные насекомые в первые же дни погибают. А сфексовым эфиппигерам хоть бы что, несколько часов спустя после операции к ним вернулась былая подвижность. Сфекс вызвал у них только временное оцепенение.

«…Я же, вообразивший себя его соперником, был только грубым колбасником и убил моих эфиппигер… — высмеивает себя Фабр. — Теперь понимаю, почему сфекс не колет головные узлы жалом. Капля яда, введенная сюда, уничтожила бы главный центр нервной деятельности и повлекла бы за собой смерть».

Занимаясь сфексами и эфиппигерами, Фабр выяснил еще один вопрос: как действует парализация на насекомое, приближает ли его естественный конец? Он запер в темноте и без пищи только что пойманных эфиппигер и эфиппигер, парализованных сфексом. Первые погибли от голода в среднем через 5 дней, вторые — через 18.

«…Значит, серьезно поврежденное насекомое живет в тех же условиях почти вчетверо дольше, чем неповрежденное. То, что, казалось, должно причинять смерть, в действительности продлевает жизнь».

Парадокс понятен Фабру: здоровое насекомое в его опыте движется, тратит жизненные силы, ничем не возмещая их; у неподвижного они сохраняются и тех же запасов хватает на

значительно больший срок.

«…Значит, парализация вдвойне выгодна: свежесть насекомого обеспечивает личинке здоровую пищу, а неподвижность жертвы оберегает деликатную личинку от опасных случайностей. Человек со всей его логикой не придумает лучше».

Но эти действия, таким коротким и простым путем ведущие к цели, продиктованы не логикой. Они совершаются благодаря врожденному умению, инстинктивно. И пока действия не выходят из круга шаблонных поступков, для инстинкта нет ничего трудного, точность и совершенство здесь очевидны.

При первом же отклонении от нормы, от обычного все кардинально меняется.

«…Мудрость совмещается с не менее глубоким невежеством. Как только насекомое, восхищавшее нас минуту назад проницательностью, очутится в условиях, чуждых его повседневной практике, оно удивляет наблюдателя своей тупостью».

Абсолютно ли «невежество» инстинкта? Может ли быть гибкой его «мудрость»? Вот что попытается выяснить Фабр.

Наблюдение ставит задачу, а разрешает ее опыт: зоология — наука экспериментальная. В Московском университете профессор Карл Францевич Рулье отстаивает тогда же такие же взгляды и взволнованной статьей «Сомнения в зоологии, как в науке» утверждает те же положения, возражая всем, кто считает, будто главное — описывать виды и назначать им место в системе.

Фабр не слышал о Рулье, но думает так же и готов поспорить с противниками. Впрочем, разве не увлекательнее любых споров и не убедительнее любых доводов задуманные им опыты и ответы, которые будут получены от насекомых?

Натуралист находит сфекса, приступившего к заправке гнезда кормом. Охотница тащит в норку эфиппигеру, она уже близко от входа, и тут Фабр перерезает ножницами усики жертвы, служащие сфексу оглоблями. Охотница без колебаний берется за основание усиков — короткие пеньки, едва в миллиметр длиной, и продолжает тащить добычу. Осторожно, чтобы не поранить осу, Фабр отрезает оба пенька у самого лба эфиппигеры. Тут сфекс неожиданно схватывает длинный щупик — часть ротового устройства. Возле самой норки дичь оставлена, и оса спешит в гнездо. Воспользовавшись ее отсутствием, Фабр срезает щупики эфиппигеры.

Сфекс возвращается, ищет, за что бы ухватить добычу, и так и этак обследует голову — ничего нет. Тогда вторично происходит небывалое: раскрыв во всю ширину челюсти, сфекс — может быть, первый на планете — пробует ухватить эфиппигеру за голову! Не

выходит. Челюсти сфекса для такой операции не приспособлены, они скользят по круглой гладкой голове виноградного кузнечика.

Почему бы осе, только что показавшей столько находчивости и изобретательности, не ухватиться за одну из шести ножек или за кончик яйцеклада? Фабр даже подсовывает их прямо к челюстям сфекса. Пустое! Может, присутствие наблюдателя мешает насекомому? Что же, Фабр уйдет…

Он вернется через два часа и увидит: сфекса нет, норка пуста, остриженная эфиппигера валяется на старом месте…

Казалось, чего проще? Взять добычу за ножку вместо усика и втащить в норку. Сфекс не смог этого: столь простое действие уже выходит из круга его повадок.

Следующий опыт предпринят, когда сфекс положил в норку добычу, на нее яйцо и мог бы начать заделывать вход.

Фабр осторожно отстраняет осу, кончиком ножа убирает уже наметенные ею пыль и песок; восстанавливает связь норки с внешним миром, потом пинцетом, не разрушая ячейки, извлекает эфиппигеру с яйцом сфекса на груди. Дальше наблюдатель уступает место действия наблюдаемому. Тот был все время тут же рядом. Едва получив доступ к открытому ходу, сфекс сразу проникает в норку, а выйдя, как ни в чем ни бывало принимается наглухо заделывать ход в теперь уже пустое гнездо.

«…Значит, инстинктивные поступки насекомых связаны между собой и два действия настолько зависят одно от другого, что первое влечет за собой выполнение второго, даже когда это второе стало никчемным… Охота окончена, дичь принесена, яичко отложено. Правда, и дичь и яичко вынуты из норки, но это ничего не значит: пришло время запирать жилье».

То же получилось со сфексом белокаемчатым, но он даже еще не отложил яйца, да и добычу только подтащил к входу.

Белокаемчатый сфекс нападает на кобылок средней величины. «Кинуться на нее и уколоть жалом — дело минуты. Несколько раз растопырив крылья, которые раскрываются пурпуровым или лазурным веером, кобылка оцепеневает».

Оставив парализованную кобылку на пороге гнезда, сфекс, подобно своим родичам, желтокрылому и лангедокскому, спускается в камеру. Фабр отодвигает добычу подальше от входа, а белокаемчатый находит ее и притаскивает обратно. Так повторяется несколько раз, пока Фабр вовсе не убирает кобылку. Сфекс настойчиво ищет, не находит, на несколько минут спускается в норку, а поднявшись оттуда, закупоривает вход. Причем не временной крышкой, не маленьким плоским камешком, который маскирует нишу, пока хозяин охотится. Нет, он замуровывает норку окончательно. Между тем норка (сфекс

имел возможность ее видеть) пуста. Это снова повторение той бесполезной работы, которую совершал в прошлом опыте лангедокский сфекс.

Фабру становятся понятны факты, с какими он сталкивался, находя в только что запечатанных гнездах желтокрылого сфекса лишь двух сверчков вместо трех, даже четырех, необходимых личинке. И дело здесь не в величине: сверчки примерно одинаковы. Присмотритесь к подножию склонов, источенных норками: всюду валяются парализованные сверчки. Пока охотницы, оставив добычу, проверяли гнездо, ветер сдул неподвижных насекомых со склона, и они скатились вниз.

«…Это выглядит так, словно сфекс, совершив обычное число охотничьих экспедиций, дотащив добычу до норки, сделал все, что следовало. И гнездо закрывается независимо от того, достаточно ли оно снабжено провизией».

Тонкость и тупость, мудрость и бессмысленность инстинкта Фабр обнаружит позднее также у мирных одиночных пчел, сборщиц меда. И другие перепончатокрылые и насекомые прочих отрядов, а также паукообразные в опытах оказывались не способны разрушить шаблон, разорвать «последовательность неизменных действий».

И если сфекс лангедокский, встретившись с бритой эфиппигерой, пробует схватить жвалами ее безусую голову, отчетливо проявив находчивость, то он же, не умея схватить жертву за стилет яйцеклада или за ножку, показал границы изменчивости инстинкта. Сфекс желтокрылый, запечатывая опустошенную ячейку, свидетельствует невозможность «обратного хода». А когда сфекс белокаемчатый заделывает ячейку, еще не полностью загруженную, он словно перепрыгивает через какие-то ступени последовательных действий и завершает операцию, возвращаясь на рельсы шаблона. Во всех случаях раньше или позже сила типического, остойчивого обнаруживает себя.

Таков вывод из наблюдений Фабра.

Сама по себе парализация была известна давно. О ней писали Линней и Эразм Дарвин. Чарлз Дарвин, путешествуя на «Бигле», отметил бразильских ос, парализующих добычу. Об этом способе заготовки корма упоминали и другие натуралисты.

Фабр впервые охватил явление с необходимой широтой. В поле и под стеклянным колпаком изучал он ос-охотниц множества видов и их добычу. После сфексов годы ушли на аммофил, тахитов, одинер, помпилов, сколий и прочих, а также на бронзовок, озимых червей, пауков и мух, заготовляемых для личинок.

Внешний вид, строение всего организма и отдельных органов, место гнездования и устройство гнезд, яйцо, личинка, куколка и взрослое насекомое, выбор пищи и манера еды, сроки жизни и сроки развития — не перечислить всего, что изучил Фабр, занимаясь парализаторами и их добычей. С тем же изяществом и точностью, с какими Мокен-Тандон вскрывал на Корсике неподвижного слизня в тарелке с водой, Фабр препарирует сейчас поведение насекомых в движении, в трепете жизни, в диалектике бытия.

У каждого парализатора свой метод, свои точки атаки, но Фабр по строению нервной системы дичи без ошибки предсказывает, как будет проведено нападение.

Оса аммофила щетинистая заготовляет для потомства гусениц прожорливого вредителя — озимой совки, причем вес гусеницы в 15 раз превосходит вес охотника. Строение ее совершенно иное, чем у взрослых жуков златок и долгоносиков или у прямокрылых сверчков, кобылок и эфиппигер, которых промышляют церцерис и сфексы. В теле гусеницы голова и двенадцать колец, в каждом свой нервный узел. Уколотое в нервный узел, кольцо теряет чувствительность, но остальные сохраняют ее еще долго. Нет, двумя-тремя уколами гусеницу не парализуешь, прикидывает Фабр. Так оно и получается.

«…Я шел с одним из моих друзей, и нам встретилась щетинистая аммофила, чем-то очень занятая под кустиком тимьяна. Мы оба тотчас прилегли на землю вблизи от работавшей осы. Наше присутствие не испугало ее; на минуту она всползла на мой рукав и вернулась к своим делам. По моему давнему знакомству с роющими осами я знаю, о чем говорит такая фамильярность: насекомое занято важным делом. Подождем — увидим.

Аммофила царапает землю у шейки растения, выдергивает тонкие корешки злака, сует голову под мелкие комочки земли. Она торопливо бегает то здесь, то там у всех щелок, через которые можно проникнуть под кустик. Она не роет норку, а охотится за какой-то дичью, скрывающейся под землей. Это видно по всем ее приемам: она напоминает собаку, старающуюся выгнать кролика из норки. И действительно, толстый озимый червь, потревоженный возней, выбирается наружу. Тут-то и пришел ему конец. Охотник держит его за кожу загривка, и держит крепко, не обращая внимания на корчи гусеницы. Взобравшись на спину добычи, оса подгибает брюшко и размеренными движениями начинает колоть. Ни одно кольцо не осталось без удара стилетом.

Вот что я видел, лежа возле осы с теми удобствами, которых

требует точное наблюдение. Аммофила знает сложное строение нервного аппарата своей добычи и наносит гусенице столько уколов, сколько у той нервных узлов. Я говорю: она знает, хотя должен бы сказать: она ведет себя так, будто знает. Оса всегда действует, повинуясь инстинкту, который ее толкает, и совершенно не отдает себе отчета в том, что делает…»

Фабр загорается желанием рассмотреть работу осы во всех деталях. Для этого нужно иметь в запасе нескольких озимых червей. Вся семья мобилизована на поиски. Ищут на пустыре, вокруг норки аммофилы, она и сама здесь сейчас охотится.

Три часа прошло, никто не нашел ни единой гусеницы. Нет ее и у аммофилы. Но в отличие от людей она на каких-то местах задерживается, приподнимает комки земли, иногда с абрикосовую косточку величиной. Может, озимый червь глубоко и аммофила чует его присутствие, но не в силах до него добраться? Надо попробовать рыть в этих местах.

Полный успех!

Дальше охота идет гладко и быстро: аммофила «указывает» точку, а Фабр выкапывает гусениц.

— Ну, Фавье, Клара, Аглая, что вы об этом думаете? — торжествует Фабр. — В течение трех часов вы не нашли ни одной, а оса доставляет их бесперебойно.

Почва может быть любой — и жесткой, и рыхлой, и каменистой, и заросшей травой, — нигде не видно приметы, которая говорила бы об озимом черве. Осой руководит, бесспорно, не зрение, а ищущий орган в усиках. «Их концами, изогнутыми дугой и все время дрожащими, оса быстро маленькими ударами исследует почву. Если встречается щель, дрожащие усики вводятся в нее. Если на поверхности земли оказалась сеть из мелких корешков, трепещущие усики начинают рыться во всех ее петлях и извилинах. Словно два странных подвижных пальца ощупывают почву».

Но скрывающегося в земле червя с помощью осязания не найти. Обоняние? Вроде червь ничем не пахнет, да его еще отделяет от аммофилы слой почвы. Слух? Днем озимый червь недвижим, в его подземелье полная тишина. Гусеница выползает только по ночам.

Что же дает осе возможность обнаружить озимого червя? Фабр не отвечает на вопрос, но, наблюдая, как изящная воздушная аммофила из-под земли вырывает сопротивляющуюся тяжелую гусеницу и парализует это громоздкое существо, справедливо заключает, что человеку еще не известны многие способы, «с помощью которых животное входит в общение с окружающим».

При этом Фабр особо подчеркивает изощренность и силу врожденного умения.

Повадки, перешедшие по наследству от предков, Фабр изучал и у семи видов некрупных ос тахитов. Все они воспитывают потомство на родственном корме — кобылках, сверчках, медведках, богомолах, эмпузах. Набор видов, составляющих корм тахитовых личинок, как видим, пошире, чем у сфексов, и у них добыча внешне не схожа, хотя принадлежит к одному отряду — к прямокрылым, в этом тахиты не ошибаются.

Тахит слаб, богомол силен, особенно мощны передние ноги с зазубренными, как пила, краями. Первым и парализуется первый грудной узел, управляющий движениями именно этих страшных ног. Двумя другими парами ног управляют два узла, сближенные между собой и удаленные от первого. Значит, здесь потребуются, думает исследователь, отдельные удары.

В тени терновника Фабр выслеживает тахита и богомола. Богомол, как всегда, «настороже, смотрит в оба, руки скрещены на груди с постным видом молящегося». Тахит летает у него за спиной из стороны в сторону. Богомол чует опасность и выставляет против врага смертоносные пилы. Ловко уклонившись от «хватательной машины богомола», тахит камнем падает ему на спину и быстро жалит в переднюю часть груди. Грозные пилы бессильно поникают. А оператор соскальзывает вдоль переднегруди, «словно скатывается с мачты» и парализует две пары задних ног.

Теория ученого и практика насекомого снова совпали, и Фабр особо подчеркивает перемещение тахита после первого укола. Почему привлекла натуралиста эта подробность?

«…Аммофила, парализуя гусеницу, тоже производит уколы, передвигаясь вдоль туловища, но делает это постепенно, колет кольцо за кольцом. Точность ее действий легко объяснить однообразием внутреннего строения добычи. Тахит же после первого укола совершает настоящий скачок. Он действует так, словно знает, где именно помещаются грудные узлы богомола».

Но даже вооруженный пилами богомол с его оригинальной дислокацией нервных узлов не идет ни в какое сравнение с дичью, какую заготовляет для потомства кольчатый помпил или каликург. Эта оса почти с шершня величиной охотится на чернобрюхого тарантула, чей укус смертелен для воробья и крота, небезопасен для человека. Изучив строение этого паука, Фабр решает, что осе потребуется всего один удар — в слитный нервный узел добычи в ее головогруди.

Увидеть единоборство четырехкрылого каликурга и восьминогого тарантула в природе не удалось, наблюдения под

стеклом дали мало, и Фабр решает провести опыт на арене «более близкой к естественным условиям».

Широкая чашка наполнена песком. В нем углубление — норка тарантула; рядом положено пропитание — две кобылки. В песок воткнуты головки чертополоха, на которые Фабр капнул меда для каликурга. Прикрыв чашку колпаком из металлической сетки, исследователь впускает под нее паука и осу.

Проходит день за днем. Каликург мирно пасется на цветах, тарантул сосет свою кобылку. В искусственной норке тишь и благодать.

Значит, надо еще приблизить условия опыта к природным, устроить каликурга у входа в настоящее жилье тарантула. Сказано — сделано! Расчищенная вокруг норки площадка прикрыта вместе с каликургом металлической сеткой. Однако упрямец ползает по сетке, никак не реагируя на норку, со дна которой блестят глаза тарантула.

Тогда Фабр заменяет металлическую сетку стеклянным колпаком. По гладкой поверхности каликургу не подняться, а вынужденный бегать по земле, он натолкнется на норку паука. Так и есть! Но каликург проявляет неожиданную прыть. Он сразу спускается в логово страшилища. Из глубины слышен шум… Наконец наверх выбирается тарантул. А каликург? Убит?! Ничего подобного, выходит следом, и тогда тарантул снова шмыгает в норку.

Так три раза. Тогда Фабр меняет не только место действия, а и исполнителей. В опыт взяты каликург пестрый, почти такой же громадный, что кольчатый, а к нему паук эпейра, самый большой в Провансе после тарантула.

Здесь пора вкратце напомнить: в этом, как и в большинстве других случаев, Фабр описывает поведение только самок, потому что в основном они одни строят гнезда, охотятся, заготовляют корм, охраняют расплод. Самцы же лишь иногда попадают в поле зрения натуралиста, и ему впоследствии поставят это в минус. Так или иначе его внимание отдано главным образом широкому кругу явлений, связанных с *материнским* инстинктом.

Но вернемся к опыту. Оса одолела паука, она подгибает брюшко и выпускает жало.

«…Минутку, читатель! Куда вонзится стилет? — спрашивает Фабр. — Судя по тому, чему нас научили другие осы, — в грудь, чтобы уничтожить движение ножек. Не краснея за наше общее невежество, признаемся: оса знает больше нас». Около рта эпейры есть два ядовитых крючка, два острых отравленных кинжала. И каликург производит два укола: «первый — в рот паука, чтобы обезопасить самого себя, второй — в грудной узел для

безопасности личинки».

Фабр еще долго занимается другими помпилами и их дичью, а также гнездами помпил. Он устанавливает, что некоторые из них усердно роют для потомства норки, помпил же черный — верх коварства! — затаскивает парализованного паука в его же паучью воронку и в этом шелковом гамаке, сплетенном жертвой, откладывает на ее брюшко яйцо. Кольчатый каликург норы не роет, он прячет потомство в случайную щель в стене, только закрывает вход двумя-тремя крошками штукатурки.

Другие осы, например гиганты сколии, с размахом крыльев больше десяти сантиметров тоже обходятся без гнезд. Сколия роется в перегное, в навозе, пока не найдет личинку жука бронзовки. Нервные узлы личинки слиты, и парализатор ограничивается одним ударом. Но нанести его не просто: дичь сильна, а ее нервный узел очень мал, к тому же сколия действует в тесном подземелье. На брюшко парализованной добычи сразу откладывается яичко, и все. Оса отправляется на поиски следующей жертвы.

В отличие от бездомовки и бродяги сколии мелкие осы эвмены тщательнейше сооружают уютные, даже комфортабельные детские. Попадаются они прямо на камнях, висят на тоненьких ветках, на сухих травинках. Когда гнездо на плоскости, оса начинает с колечка фундамента. Строительный материал она добывает на ближайшей тропинке, на укатанных дорогах. Почва тверда как камень, оса скоблит ее концами челюстей и, смочив слюной, уносит. Получившийся цемент водоустойчив. Потом оса ищет песчаные зерна, вертит в челюстях прозрачные блестящие крупинки, отбирает подходящие по весу, втыкает их в еще мягкий цемент строительной основы. Потом снова цемент и снова камешки; наружу они могут выступать как угодно, зато внутри стенка совершенно гладкая. Вскоре сооружение принимает форму правильного купола. На его вершинке оса оставляет круглое отверстие, а над ним возводит расширенное горлышко — воронку. Оно «слеплено из чистого цемента и похоже на изящное горлышко вазы». Когда в ячейку будет положена провизия, а там и яичко, оса закроет отверстие цементной пробкой, в которую воткнет камешек. Только один.

Эвмены Амедея часто утыкают сооружение крохотными пустыми побелевшими на солнце раковинками улиточки полосатой. Такие постройки напоминают Фабру «штатулки, сделанные терпеливой рукой». Другой эвмен, яблоковидный, пристраивает горшочек размером с вишню на ветке. Он из одного цемента, без камешков и тоже с горлышком на вершине.

Для своих личинок эвмены заготовляют мелких гусеничек, их

в гнезде по нескольку штук, и они не вполне парализованы: бьются, едва до них дотронешься. Но мать и не откладывает яичко на провизию. Оно подвешено к верхушке свода на тоненькой паутинке. Провизия же сложена кучкой под яйцом.

Наступает «второй акт чудесного спектакля. Личинка вылупилась. Как и яичко, она подвешена к потолку камеры, висит головой вниз. Но паутинка, придерживающая ее, стала длиннее и состоит не только из тонкой нити, но также из продолжения, подобного кусочку ленты. Личинка обедает, вися головой вниз: роется в брюшке одной из гусениц. Соломинкой я заставляю ее прикоснуться к еще не тронутым гусеницам. Они шевелятся, и тотчас личинка удаляется от кучи. Но как? То, что казалось лентой, на самом деле оболочка яйца, сохранившая продолговатую форму; это трубка, и личинка втягивается в нее задом, как в футляр, и поднимается к потолку, становясь недоступной для копошащихся внизу гусениц. Едва все успокоится, личинка спускается и опять принимается за еду».

Пока личинка подрастает и крепнет, собранные матерью для ее пропитания гусеницы, напротив, слабеют. Приходит время, будущий эвмен падает на оставшуюся дичь и доедает ее уже запросто, без всяких маневров.

Изучая инстинкты и нравы одиночных ос, Фабр выделяет и тех, кто никак не парализует добычу, а сразу убивает ее жалом. Таков знакомый нам бембекс, изо дня в день доставляющий личинкам свежую пищу. Таков и филант — пчелиный волк, выкармливающий личинок свежими трупами медоносных пчел. Но, убив пчелу, филант не тотчас уносит ее в гнездо, а сначала выдавливает из брюшка и зобика жертвы нектар или мед, жадно его выпивает и лишь потом отдает личинке мясную пищу.

Фабр пробовал кормить личинок филанта медом, они его не брали. Он предложил обмазанных медом пчел. Личинки едва пригубили корм и все-таки через несколько дней погибли — то ли от голода, то ли отравившись каплей сладкого.

Медовая приправа принесла гибель и другим плотоядным личинкам — бембекса, тахита, церцерис.

«Но почему знает филант, что сироп, которым он лакомится сам, вреден его личинкам? На этот вопрос мы еще не имеем ответа. Мед, говорю я, опасен для личинки. Пойманную пчелу необходимо лишить меда, но так, чтобы не попортить самой дичи; она нужна личинкам свежей. Пчелу нельзя парализовать, иначе сопротивление внутренних органов не позволит выдавить мед. Пчела должна быть убита. И действительно, пораженная жалом в головной мозг, она мгновенно превращается в труп».

Подобно бембексу и филанту, оса пелопей, любитель

полумрака, тоже убивает свою дичь — пауков. Ячейка пелопея только что достроена, и охотница доставляет первого паука. Она вносит его в гнездо и, прикрепив к брюшку жертвы яичко, улетает. Пока пелопей где-то рыщет в поисках второго паука, Фабр извлекает из гнезда первого с отложенным на него яичком. Оса появляется с новым пауком, старательно укладывает его в гнездо и улетает. «Потом приносит третьего, четвертого, пятого… И каждый раз входит в пустую ячейку. Два дня продолжаются попытки наполнить эту бездонную ячею, из которой один за другим изымались принесенные пауки». Только после двадцатого охотница, устав, запечатала пустую норку.

Фабр, однако, не прекращает допроса. Обычно пелопей, выстроив ряд из нескольких ячеек, наполненных кормом и запечатанных, покрывает все общей крышей из грязи. Застав пелопея при начале этой работы, Фабр снимает с оштукатуренной стены весь ряд ячеек.

«…Когда я снял гнездо, то на стене осталась лишь тоненькая полоска, обрисовывавшая контур снятых сооружений… Прилетает пелопей с комочком грязи. Без колебаний, сколько я заметил, садится на пустое место, где было гнездо, прилепляет сюда принесенную грязь и немного расплющивает комочек. Эта работа и на самом гнезде была бы такой же… Тридцать раз оса прилетала со все новыми и новыми комочками грязи и каждый раз безошибочно прикрепляла их внутри контура бывшего гнезда».

Какая слепота! Продолжать кладку стен уже не существующего дома, дома, от которого сохранился только след, контур…

Новые и новые факты ложатся в фундамент теории инстинкта. Собирать их куда труднее, чем те крохотные песчинки, сверкающие крупицы, что Фабр вылавливал когда-то на прудке с помощью соломины. И мгновенным взрывом, которым он мечтал открыть путь в глубь горы, тут ничего не добьешься. Десятилетия непрерывной работы пройдут, прежде чем Фабр посчитает себя вправе дать общее заключительное толкование всей серии наблюдений.

«…Насекомое строит, ткет ткани и коконы, охотится, парализует и жалит точно так же, как переваривает пищу, выделяет яд, шелк для кокона, воск для сотов, — не отдавая себе отчета в цели и средствах. Оно не сознает своих чудных талантов, точно так же как желудок ничего не знает о своей работе ученого-химика».

К такой трактовке инстинкта подходил молодой авиньонский натуралист, изучая сфекса и церцерис в окрестностях Карпантра.

Этот вывод подтверждал зрелый ученый, когда вел опыты с халикодомами и галиктами в Оранже. Ту же точку зрения развивал исследователь из Сериньяна, уже три четверти века отдавший биологии. Взвешивая по степени важности значение «маленьких открытий, которыми энтомология ему обязана», он размышлял:

«Философ, занятый природой инстинкта, отдаст пальму первенства операциям парализаторов… И я разделяю такой взгляд… Я без колебаний готов отбросить весь энтомологический багаж ради этой находки, кроме всего, первой по времени и самой дорогой по воспоминаниям. Ни в чем не проявляется столь отчетливо, так ярко и выразительно врожденный характер инстинктивного знания, ни в чем трансформистская теория не сталкивается с таким количеством запутанных трудностей…»

Дальше мы увидим, что автор теории, которую Фабр именует трансформистской, Чарлз Дарвин в общем согласился со своим оппонентом по обоим пунктам: и в оценке содержательности явления парализации и по поводу трудности анализа инстинкта с позиций теории, развиваемой им в «Происхождения видов».

Но об этом позже, а сейчас вспомним, что писал академик И. П. Павлов в предисловии к вышедшей в русском переводе книге Цур-Штрассена «Поведение человека и животных». Основоположник учения о высшей нервной деятельности одобряет попытку автора исследовать «*жизнь в ее крайнем пределе*» — так характеризует поведение И. П. Павлов — и указывает, что активный ум, проникая на этот крайний предел, вновь видит перед собой жизнь «необозримо сложной и величественной, но вместе с тем постоянно воспламеняющей его энергию на неизбежное, неукоснительно подвигающееся вперед углубление в ее механизмы».

Именно эти глубоко запрятанные механизмы вскрывал И. П. Павлов, изучая ответы своих собак на самые необычные сигналы. Сами по себе подобные сигналы в нормальных условиях не требуют реакции, какую производят. Ее вызывает только искусственно воспитанная связь с существенными для животного воздействиями, в опытах чаще всего с кормом. И в ответ на стук метронома, которого обычная собака, по сути, и не заметит, у подопытной каплями начнет сбегать в пробирку слюна, как если б собака почуяла или увидела корм. Здесь в условном рефлексе, по Павлову, вскрыты та его шаблонность, тот его автоматизм, которые рассмотрел Фабр в инстинкте.

Разве в опыте с пелопеем оса не покрывала крышей контуры бывшего гнезда? Пелопей, по сути, производил работу такую же бесполезную, бессмысленную, какая совершается слюнными

железами при стуке метронома.

Рассматривая жизнь насекомых как деятельность в окружающей среде, во взаимосвязях со всем живым и неживым, Фабр видит необозримую сложность и величественность предмета, и это постоянно воспламеняет его энергию, помогает углубляться во внутренние, сокровенные механизмы поведения.

Вспомним еще маленькую заметку по поводу книги профессора Б. Н. Шванвича «Цветы и растения». Книга представляет обзор трудов о поведении насекомых на цветах. И. П. Павлов писал в связи с рассматриваемыми в книге опытами о «стереотипной, врожденной, так называемой инстинктивной деятельности» и о «деятельности, имеющей в основе своей индивидуальный опыт». Он подчеркивал, что и у насекомых два вида поведения; высшее и низшее, индивидуальное и видовое. Павлов находил весьма полезным расширять круг объектов, вовлекать в исследование «новые районы животного мира», в частности насекомых, добавляя, что в этом «существенный ресурс» для решения всей проблемы. Вместе с тем главное, по его мнению, в анализе именно первого, то есть высшего, индивидуального поведения. Фабр — мы уже отчасти выявили обстоятельства, которые привели его к такому выводу, — рассматривал как неотложную задачу изучение именно видового, низшего, по И. П. Павлову, поведения.

Таким образом, Фабр и Павлов шли к одной цели, изучали две стороны процесса.

И нельзя сказать, что Фабр не представлял себе значения и места своих работ.

Размышляя по поводу опытов над пелопеями, он писал: «Стоит ли, действительно, тратить время, которого у нас так мало, на собирание фактов, имеющих небольшое значение и очень спорную полезность? Не детская ли это забава, желание как можно подробнее изучить повадки насекомого? Есть слишком много куда более серьезных занятий, и они так настойчиво требуют наших сил, что не остается досуга для подобных забав. Так заставляет нас говорить суровый опыт зрелых лет. Такой вывод сделал бы и я, заканчивая мои исследования, если бы не видел, что эти вопросы проливают свет на самые высокие вопросы, какие только нам приходится возбуждать.

Что такое жизнь? Поймем ли мы когда-нибудь источник ее происхождения? Сумеем ли мы в капле слизи вызвать те смутные трепетания, которые предшествуют зарождению жизни? Что такое человеческий разум? Чем он отличается от разума животных? Что такое инстинкт? Сводится ли эти две способности к общему фактору или они несоизмеримы? Связаны ли между собой виды

общностью происхождения, существует ли трансформизм? Или виды лишены способности существенно изменяться и время воздействует на них только так, что рано или поздно их уничтожает?

Эти вопросы тревожат всякий развитый ум…»

Неустанно мобилизуются факты, подтверждающие категорическое заключение о природе инстинкта, но одновременно всю жизнь с тем же тщанием, добросовестностью и трудолюбием регистрируются и другие, свидетельствующие, как могло казаться, против сформулированного толкования. Мы говорим о примерах, освещающих не тупость инстинкта, а, наоборот, его гибкость, не видовой шаблон, а индивидуальные отличия, не постоянство, а, как искра, вспыхивающие изменения. Подобные факты не упускал из виду и молодой натуралист из Авиньона, их регистрировал зрелый ученый из Оранжа, их обдумывал седовласый исследователь из Сериньяна.

…Желткокрылый сфекс, принеся своего сверчка к норке, спускается туда один, оставив дичь у входа. Можно сколько угодно раз отодвигать, прятать сверчка — и Фабр делал это! — сфекс все равно будет спускаться в галерею один, рискуя добычей. Горький опыт ничему его не учит. Но вот встретилась Фабру еще одна бургада желтокрылых сфексов, и опыты с ее обитателями меняют прежний «слишком узкий взгляд». В этом селении в отличие от других *все* сфексы способны к быстрому научению. Потеряв по два-три сверчка, сфекс больше не позволяет себя обмануть: он садится на спину принесенного третьего или четвертого сверчка, схватывает его челюстями за усики и теперь уже прямым ходом втаскивает в гнездо.

Эта большая или меньшая легкость приспособления, зародыш рассудка, проблески способности к опыту, к научению пусть и редки, но они есть, и нельзя их не принимать во внимание, нельзя с ними не считаться.

…Лангедокский сфекс оставил эфиппигеру на земле у стены дома, а сам взлетел на крышу. Там под изгибом черепицы он за четверть часа вырывает в пыли норку. Вернувшись за дичью, он отправляется с нею вверх, карабкается по стене. Нелегкая это работа: эфиппигера тяжела, нить усика вот-вот вырвется из жвал, но сфекс преодолевает все. Положив добычу на край крыши, он отправляется к норке. В это время ветер сдувает неподвижную дичь, и она падает на землю…

И второй раз то же: вскарабкавшись с добычей к норе, оса кладет эфиппигеру у входа, но та снова скатывается вниз. Втащив тяжелую тушу по стене в третий раз, сфекс теперь не оставляет ее, но сразу уносит в норку под изгиб черепицы.

…А щетинистая аммофила? Наблюдения под стеклянным колоколом позволили Фабру уточнить детали схватки. Оса быстро жалит грудь гусеницы. После этих уколов добыча не столь подвижна, и аммофила — кольцо за кольцом — парализует остальные нервные узлы, наконец, мнет жвалами головной ганглий. «Так бывает обычно, — напоминает Фабр, — но не всегда. Насекомое не машина, колеса которой всегда работают одинаково. Ожидающий увидеть все акты описанной операции именно такими может ошибиться. Нередки случаи большого или меньшего уклонения от общего правила».

…Пчелы мегахилы вырезают для постройки гнезда кружочки и овалы из листьев некоторых деревьев и кустарников. У каждого вида мегахилы свой ассортимент растительных форм, из листьев которых они заготовляют строительный материал для дна, стенок, крышки. А что, если предложить им совершенно незнакомые растения?

Интересный опыт — загорается Фабр.

В саду, где летают мегахилы серебристая и зайценогая, привлекаемые сюда больше всего сиренью и розами, высажены эйлант из Японии и физостегия из Северной Америки. Эти зеленые переселенцы, конечно, не знакомы провансальским мегахилам, но пришлись им по вкусу. Мегахила немощная как ни в чем не бывало вырезает свои кружочки и овалы из лепестков герани, хотя это растение лишь недавно привезено, а родом оно из Южной Африки. Мегахила «портила цветки герани так, словно все ее предки всегда имели дело именно с геранью».

Видимо, в повадках мегахил шаблон не так устойчив, во всяком случае, строительный материал для гнезда они сменяют легко. Конечно, выбирается растение, сходное с привычным, но и тут какая-то перестройка поведения неизбежна.

«Полагают, — писал Фабр, — что инстинкты развиваются чрезвычайно медленно, что они результат многовековых однородных действий. Мегахилы доказывают мне противное. Они говорят, что их искусство, неподвижное в основном, способно к нововведению в мелочах».

Фабр регистрирует случаи не только отступления от стереотипа повадок, но и, смену пищи. Вспомним замеченного им сфекса, который ловил вместо сверчков кобылок. Ведь здесь сопряженно изменяются и охотничья повадка самок и кормодобывательные — личинок. Здесь перестраивается не одно какое-то звено цепи, но сразу несколько. Изучение подобных резких наследственных изменений — их впоследствии назовут психическими мутациями — составит целый раздел так называемой генетики поведения.

Широко известно, что иногда насекомые и вовсе не строят новое гнездо, а выбирают готовое — чужую норку, ход в земле, в дереве, трещину в камне, пустую раковину улитки…

Пелопей как раз пример того, что может меняться не только пища для личинок или строительный материал, но и самое место гнездования. Сейчас эти осы чаще всего селятся под навесом над печью, у теплого очага, «и чем сильнее он закопчен, тем охотнее занимает его пелопей». А где же они устраивали гнезда до того, как люди приручили огонь, до того, как вообще появился на земле человек?

Итак — еще одно итак! — Фабр, убежденный в автоматизме инстинкта, столь же убежденно утверждает: насекомое не машина!

Натуралист, неустанно возводивший здание учения об инстинкте, не считал его возведенным, а, наоборот, тщательно выделял все, что не укладывалось в общий ряд.

Изучая поведение насекомых, их «познавательные способности», нравы, обычаи, разрабатывая естественную историю инстинктов, Фабр добывал материал не только для себя, но и для будущих исследователей, их он имел в виду, «собирая факты для сравнения». Чернорабочий и архитектор, он протягивал руку тем, кто когда-нибудь использует его труд и пойдет дальше.

Ализариновый мираж

Миновали годы исканий, когда жажда знания всего обо всем бросала Фабра на штурм математики, геометрии, географии, химии, физики. Сейчас эти дисциплины поставлены на службу одному. Фабр действует без строгого плана, но целеустремленно, ведет работу на собственный страх и на личный кошт. Помощи не получает, ассигнований не имеет. Однако с каждым выходом в лес или на плато, с каждым подъемом в горы или спуском в долины число проблем умножается, поле зрения растет.

Похоже, миллиарды клеток под черепной коробкой безотказно фиксируют выхваченные из процессов разрозненные моментальные снимки увиденного, молекулы фактов, кванты явлений и реакций. Иногда насекомое знакомо Фабру сначала только по внешнему виду, в лицо. Иногда, ни разу не видев какой-нибудь гусеницы или жука, он опознает их по «почерку», по оставленным на растении отметинам. И все же в конце концов

виновник найден, определен, изучен. Через годы, через десятилетия, случалось, через тридцать-сорок лет великолепный аппарат памяти приводит в систему разрозненные сведения, монтирует из них цельную картину, восстанавливает факты в естественной последовательности так, как они связаны в природе.

Рассказывая о своих наблюдениях, Фабр редко сообщает год, ограничивая обычно датировку указанием сезона. Зато говорит не вообще о весне, лете, но всегда уточняет: «в начале апреля», «в середине июня», «через две недели», «на следующий день», «не прошло и двух часов», «спустя десять минут». Перешагнув порог обжитого людьми мира, Фабр общается с созданиями, для которых важны в первую очередь показатели фенологические. Здесь свои циферблаты, свои стрелки часов.

«…В конце июня пятнистый ларин занимается семейными делами. Он пристраивает потомство в цветочные головки мордовника, еще зеленые, величиной с горошину, самое большое — с вишню. Две-три недели продолжаются хлопоты, и за это время колючие шарики становятся все больше и все синее…»

«…Галикты начинают рыть норки в апреле. Жилье готово ко времени, когда матери пора собирать мед и откладывать яйца. Тут уж не до строительных работ. Наступает веселый ясный май, и апрельские землекопы превращаются в собирателей жатвы. Пчелы испачканы желтой цветочной пылью. Каждую минуту садятся они на свои земляные бугорки вокруг входов в гнезда…»

«…На земле под дерезою среди упавшей и засохшей листвы бегает личинка в одеянии, красивее которого я ничего не знаю. Это маленькое создание, эта капелька молока, скрывающаяся в песке, как только хочешь ее схватить, совершенно очаровательна. Волнистый мех из великолепного белого воска, выделяемого кожей, придает личинке вид крошечного пуделя. Так ее и называли старые натуралисты. Сохраним это имя… В середине июня пудели, воспитанные в неволе, забиваются в складки сухих листьев и превращаются в ржаво-красных куколок. Они наполовину скрыты своим волокнистым одеянием. Две недели спустя появляется взрослый жучок. Это черная-пречерная божья коровка, слегка покрытая пушком и с большим красным пятном на каждом надкрылье…»

«…В семь-восемь утра раздаются первые звуки песни. Она не смолкает до поздних сумерек, часов до восьми вечера. Но если небо покрыто тучами или дует холодный ветер, цикада молчит. Другой вид — ясеневая цикада — ростом вдвое меньше, носит в нашей местности название „кан-кан“, что довольно верно передает ее манеру петь… Они сидят рядами на коре платанов, все обращены головой вверх. Впившись хоботками, неподвижные,

они сосут. По мере того как солнце, а за ним и тени перемещаются, они так же медленно переползают по стволу или ветке и всегда усаживаются на самом припеке. И когда сосут и когда движутся — не переставая поют…»

…Рассматривая в полутьме подвала в лицейской лаборатории пробирки с красноватой жидкостью, Фабр думает о пении цикад и кузнечиков, выражающем, как он подозревает, радость жизни под ясным небом и жарким солнцем. Пора бы уже и ему если и не затянуть беззаботно веселую песенку, то, во всяком случае, иметь возможность спокойно трудиться в той области, которая его влечет.

Вместо этого помощнику преподавателя химии приходится совершенствовать технологию приготовления краски из марены. Рубиновая красящая, по-латыни — рубия тинктория, многолетник из семейства мареновых, возделывается в Провансе еще с XVI века, а сейчас это одна из наиболее распространенных здесь культур. Фабр помнит о марене еще с Эколь Нормаль. Это был любимый объект школьного химика, видимо, он тоже возлагал на нее большие надежды. Сколько раз потом, навещая отца на ферме Роберти, видел Жан-Анри на плантациях медленно продвигающиеся вдоль желто-зеленых рядков зонтичных растений пестрые шеренги рабочих и батрачек: они пропалывали или окучивали посевы. В сезон копки он встречал на дорогах чудовищные телеги с высокими бортами. Запряженные шестью парами мулов, они грохотали по булыжнику, высекая искры железом оковки и лязгая цепями, которые использовались как постромки.

Размолотые и измельченные в порошок корни — этот порошок называют «гаранс» — идут для окраски и шелка, и ситца, и других тканей. Горы его расходуются каждый год на материю, из которой шьют шаровары для французской пехоты.

В свое время Наполеон восстановил на знаменитых предприятиях Гобеленов школу окраски тканей. Но Фабр, еще только начав исследования, быстро обнаружил, что фабричная краска представляет грубую смесь всякой всячины: жуликоватые дельцы подмешивали в нее кто толченый кирпич, кто красную пыльцу растений, кто просто не поймешь какую дрянь. Фабр вызвал настоящий переполох, напечатав в 1859 году мемуар об анализах гаранса и подсыпаемых в него чужеродных веществ. С тех пор Фабр значительно усовершенствовал получение красящего начала — промышленники называют его краппом, а химики определяют как глюкозид ализарин с пигментами пурпурином и рубиадином. Правда, в корнях марены всего от трех до четырех процентов красящего вещества, но можно

поставить добычу краппа на научную основу, можно освободить от ненужных человеку примесей то, что природа производит для себя.

Марена кормит добрую треть Прованса, и, если упростить и удешевить получение краски, работа десятков тысяч батраков, крестьян и мастеровых сразу станет производительнее.

Персу Альтену, он завез марену в Прованс и начал ее здесь выращивать, воздвигнут в Авиньоне памятник. Нет сомнений, что человека, который усовершенствует способ извлечения красящего начала, ждет богатство.

Это и был вывод, сделанный из разговора с инспектором-крокодилом после урока черчения.

Марена даст ему независимость, он сможет полностью посвятить себя любимым насекомым, любимой науке!

Почему не мечтать о таких заманчивых вещах химику, квартирующему на улице Тейнтюрье, что по-французски значит — Красильщиков? И он уже добился успехов. Деловые люди смотрели образцы краски, хвалили, прикидывали возможности использования. Правда, сам он еще не вполне доволен. Вот и приходится вновь и вновь с упорством античного раба, который копит гроши на свой выкуп, повторять анализы, промывать массу в поташе, отцеживать, менять фильтры…

Увлекшись, он не услышал скрипа двери. Только громко произнесенное приветствие заставило его оглянуться. Если бы руки не были так густо выкрашены мареной, он стал бы протирать глаза. Как этот человек оказался здесь? И один!

Гостю следовало предложить стул, но стулья колченогие, изодранные. Пришлось вести разговор стоя. Вошедший, сняв цилиндр, расхаживал по лаборатории, а Фабр то утирал фартуком красные руки, то помешивал деревянным веслом бурлящее крошево, от которого поднимался пар с приятным слабым запахом.

Если, описывая встречу с каким-нибудь перепончатокрылым или жуком на Пустой дороге, Фабр часто не называет год, ограничиваясь упоминанием сезона, то здесь в случае с неожиданным посетителем имеет значение именно год.

Год — 1867-й. Человек, спустившийся в подвал Сен-Марциала, в лабораторию, — не кто-нибудь из администрации лицея или муниципалитета, а Виктор Дюрюи, министр просвещения.

О том, что привело Дюрюи в темный подвал, где Фабр трудился над мареновыми отжимами, следует сказать подробнее. Надо хотя бы коротко объяснить и то, как случилось, что нелюдимый Фабр знал в лицо министра, занимавшего видное

положение в Париже, и, как говорили, приближенного к самому Луи-Наполеону.

Говоря об эпохе второй империи, когда Луи-Наполеон возглавлял французское правительство, В. И. Ленин особенно подчеркивает, что для нее характерны «необходимость внешнего блеска», подслащивание реакции, напыщенная декламация «о равенстве, братстве, свободе, чести и достоинстве родины, о традициях великой революции…» Наполеон III положил не мало труда на «заигрывание с рабочими». внушал эксплуатируемым, что правительство стоит выше классов, что оно служит интересам не дворян и буржуазии, а интересам справедливости, что оно неустанно печется о защите слабых и бедных.

Политику в области народного просвещения режим Луи-Наполеона использовал как важный рычаг всей внутренней политики. Вслед за принятием закона против школьных учителей, подчинившего их произволу префектов, был утвержден закон против образования, которым, как писал Маркс, «партия порядка объявила невежество и насильственное отупление Франции необходимым условием своего существования при режиме всеобщего избирательного права». В 1859 году в статье «Франция при Луи-Наполеоне» Н. Г. Чернышевский говорит о том, как эта тактика насильственного отупления отразилась на школе. «Правительство старалось по возможности искоренить предметы, внушающие уму общие понятия, как, например, философию, историю, всеобщую литературу. Воспитанники, дошедшие до IV класса лицейского преподавания, могут освобождаться or слушания других курсов, объявив, что посвящают себя точным наукам. Эта мера, известная под именем бифуркации — подразделения курсов, осуждается просвещеннейшими и опытнейшими людьми, как смертельный удар умственным успехам нации… По общему суждению знатоков дела, вредные последствия этой меры уже обнаруживаются очень сильно, а если она продержится долго, сделаются еще более гибельными».

Призванный Луи-Наполеоном возглавить министерство просвещения, Дюрюи принял нелегкое наследство.

Он стал министром в 1863 году, а через 4 года, то есть именно в 1867 году, был принят, наконец, подготовленный Дюрюи «великий закон о начальном образовании». Так он именуется многими французскими исследователями.

Сын мастера-ткача, высокообразованный историк, человек прогрессивных взглядов, Дюрюи попытался исправить дело. Стремясь перестроить школу так, чтобы она выпускала глубоко образованных людей, он восстановил преподавание философии, ввел курс новой истории. Еще недавно этот курс обрывался на

событиях 1815 года, и последние полстолетия как бы начисто вычеркивались из сознания учащихся.

Новый министр требовал от школы «сделать науку доступной для детей, устраняя все слишком абстрактное и непрестанно связывая изучаемые факты с явлениями, которые дети наблюдают в реальной жизни. Внимание учеников надо непрестанно направлять на реальность жизни, побуждать их разбираться в явлениях, которые происходят в той среде, где они находятся, — словом, развивать их наблюдения и суждения». Дюрюи создал сеть специального образования, а пресловутую бифуркацию ликвидировал. Было расширено и усовершенствовано бесплатное начальное образование, улучшено внешкольное просвещение.

«Дюрюи стал единственным популярным министром второй империи», — писал впоследствии Лависс. В монографии «Французская школа и борьба за ее демократизацию» советский исследователь С. А. Фрумов говорит: «Педагог и ученый, вышедший из демократической среды, Дюрюи проявил действительную заботу о развитии народного образования. Исторические обстоятельства сложились так, что он получил возможность некоторое время действовать. Но действия его были ограничены тем, что он был министром второй империи». Дюрюи понадобился в демагогических целях, когда Луи-Наполеон принял позу «государя-просветителя». Кандидатура нового министра устраивала его и в другом плане: Дюрюи был противник клерикализма, а правительство демонстрировало холодность к Ватикану.

…Несколько лет назад — Фабр хорошо помнит этот день — в лицей явились два инспектора из министерства. Обследовав классы, они выступили перед преподавателями. Инспектор по науке говорил долго и нудно, без чувства и мысли; инспектор по литературе с первых же фраз приковал к себе внимание. То была не чиновничья проповедь, но горячий призыв, крик души, полной беспокойства о школе и ее назначении.

— Кто это? — спросил Фабр коллег, информированных обычно лучше, чем он.

— Виктор Дюрюи, — ответили ему.

«Жаль, что он инспектирует литературу. Будь он по науке, мне, может, довелось бы с ним встретиться», — подумал Фабр.

И вот бывший генеральный инспектор, став министром, пришел навестить его. Он знает статьи в «Анналь де сианс натюрель» и обратил внимание на то, как просто и увлекательно пишет автор. Он читал и опубликованные за последние годы в трех парижских издательствах научно-популярные книги Фабра, порадовавшие его новизной тона и яркостью. Министр говорит

Фабру, что нашел в его произведениях образец педагогического и просветительского мастерства, спрашивает о его планах, о работе в лаборатории.

Отвечая, Фабр демонстрирует маленький опыт. Он получает краску в крохотной капсуле, помещенной под воронкой в кипяток.

— Исследование обещает многое для промышленности. Скажите, в чем вы нуждаетесь, я найду способ помочь вам, — говорит Дюрюи.

Но Фабру ничего не надо.

— Странно. Все чего-нибудь просят, а вы отказываетесь от помощи, хотя бедность лаборатории бросается в глаза.

— Задача может быть решена и с таким оборудованием.

— И вам ничего не хочется получить для лаборатории? — настаивает Дюрюи.

— Зоологический сад в вашем распоряжении? — улыбается Фабр. — Когда подохнет крокодил, распорядитесь послать мне шкуру. Я сделаю чучело; в логове алхимика крокодил будет очень кстати..

…Дюрюи пора к поезду.

Фабр сбрасывает фартук, надевает сюртук, покрывает голову широкополой фетровой шляпой, и они медленно идут по улицам, потом выходят на знаменитую платановую аллею.

Фабр вспоминает об этой беседе коротко и скупо: «Я рассказываю о моих энтомологических исследованиях, о моих взглядах педагога, о положении преподавателя, о трудностях и надеждах. Он меня воодушевляет. Прогулка была очаровательной».

Увидев на перроне дожидавшихся его представителей власти: префекта, мэра, директора лицея, дивизионного генерала и других официальных лиц, министр представил им Фабра и попросил поддержать его деятельность по распространению знаний.

Вскоре после того в Авиньоне открыли общеобразовательную школу для взрослых и пригласили туда Фабра. В аудитории Сен-Марциала дважды в неделю собирались пекари, красильщики, каменщики, парикмахеры, возчики, рыбаки, точильщики. Прилежными слушателями Фабра были также владелец книжной лавки Руманий и знакомый нам Феликс Гра из Вильнева.

Следом возникли женские курсы. Светское образование для девушек было во Франции вещью неслыханной. Фабр — он и здесь был основным преподавателем — сразу оценил внимательность и серьезность слушательниц. Его уроки, каждый обязательно сопровождался опытами, вызывали глубокий

интерес. И всегда лектор на одном и том же месте видел приемную дочь и воспитанницу своего английского друга Милля — Елену[1].

Возбуждение, вызванное организацией курсов и лекциями Фабра, со временем не улеглось, но, наоборот, росло. А тут еще особое отношение к Фабру самого министра!

Вскоре после возвращения Дюрюи в Париж министерство вызвало Фабра, но он решил не ехать: как-нибудь обойдется. Последовал второй вызов, Фабр и на этот раз пренебрег командой администрации. Тогда прибыло письмо, подписанное уже самим министром и с шутливой угрозой: не приедете, вытребуем с помощью жандармов!

Приходится ехать. Фабр снова на дороге, участок которой когда-то строил. Не прошло и пятнадцати лет с тех пор, как он в стихах «Се-бегемот» писал о поезде: «быстрее урагана пожирающий пространство». Сейчас поезда движутся почти в два раза быстрее.

— Это тебе не осмии, не мегахилы, не стрекозы, которые сегодня летают так же, как тысячи лет назад; не бегемот, который ходит по своим тропинкам в зарослях так, как ходил до фараонов. Тут другие системы отсчетов…

И вот снова Париж. У входа в министерство приезжий учитель протягивает важному швейцару письмо Дюрюи, и Фабра почтительно ведут по коридорам. Министр принимает его сразу и первым делом протягивает правительственный вестник — газету «Монитер».

— Смотрите, чем мы вас встречаем! — Дюрюи указывает в списке новых кавалеров ордена Почетного легиона строку: Жан-Анри-Казимир Фабр, преподаватель Авиньонского лицея.

Дюрюи поздравляет смущенного диковатого посетителя, расспрашивает о работе курсов в Авиньоне, вспоминает о новой книге, которую Фабр собирался писать.

— Вас ждет Шарль Делаграв, молодой издатель просветительной литературы. Он очень вами интересуется.

Делаграв… Да это же название горного источника на склонах Ванту…

— Посетите его сегодня, — продолжает Дюрюи. — А завтра мы вместе поедем на прием к императору.

Балы и приемы у Луи-Бонапарта способствовали созданию «необходимого внешнего блеска» режима. Вот что пишет о них «Социалистическая история» под редакцией Жана Жореса: «Празднества занимают внимание общества… Кое-кто, конечно, ропщет: время ли теперь задавать балы? „Монитер“ отвечает недовольным: расходы на большой бал обратно проливаются

золотым дождем на все отрасли промышленности. Портные, декораторы, садовники соперничают друг с другом, даже устраивают конкурсы. Иностранные гости стекаются со всех сторон в Тюильрийский дворец, к изумлению зевак…»

А Эмиль Золя в «Добыче» рисует и общий вид «нового Лувра в миниатюре, одного из характерных образцов стиля Наполеона III, пышной помеси всех стилей», и отдельные сцены проходивших здесь парадов, когда, окутанные рокотом голосов, в теплом воздухе выстраивались в два ряда белые плечи, за ними, отступив на шаг, со скромным видом черные фраки, а вдоль рядов семенил на коротких ножках Луи-Наполеон с красной орденской лентой через плечо. Он движется между двух рядов дам, приседающих перед ним, и его тусклый взгляд, бросаемый то направо, то налево, скользит по корсажам…

Известная — она была выставлена в Лувре — акварель Г. Барона «Вечер в Тюильри» относится как раз к 1867 году. Здесь среди сверкания мрамора и хрусталя, колонн, ваз и люстр тоже видны черные фраки и дамы в туалетах, пожирающих состояния.

На пышное торжество — встречу императора с виднейшими учеными страны — попадает только позавчера расставшийся с лицеем помощник преподавателя в своем видавшем виды мундире.

Фабр с любопытством разглядывает придворных в коротких штанах и туфлях с серебряными пряжками. Натуралист верен себе: камергеры напоминают ему жуков, вместо элитр у них фраки цвета кофе с молоком; платья дам — цветочные клумбы. Он посматривает на ученых. Это геологи, историки, ботаники, археологи, физиологи. Многие известны ему по книгам и календарям. Здесь Клод Бернар, почти земляк, родом с берегов Роны; Мильн-Эдвардс, знакомый по защите докторской; автор учения о диссоциации химик Сен-Клер Девилль…

Входит император. Пухленький, с большими усами и полуприкрытыми веками, он будто дремлет. Его сопровождает Дюрюи, представляет гостей и называет их специальность. Каждому император задает один-два вопроса. Фабра он спрашивает о гиперметаморфозе мелоид. Дальше произносятся речи. Фабр, конечно, не выступает.

Улучив минуту, когда около Дюрюи никого нет, Фабр подходит и решительно прощается. Его ждут насекомые, рукописи, марена. Париж не для него, он не сможет задержаться ни на один день, не станет даже знакомиться с коллекциями Музея естественной истории.

Фабр нервничает: какой-то услужливый чиновник шепнул, будто есть план оставить его при дворце воспитателем принца.

Дюрюи не перебивает, потом, вздохнув, говорит:

— Пожалуй, вы правы. Но я очень об этом жалею.

Фабр спешит покинуть дворец. В тот день ему довелось еще побывать на знаменитом Пон-Неф, одном из самых оживленных мостов Парижа. Его резанула особенно тягостное после роскоши Тюильри зрелище. Старый, оборванный, провонявший духом всех ночлежек, нищий стоит среди клеток с собаками и кошками. Надпись, прибитая к одной из клеток, по русски выглядела бы примерно так:

«Пьйотр де Шамони
режит хвосты псам
кастрирует котов
расстояниями ни стисняемся».

…Он ехал в Авиньон, с ужасом представляя себе, во что бы превратилась жизнь, если б на него напялили фрак цвета кофе с молоком и лишили возможности заниматься навозниками, тлями, мухами, богомолами. Он радовался освобождению — «Я не пойду, друзья, к вельможе, вот как!», и повторял, что алая мареновая краска раньше или позже станет для него синей птицей, приведет к цели.

Глава IV
Изгнанный

Теперешние натуралисты проводят по целым часам над каким-нибудь муравейником и повторяют такие сеансы каждый божий день в течение многих и очень многих летних сезонов и все-таки при этом страшном напряжении внимания считают себя школьниками в деле изучения природы и сознаются в том, что психологические вопросы природы животного царства до сих пор даже не могут быть поставлены надлежащим образом.

Д. И. Писарев, «Прогресс в мире животных и растений». 1864

Для меня инстинкт животного — загадка.

Виктор Некрасов, «За 12 000 километров», 1965

Человек, который судит о каждом философе не по тому, что тот вносит в науку, не по прогрессивному, что было в его деятельности, но по тому, что было неизбежно преходящим, реакционным, судит по системе, — такой человек лучше бы молчал.

Ф. Энгельс, Письмо Шмидту, июль 1891

«L’année terrible», ужасный год, — написал Виктор Гюго о злосчастном для его родины 1870-м. Страна пережила тягчайшие испытания. Разгром на полях сражений и бедствия вражеского нашествия потрясли Францию. Провозглашена Парижская комунна, но пламя революции залито кровью. Гремят залпы расстрелов в Менильмонтане, на кладбище Пер-Лашез; волна преследований и гонений прокатывается по стране.

Впрочем, реакция подняла голову еще до того.

Только недавно вернулся Фабр из Парижа, уклонившись от чести быть воспитателем сына императора. Спасся бегством. И часа лишнего не пробыл в столице, торопился к насекомым и на курсы, которым отдает жар сердца.

Ох, эти курсы! Не всем они по душе. К чему, собственно, каменщикам или огородникам, мясникам или кровельщикам знать о Кеплере, Ньютоне и солнечной системе, о свойствах химических элементов, основах энергетики? А уж курсы для девушек!..

Фабр не обращал внимания на пересуды. Но авиньонские кумушки были не одиноки. Князья церкви по всей стране разжигали поход против женских курсов, захлебываясь от ненависти, поносили школьные реформы.

Во Франции женское образование было монополией монастырей. Рассказывая о том, какую роль они играли, шестидесятник-демократ А. Михайлов писал: «Все средневековые суеверия, все невежество, не признающее ни науки, ни прогресса… сосредоточились здесь и воспитывали фанатичных и запуганных женщин, живших идеями XVII столетия, являвшихся тормозящей силой среди населения».

Церковники понимали значение такой тормозящей силы и не склонны были от нее отказываться.

Даже сегодня это еще не стало страницей прошлого. Ведь и в 1965 году католическая партия Франции — МРП вновь требовала передачи всего женского образования в руки церкви. Но 1965 год — это не 1865-й! И в МРП нет сегодня никого, кто мог бы сравниться в силе пера с Феликсом-Антуаном-Фелибером Дюпанлу, епископом орлеанским, возглавившим поход против Виктора Дюрюи и женских курсов. В исступленных проповедях и желчных памфлетах Дюпанлу заклинал паству оберегать жен, сестер и дочерей от растлевающего светского образования, добиваться закрытия курсов, которые переводят женщин «из лона церкви в объятия университетов».

— Здесь преподают люди без стыда, — распалялся епископ и,

не жалея мрачных красок, живописал губительность образования для «целомудренной сдержанности и скромности ума девушек».

Правда, сама императрица, жена Луи-Наполеона, демонстративно возила в Париж своих племянниц, дочерей графа Альба, на лекции. Строго в указанное время прибывали они к парадному подъезду аудитории в открытой коляске, и назавтра все газеты сообщали не только об их нарядах, но и о масти лошадей в упряжке. Однако ни для кого не было секретом, что это лишь дипломатия, отвлекающий маневр. На самом деле, и это тоже было известно, возглавляемая императрицей могущественная придворная клика сторонников Ватикана уже давно вынесла приговор Дюрюи. Но тот не сдавался.

«Вспыльчивый прелат вышел из себя, — отвечал министр на один из очередных выпадов орлеанского епископа. — Он видит в курсах, в светском образовании угрозу для монастырей, он опасается, что монастырям помешают захватывать посредством всяческих ухищрений завещаемые имущества. И это его ужасает. Что ж, он прав!»

Меткие ответы министра приводили в еще большую ярость его врагов, и те кляли с амвонов «ужасные утопии Дюрюи», предавали анафеме искусителей, «ночью и днем сеющих плевелы в поле».

«Громы восьмидесяти епископов гремели в этой буре», — писали впоследствии историки, рассказывая, как церковники травили ненавистного им министра просвещения. Сам папа Пий IX принял участие в кампании. Грозовые тучи, сгустившиеся над Дюрюи в Париже, бросили в Авиньоне тень на Фабра, и он скоро это почувствовал. Ханжи торжествовали. «Хвалу спешите вознести! Ведь капуцины вновь в чести!» Неотвратимо и тягостно назревал конфликт с руководителями муниципалитета и лицея.

Между тем тучи надвигались и с другой стороны. Как мечтал Фабр, покорив марену, купить себе независимость, сбросить оковы поденщины, избавиться от нищеты! Сколько труда вложил он в исследования, сколько выдумки и терпения требовали бесконечные пробы. И так не месяцы, а годы — двенадцать лет! Наконец все позади. Он нашел способ получать концентрированную чистую краску. И уже не в крохотных капсулах под стеклянной воронкой. Открыта целая фабрика, на которой производится новый краситель.

Синяя птица — вот она, в руках!

Но тут среди владельцев красилен распространяется туманный слух, будто в Германии какие-то фантазеры затеяли добывать краски из… каменного угля. Неясный слух сменяют более определенные утверждения. Наконец приходит

информация, не оставляющая места для сомнений: немецкие химики разработали технологию получения искусственных красителей!

Факт этот стал, как известно, страницей не только в истории органической химии, но и в истории философии, вошел в хрестоматии как классический пример, поясняющий суть материалистического подхода к процессу познания.

«Если мы можем, — писал Ф. Энгельс в „Людвиге Фейербахе“, — доказать правильность нашего понимания данного явления природы тем, что сами его производим, вызываем его из его условий, заставляем его к тому же служить нашим целям, то кантовской неуловимой „вещи-в-себе“ приходит конец. Химические вещества, производимые в телах животных и растений, оставались такими „вещами-в-себе“, пока органическая химия не стала приготовлять их одно за другим; тем самым „вещь-в-себе“ превращалась в „вещь для нас“, как, например, ализарин, красящее вещество марены, которое мы получаем теперь не из корней марены, выращиваемой в поле, а гораздо дешевле и проще из каменноугольного дегтя…»

Воспользовавшись ситуацией, дельцы за бесценок приобрели открытие Фабра. А он, сохраняя самообладание и трезвость мысли, писал: «Все надежды и ожидания разрушены в прах, но меня это не удивляет. Много поработав над получением искусственного ализарина, я достаточно разобрался в вопросе. Вполне можно было предвидеть, что в недалеком будущем реторта заменит собой продукт полей».

Да, перемены происходят быстро. Появился поезд, и сразу не нужны овес и ячмень или трава на сено для почтовых лошадей. Полевой продукт заменен дровами и каменным углем. А следом тот же каменный уголь заменил целую отрасль земледелия Воклюза. За короткий срок исчезла марена — один из китов, на которых держалось сельское хозяйство края. От всей культуры сохранились только воспоминание и статуя перса Альтена.

И именно теперь, когда Фабр оказался снова прикован к лицею, его положение там резко пошатнулось. В профессорской конъюнктурщики тех лет пылали благородным негодованием. Можно ли терпеть в качестве наставника молодежи того, кто выступает против общественного мнения, того, кто вопреки предупреждениям благонамеренных газет продолжает разлагательную работу на всяких общественных курсах, мужлана, который запанибрата и с учениками и с обанкротившимся «красным» министром?

«В чем состояло мое преступление? — писал о событиях черного года Фабр. — Я объяснял молодым особам, что такое

вода и воздух, откуда происходят свет, гром, молния, каким образом мысль по металлической нитке передается через моря и континенты, почему горяч очаг, почему и как мы дышим, как созревает зерно, как распускается цветок. Ужасные вещи в глазах тех, чьи веки жмурятся от света».

Особое негодование вызвала прочитанная на женских курсах лекция об устройстве цветка.

— Какая наглость! Какое бесстыдство!

— Он им выкладывает начистоту про опыление и про завязь…

— А они? Всю кафедру цветами завалили!

Давно уже была напечатана повесть Проспера Мериме «Аббат Обен». Легкомысленные пошловатые дамы переписываются по поводу ошеломившей их новости: «Растения выходят, оказывается, замуж совсем как мы… Одни называются фанерогамами, если только я не путаю этого варварского слова. Это по-гречески значит: заключивший брак публично, в муниципалитете. Потом имеются криптогамы — тайные супружества. Грибы, которые ты ешь, живут в тайном браке. Все это чрезвычайно скандально…»

Повесть Мериме читают по всей Франции. Тем не менее лекция Фабра объявлена аморальной.

Как шаблонна реакция филистеров! Примерно за полвека до инцидента с Фабром старый немецкий учитель из Шпандау Христиан-Конрад Шпренгель, автор классического труда «Разгаданная тайна природы в строении и оплодотворении цветков», был чуть не анафеме предан за распространение «развращающих обобщений». А примерно полвека спустя после событий в Авиньоне злобствующий козловский батюшка проклял Ивана Мичурина за то, что тот, нарушая установленные всевышним законы природы, скрещивает растения, сам переносит пыльцу с цветка на цветок. И примерно в те же годы мракобесы в Америке обрушили подлинный шквал ненависти на талантливого создателя новых растительных форм Лютера Бербанка: он посмел проводить свои бесстыдные опыты в местности, носящей имя святой Розы — Санта Роза!

Фабр объявлен опасным ниспровергателем основ.

Католическая партия, столь могущественная в городе, который был когда-то столицей католической церкви, местом пребывания пап, довела протесты до трибуны сената. Женские курсы перестали быть частным вопросом. Именно на них скрестились мечи борющихся сторон. Победили церковники. Курсы решено закрыть. Дюрюи смещен.

И тотчас владелицы дома по улице Красильщиков

потребовали, чтобы Фабр съехал с квартиры. Формального договора у жильца не было, он никак не ожидал подобного вероломства. А «погрязшие в ханжестве» (так характеризовал их Фабр) хозяйки, к тому же перепуганные проповедником, уже обратились к властям. Явился судебный исполнитель с гербовой бумагой — приговором о выселении. Как быть?

Фабр смолоду помнил десятки басен Лафонтена, в том числе басню о зайце, который испугался тени своих ушей. «Что, если злые языки объявят вдруг рогами уши? Как тогда? Рогатость ведь теперь считается опасной… Прощай, соседушка, кузнечик, я бежать решил». Напрасно кузнечик успокаивает зайца. «И полно, друг, не так мы бестолковы! Откуда у тебя рога возьмутся? Каждый видит: уши!» Но заяц твердит одно: «И что ж, что уши? Рогами их назвать совсем не трудно…» Кузнечик, разумеется, прав, думает Фабр, но и заяц не ошибается. «Когда вас по пятам преследует злословье, вернее — уходить». Горький вывод человека, знающего, что правота здесь бессильна.

Фабры стали укладывать вещи. Однако найти новое жилье в Авиньоне немыслимо. «Вы хороши, но вас прогнали, и я — я с вами больше не знаком…» Никто не пустит к себе такого квартиранта, да еще с больной женой и пятью детьми. Антония, Аглая, Клер, Эмиль и Жюль пусть не мал мала меньше, но все ж дети. Средства истрачены на лечение Мари-Сезарин. В доме ни гроша.

В Париже должны были выйти из печати, может, уже и вышли две его новые книги. Но Париж осажден немцами, связи со столицей нет. А тут приближается зима, со дня на день стукнут холода.

Святоши выбрали момент, когда нанести удар!

И как всегда, большие горести обрастали малыми. Вокруг главной раны — болезненные царапины и ссадины. Подумать только о растениях, которые прижились в саду! Как их бросить? А Желтки? Много лет назад подобранный голодный котенок, не рыжий, а именно желтый, похожий на ягуара, положил начало целой линии, сохранявшей главную примету родоначальницы. Просто невозможно представить себе дом без Желтков! Когда последнего, младшего подарили знакомым, тот сбежал от них, пересек город и вернулся к хозяевам…

Но сейчас приходится спасать не кошек. Добыть денег и бежать. И видеть никого не хочется! Уже не раз шарахались от него знакомые. Как будто о нем писал Беранже: «От вас отречься я обязан, хоть вас любил и уважал; я не хочу быть так наказан, как вас патрон наш наказал…»

Фабр попытался получить кафедру в каком-нибудь

провинциальном университете; отовсюду отвечают, что его кандидатура неприемлема.

Круг сужался. На всем свете был один человек, к помощи которого можно прибегнуть, не унижая себя, — Милль. Но он вызван в парламент и вернется из Лондона не скоро.

Фабр отправил ему письмо и стал ждать ответа. Время тянулось нестерпимо и вместе с тем летело. Вот-вот вторично постучит в дверь судебный исполнитель, чтоб выбросить на улицу бывшего преподавателя лицея и бывшего лектора курсов со всеми его домочадцами и Желтками.

В эти невеселые дни Фабра навестила мать одной из слушательниц женских курсов, она принесла ему каминные часы на подставке из полированного черного мрамора.

— Ваши ученицы всегда будут помнить замечательные лекции в Сен-Марциале, — говорила пришедшая.

Чтоб скрыть волнение, Фабр хмурится и шутит: теперь, когда у него появились дорогие вещи, осталось только раздобыть камин, на который можно такие часы поставить.

Гостья сконфужена: жена одного из влиятельных граждан, она не в силах помочь, клерикалы никого не милуют…

Ответ от Милля пришел с обратной почтой. В конверте лежало короткое письмо и чек на три тысячи франков.

Едва получив возможность сняться с места, Фабр со старой утварью и великолепными новыми часами переехал в Оранж. Первые дни прошли в полном отчуждении. «С квартиры выгнан, по полям скитаюсь я, связав пожитки…» — бормочет Фабр.

И тут скоро выяснилось, что на окраине луга, сплошь зарастающего летом дикими травами, сдается дом. В одну сторону открывались поля, в другую — фронтон античного театра в Оранже, голубые сериньянские холмы, серебряная голова Ванту. От калитки до самой двери дома ведет традиционная платановая аллея. Живой зеленый готический свод напоминает уголок Авиньона, где стоит дом Милля. Неожиданно хорошо…

Некоторое время Фабр дважды в неделю ездит в Авиньон: ведь он остался хранителем музея Рекияна. После 1871 года — новая волна реакции, и муниципальные власти изгоняют Фабра из музея.

Все было подготовлено втихомолку и проведено крайне грубо и глупо. Но до чего же тяжко рвать последнюю нить, расставаться с трудами Рекияна, с гербариями и рукописями Милля и собственными: ведь они вместе готовили каталог флоры Воклюза. Что станет теперь с редким и таким непрочным научным

богатством? В чьи руки оно попадет? Да разве подобные вещи тревожат служак из муниципалитета?

Совсем свободен или отлучен от всего? К чему обманываться? В Оранже он был еще более нищим, чем двадцать лет назад, приехав в Авиньон. У него крупный долг, на руках большая семья, с книгами в Париже неизвестно что, ализариновый мираж рассеян, давние планы и надежды рухнули.

Да, в Оранж они выброшены, как потерпевшие кораблекрушение.

Но так ли все безнадежно и беспросветно?

Пусть улетела синяя птица, она оставила в руках Фабра перо. Пусть отобрана кафедра, с домашней рухлядью на новое место привезен крохотный — размером в носовой платок — письменный стол. Он-то и станет отныне его педагогической трибуной, его форумом просветителя.

В Париже после беседы с Дюрюи он успел поговорить с молодым издателем, который верил в его литературный талант.

— Издательство готово опубликовать любое пособие, любой учебник, любую книгу, вышедшие из-под вашего пера! — сказал тогда Шарль Делаграв.

И они думают, лишив его кафедры, заткнуть ему рот? Вопреки всему он продолжит беседу с молодежью, ищущей знаний.

Он вложит в ее руки книгу.

До всего дойдя сам, он знает, как взбираться на крутые склоны трудных проблем, умеет будить мысль. Он на себе испытал, что значит сухой, безжизненный, набивающий оскомину учебник. Он не забыл руководств по грамматике, которые изнуряют память, в зародыше убивают способность видеть и думать. Он без колебаний подписался бы под убийственно резкими, но неопровержимо верными строками другого мыслителя из другой страны: «Учебная книга не роман, и если дурно составлена, то делает вреда не меньше чумы или холеры».

Школьнику нужны совсем иные книги. Фабр, испробовав себя на этом поприще, знает, что здесь его силы найдут применение.

В Авиньоне молодой Жан-Анри-Казимир Фабр, сын нищего руэргского горца, самостоятельно овладел многими дисциплинами и добился полудюжины разных ученых степеней. Теперь, в Оранже, проведя здесь неполных десять лет, Фабр написал и обнародовал целую библиотеку: книги для детей, юношества, взрослых.

Еще между 1862 и 1865 годами вышли «Основы науки», «Агрономическая химия», «Физика», «Книга о земле», «Небо». За ними «История полена» — о жизни растений, серия пособий по

химии и физике, далее «Книга об истории. Научные беседы дяди Поля с его племянником».

Но это было только начало.

В 1870 году, например, увидели свет «Органическая химия», «Новая арифметика, рассчитанная на все учреждения народного образования с приложением 1880 задач и упражнений» (позже вышли такие же пособия по геометрии, алгебре, тригонометрии), «Курс элементарной физики», «Вредители. Рассказы дяди Поля о насекомых, вредящих в сельском хозяйстве».

Дальше появились «Элементарная астрономия», «Научное чтение по зоологии», «Наши слуги. Рассказы дяди Поля о животных, полезных для сельского хозяйства». «Научное чтение по ботанике», «Промышленность. Простые рассказы дяди Поля о происхождении, истории, способе изготовления наиболее распространенных предметов домашнего обихода», «Домоводство. Беседы тетушки Авроры с племянницами о домашней экономии. Книга для женских школ», три книги для чтения, в их числе одна с методическими указаниями для преподавателя, «Курс космографии с литературным чтением», «Книга полей. Беседы дяди Поля с племянниками о сельском хозяйстве», «Сельскохозяйственная арифметика, теоретическая и практическая, для начальных школ с приложением задач и упражнений, относящихся к агрономии», «Курс механики», «Маленькие девочки. Первая книга для чтения в начальных школах», «Химия дяди Поля», «Изобретатели и их изобретения», «Почвы и минералы, основы естественной истории», «Предметные уроки для приготовительного класса»…

Мы перечислили, разумеется, далеко не все названия. Из справки, присланной в ответ на наш запрос Французской национальной библиотекой, можно видеть, что здесь в конце 1965 года числилось *сто одиннадцать* прижизненных изданий различных научно-популярных пособий, учебников и научно-художественных произведений Фабра. Некоторые продолжают издаваться и сейчас, а число переводов на иностранные языки вообще не поддается учету.

На русский, в частности, кроме книг о насекомых, переведены одно из пособий по химии и книга об астрономии. Она вышла вскоре после революции под названием «Звездное небо», но в переводе с неудачного немецкого перевода.

Лев Разгон в повести «Человек, написавший библиотеку» — это настоящее исследование, историческое, литературное, педагогическое — рассказывает о жизни и трудах советского ученого-популяризатора Якова Исидоровича Перельмана:

«Корень учения горек. Должны были пройти столетия социальной несправедливости, педагогических извращений, просто невежества, чтобы в народной пословице был так безотрадно сформулирован этот живучий, многовековой предрассудок. Никогда с этим не мог примириться Перельман! Для него, человека, чьей целью жизни была вербовка молодежи в науку, „горькие корни учения“ являлись „врагом номер один“. Собственно говоря, вся жизнь Перельмана, все его силы и способности были отданы тому, чтобы учение — познание великих сил природы — было сладостным, стало источником интеллектуальной и душевной радости».

Фабр, как и Перельман, всей практикой своей литературной работы доказывал, что учение не имеет права быть горьким.

«Дело, суть которого не понятна, вызывает омерзение», — писал он в «Агрономической химии».

И в томиках маленькой начальной энциклопедии и в обстоятельных учебных пособиях Фабр был мастером пропаганды научных знаний для аудитории разного возраста — от малышей до взрослых.

Фабр рассказывает просто о сложном; поднимаясь на вершину знаний, соразмеряет свои шаги с кругозором читателей, неустанно его расширяет, вовлекая учащегося в совместное с учащим решение проблемы.

Конечно, автор оставался сыном своего времени, книги его говорят о науке середины XIX века. Сегодня они во многом устарели, но не стареет искусство литератора. Некоторые книги об астрономии, о географии, о химии, алгебре звучали как торжественная поэма в прозе. Другие книги представляют сюжетный рассказ о блужданиях мысли на путях в неведомое, причем рассказ напряженный, запоминающийся, картинный, написанный человеком, знающим тех, для кого он пишет.

«Небо опрокинуто над нами днем, как грандиозный голубой свод, а ночью усыпано золотой пылью звезд… Но в свете всераскрывающей науки оно перестает быть тайной. Наука снимает завесу с неба, и тогда над нашей головой, под ногами, направо и налево, раскрывается необъятное пространство. Оно наполнено тысячами могучих солнц, которые глазу кажутся блестящими точками, рассеянными в пространстве по всем направлениям до бесконечности. Кто знает, где его середина и границы? Здесь в этой беспредельности плавает наша Земля, бесконечно малая в сравнении со вселенной, как пылинка в солнечном луче…»

Он находит неожиданные и убеждающие сравнения, точные образы, проливающие свет на темное и запутанное.

И не боится уронить авторитет науки улыбкой или шуткой.

В книге «Небо», отрывок из которой только что приведен, идет речь о вращении Земли вокруг Солнца. И вот как об этом рассказывается:

«Где-то я читал историю одного чудака, который все делал наоборот. Однажды ему понадобилось изжарить на вертеле жаворонка. Как вы думаете, что он затеял? Ручаюсь, не угадаете. Он построил сложную машину со всякими канатами, колесами, рычагами, гирями, и все это опускалось, поднималось, смещалось, двигалось, вращалось. Можно было оглохнуть, так скрипели все эти рычаги и колеса. Весь дом дрожал, когда опустившиеся гири грохали о пол. А для чего понадобилась ему вся эта машина? Чтобы вращать вертел с жаворонком над огнем? Нет, это было бы слишком просто и очевидно. Машина была нужна для того, чтобы вращать огонь вокруг жаворонка. Горящие поленья, очаг, труба — все, все вращалось вокруг этой крошечки-пташки.

Вы смеетесь над изобретением? Не торопитесь! Вы и сами не замечаете, что в своем представлении вертите поленья, и печь, и весь дом вокруг жаворонка. Разве вы не говорите, что Солнце садится и встает? Встает на востоке, поднимается к зениту, потом садится на западе. Вы полагаете, что весь небесный свод вращается вокруг Земли. Вот и выходит, что поленья и печь вращаются вокруг вертела с маленькой пичужкой — жаворонком…»

Вопреки широко распространенному мнению Фабр отнюдь не стремился подгонять изложение предмета к церковно-библейским трактовкам.

Откроем рассказ о рождении планеты Земля: «Океаны пламени, в котором бушуют тяжелые волны жидкого порфира, расплавленного гранита… Они медленно остывают, образуя гребни более жаркие, чем добела раскаленный металл в кузнице. Округляется масса, покрытая зияющими кратерами, вулканическими конусами, первыми складками обызвествленной коры. Затем плотные облака сумрачных паров, сплошь окутавших землю, постепенно начинают рассеиваться, разрываться. Начинается полоса невообразимо страшных гроз. Поверхность планеты покрывается странным морем, этаким минеральным пюре, которое затянуто хаосом дыма. Он медленно развеивается, открывая планету, местами покрытую почвой. На ней-то и появилась первая зелень…»

Нет, не о библейских днях творения говорил Фабр со своими слушателями в книгах о возникновении нашей планеты. И когда он рассказывал о «чудесах, сопровождающих рождение капли

воды», о химических элементах и их свойствах или о растениях, которые «из грязной жижи извлекают соки и аромат плодов» и в которых «плодотворный поток», «текучая плоть», «растительная кровь» путем медленных превращений созидают грубую древесину и «нежные пучки почечных лепестков-пеленок», он всюду прославлял разум, познающий законы мироздания.

В наиболее ответственных случаях, когда дело касалось учебников, издатель приставлял к Фабру неукоснительную методическую цензуру: чаще всего аббата Комба, он выступал как соавтор некоторых пособий по зоологии, географии, арифметике, химии, астрономии.

Книги, представлявшие диалог дядюшки Поля или тетушки Авроры со своими племянниками и племянницами на разные темы о науках или о домоводстве, вобрали в себя и отшлифованное бедностью уменье сводить концы с концами, когда они никак не сходятся. Почетное место отведено бытовой химии, рассмотрению в свете точной науки всевозможных домашних занятий — от получения щелока до приготовления крепкого бульона для больного. На наш современный взгляд эти произведения не столь ярки. Но как же велико было впечатление, произведенное на читателя отходом от формы сухого учебника! Почти полвека спустя десятки писателей-популяризаторов в разных французских изданиях все еще продолжали именовать себя «тетушками» и «дядюшками», а молодые слушатели и слушательницы просветительных курсов и кружков народных читален и аудиторий называли друг друга «кузинами» и «кузенами»; всех их породнило самообразование, школа дядюшки Поля и тетушки Авроры, школа Фабра.

Ученый, исследователь, преподаватель — для каждой профессии требуются свои данные. Фабр одинаково одержим жаждой знаний, не только их накопления, но и отдачи. Ему необходимо не только дознаваться, но и распространять добытое. Приобщать к науке широкие круги было для него такой властной потребностью, как и учиться самому. Одаренный счастливым талантом увлекательного рассказа о науке, он был неутомимо изобретательным экспериментатором и в совершенстве владел искусством «вызывать явление из его условий».

Добивался он этого самыми простыми подручными средствами.

Фабр любил повторять: опыты, которые можно проделать с помощью странички, вырванной из учебника физики или химии, часто способны донести до аудитории несравненно больше знаний, чем могут сказать строки текста, умещающиеся на этой страничке.

В игре Фабр видел одно из самых доходчивых средств обучения детей. Он был убежден, что «в любом самом наивном приборе, изготовленном ребенком, содержатся в зародыше важные истины, которые ребенку предстоит усвоить». Потому-то и считал он, что школа правильно руководимой игры может подчас открывать ребенку окно в мир «шире и надежнее, чем чтение».

В рукописях Фабра сохранилась папка под заглавием «Игры». Стоит привести некоторые отрывки из собранных здесь заметок.

«*Волчок*. Можно сделать из ржаного мякиша, проткнутого щепочкой. Если запустить его на странице букваря, он даст довольно точное представление о Земле, которая кажется неподвижной, но совершает круговое движение и одновременно вращается вокруг собственной оси. Наклеив на диск подобранные по цвету полоски бумаги, можно получить наглядное доказательство того, что белый цвет представляет производное сложения разных цветов».

«*Пушечка из бузины*, заряжаемая двумя пробками, из которых задняя толкает переднюю силой сжатого воздуха. Хорошо помогает разобраться в работе паровой машины, в баллистике…»

Так учитель, выступая в роли подсказчика и советчика, выводит ученика на широкую дорогу мысли и исканий. Мобилизует детскую восприимчивость и изобретательность.

На что пригодна абрикосовая косточка, предварительно продырявленная с двух сторон и опустошенная, с соломинами, вставленными в каждое отверстие; одна погружена в тарелку с водой, а из второй, соответственно подготовленной, изливается тоненькая струйка воды. Ведь это маленький гидравлический фонтан — дальний родич мельничного колеса, устроенного когда-то из соломин на прозрачном потоке, стекавшем со скалы в прудок, где Фабр пас своих утят.

Во время лекций по физике и химии Фабр не пользовался для опытов сложными приборами: одна их форма, находил он, затрудняет восприятие предмета. Баночка из-под горчицы, птичье перо, мундштук старой трубки — с этим уже можно начинать демонстрацию чудес. Примеры подсказывает сама жизнь. Вода в соломинку насасывается с усилием, оно помогает понять суть атмосферного давления. А влажный след дыхания на стеклянной плитке, разве это не начало разговора о метеорологии, о тумане, дожде, граде?.. Тема беседы — акустика. Тогда пригодятся металлические перо, линейка, натянутый шнурок, стакан, свисток… И физика и химия рассеяны повсюду, важно их увидеть и указать на них.

Не случайно в Лионском университете была защищена

докторская диссертация — о ней уже шла речь выше: анализ педагогических воззрений Фабра. Диссертация показала глубокую связь педагогических принципов Фабра с учениями классиков теории и практики преподавательского дела: Песталоцци, Фребеля, Монтессори.

С каким сокрушением писал современник Фабра русский педагог К. Д. Ушинский о пороках преподавания литературы во французской школе! «Они выучивают наизусть целые тирады, — писал Ушинский о школьниках, — вызубривают цитаты из Фенелона, Боссюета, Массильона, Монтескье, Бюффона, Лабрюера, Мальбранша, Арно и пишут сочинения фразами». Против этого бича школы — фразерства — и были направлены учебные пособия Фабра, ясные, четкие, деловые, и вся его система преподавания. Она опиралась на активное участие школьников в освоении знаний, совмещала учение с игрой, всемерно развивала самодеятельность учащихся в труде.

С разных точек зрения рассматривается в лионской диссертации и параллель: Фабр — Толстой как педагоги. И не случайно в яснополянской библиотеке учебник Фабра по арифметике сохранен со множеством пометок в тексте. В пору своего увлечения педагогикой Л. Н. Толстой не прошел мимо опыта Фабра и его творческих экспериментов, породивших «Книгу для чтения» или «Арифметику».

Созданных в Оранже научно-художественных и просветительских книг вполне достаточно, чтоб заполнить жизнь человека. Одно чтение корректур отнимало массу времени и сил, а споры и пререкания с методическими цензорами портили столько крови, что вконец отравляли существование. Между тем мы еще не упомянули здесь о главном и первом в ряду лучших произведений Фабра, о его «Песне песней», вернее, «Книге книг».

Подробнее о ней — в следующей главе.

Как ни трудно было выкраивать время для экскурсий, Фабр старался продолжать их. Он совершил еще несколько походов на Ванту, один — совместно с Миллем. Прощаясь, друзья уговорились о следующей встрече. Фабр обещал приехать в Авиньон.

— Вместе разберем ботанические трофеи!

В условленный день Фабр приехал утренним поездом и шел с вокзала к Миллю. По дороге он заглянул, как всегда, в книжную лавку посмотреть новинки. И здесь узнал, что Милль, вернувшись с экскурсии на Ванту, слег и, недолго поболев, скончался.

Фабр направился на кладбище к могиле, у которой он столько раз находил Милля. Теперь тут покоился и прах

«апостола рационализма», любившего свою Гарриет до последнего дыхания.

Вскоре на Фабра обрушился еще более жестокий удар: в 1879 году в возрасте 15 лет скончался его младший сын Жюль, юноша на редкость одаренный, удивительно богатый духовно, влюбленный в природу — в растения и насекомых. Знатоком их он был с детских лет. Фабр чуял в нем продолжателя своего дела. О поразительных способностях этого мальчика, о его наблюдательности и утонченности чувств отец сообщал друзьям не только с радостью, но и с некоторым страхом. «Ничто не ускользает от его почти ясновидящих глаз», — писал Фабр Делякуру. Он считал, что умственное развитие может отразиться на физическом состоянии. Чтоб отвратить беду, Фабр увез Жюля к друзьям в Дром. Здесь в сосновом и буковом лесу мальчик начал было поправляться, но ненадолго.

Подобно смерти Вани у Льва Толстого, это потеря не только ребенка, но духовного наследника. Жюля не мог заменить никто, не могло заменить ничто.

Чувство дома

Около четырех тысяч дней прожил Фабр в Оранже в доме за аллеей платанов, в кроне которых летом щелкали, щебетали, чирикали птицы и трещали цикады, а в дни зимнего ненастья шумел в голых ветвях ветер. Фабр создал здесь десятки книг, в общей сложности тысячи страниц, исписав своим колючим, тонким почерком сотни километров букв и слов, слитых в чуть выгнутые кверху короткие строки. Горы сырья перемолоты жерновами неустанно работающей мысли!

В 1878 году в Париж Делаграву отправлена объемистая рукопись, сборник очерков, с нарочито неученым, но и нисколько не завлекательным заглавием: «Сувенир энтомоложик» — «Энтомологические воспоминания». Первый том — итог двадцатипятилетних наблюдений над жуками навозниками, осами-парализаторами: различными церцерис, сфексами, аммофилой, бембексом и пчелой халикодомой. То была головная шеренга целой колонны диковинных созданий, о которых стал сообщать миру Фабр.

Почти тридцать лет выходили в свет тома «Воспоминаний». Эту эпопею, что завоевала для мысли новые континенты, открыла для философии и биологии новые горизонты, называли

«Одиссеей», «Илиадой», «Человеческой комедией», «Войной и миром» царства насекомых. Книгу ожидало самое завидное будущее, какое только возможно для книги: она и сегодня продолжает оставаться свежей и молодой, ее и сегодня читают с живым интересом и волнением.

В труде нет особой системы.

Автор может собрать в один том мемуары о жесткокрылых и прямокрылых, чешуекрылых и двукрылых. Может в следующем томе вернуться к уже сообщенному, добавить несколько новых подробностей. О некоторых героях он говорит на многих страницах, другим уделяет лишь несколько абзацев. Конечно, он пишет о насекомых, которых изучали и до него. Но всегда это рассказ о том, что видел, почувствовал и продумал он сам.

Хрестоматийная история о яблоке, упавшем с дерева и приведшем Ньютона к открытию закона всемирного тяготения, представляет, может быть, действительно только легенду. Но бесспорно, зрение гениев науки проблемно. Доказательством может служить и первый том «Сувенир». Чем дальше, тем ярче проявляется у Фабра способность извлекать из наблюдаемых фактов их биологическое содержание.

Так, вернувшись к изучению халикодом, Фабр, по существу, продолжает исследовать способность насекомых ориентироваться в пространстве, возвращаться к однажды избранному месту, к гнезду, к норке, приготовленной для потомства.

На берегу Аига обнаружено поселение халикодомы стенной. Пока пчела, прилетев с цветов, выгружает в земляном гнезде собранный корм, к входу приставлена полая стеклянная трубка. Покидая гнездо, халикодома попадает в прозрачную ловушку, из которой Фабр, не касаясь пленницы, чтобы не помять ее, переносит пчелу в бумажный патрон.

Для первого опыта он выловил всего двух пчел. Принеся их в Оранж — километра за четыре от их дома — и пометив каждую капелькой краски, выпустил на волю. Назавтра он нашел одну из меченых пчел на берегу Аига, откуда взял ее накануне. Гнездо было занято другой халикодомой, но она без сопротивления уступила место законной хозяйке, едва та появилась.

Вторая путешественница так и не добралась домой, и Фабр решил подвергнуть допросу большее число пчел. В опыт взята широко распространенная халикодома амбарная. Множество их обитает совсем рядом с домом Фабров. Фабр отбирает сорок пчел, уносит к Аигу и здесь выпускает. Тем временем дочь Аглая приставила лестницу к стене амбара, где под стрехой гнездятся халикодомы, и, взобравшись повыше, ждет их возвращения.

Намечено выяснить также скорость полета пчел, поэтому

сверены и одинаково поставлены часы — карманные (их взял с собой Фабр) и каминные (они стоят на виду у Аглаи).

Словно нарочно поднимается сильный встречный ветер. Если пчелы и полетят, то прижимаясь к земле, на бреющем полете, говорят теперь. Но с малой высоты обзор местности невозможен. Как пчелы будут ориентироваться?

Фабр подходит к дому, не особенно веря в успех.

— Без двадцати три прилетели две, и с обножкой! — закричала ему навстречу Аглая.

Он выпустил пчел ровно в два. Сорок минут потребовалось им, чтобы покрыть расстояние в четыре километра. И они еще успели собрать корм.

Стукнула калитка. К Фабрам заглянул их друг, судебный работник: у него поблизости дело о спорном заборе. Конец опыта проводится уже под наблюдением трех пар глаз, с участием представителя властей. И три пары глаз регистрируют возвращение еще трех халикодом с грузом корма.

День клонится к вечеру, остальных ждать бессмысленно. Раз халикодомы не добрались домой засветло, они заночуют в пути. Едва солнце опустилось, халикодомы прячутся где придется. Фабр знает об этом давно.

Утром проверка: вернулись пятнадцать!

Вернулись, несмотря на встречный ветер, несмотря на то, что летели из неизвестной им местности. Отыскать при этом гнездо — все равно что найти иголку, не в стоге даже, а в тысячах стогов на бескрайнем поле. Как же выяснить, что руководит пчелами в полете?

Один из читателей, правда, читатель незаурядный, познакомившись с отчетом Фабра об опыте, посоветовал вести его дальше.

«Разрешите внести одно предложение, касающееся вашего удивительного рассказа о том, как насекомые находят путь домой, — говорит в приписке к письму от 31 января 1880 года Чарлз Дарвин. — Раньше я собирался проделать такой опыт на голубях. Я относил бы насекомых в бумажных пакетах шагов на сто в направлении, противоположном тому, в котором они должны были быть первоначально отнесены. Но прежде чем вернуться, поместил бы насекомое в круглую коробку, которой можно придать быстрое вращение вначале в одном направлении, затем в другом. Это для того, чтобы полностью уничтожить у насекомых какое бы то ни было чувство времени и пространства. Иногда мне казалось, что животные могут чувствовать, каково было первоначальное направление, в котором их несли».

Три недели спустя — 20 февраля — Дарвин поясняет, что на мысль об эксперименте его «навело, помнится, чтение „Путешествий по Сибири“ Врангеля, где рассказано об удивительной способности обитателей Заполярья держаться верного направления в тумане, двигаясь среди ломающегося льда».

Через год — в письме от 21 января 1881 года — Дарвин напоминает Фабру о том же вопросе, подчеркивая значение его исследований для общей биологической теории.

На последнее письмо Фабр не успел ответить. В апреле 1882 года Дарвин умер. Фабр закончил эксперимент уже после кончины своего консультанта. Неоднократно и очень тщательно повторяет он опыт, но никакие вращения, никакие другие хитрости не могут дезориентировать пчел.

Так было с халикодомой амбарной и стенной, с осмией трехрогой, с церцерис бугорчатой. Так получалось и с муравьями-амазонками. И разве не с аналогичным явлением столкнулся Фабр, когда в дверь заскреблись коготки Желтка, вчера отданного знакомым на другой конец города, на другую сторону реки?

Насекомые летают, по сути, несколько недель в году. Когда они успевают изучить дорогу, какая сила приводит их к гнезду?

«Что это за чувство — не буду разбирать, удовлетворяясь тем, что содействовал доказательству его существования», — пишет Фабр. У халикодом есть, заключает он, какая-то незнакомая людям способность, некое специальное чувство направления.

С каким органом связано это чувство? Во всяком случае, не с одними антеннами. Фабр отрезал у халикодом усики частями, потом полностью, и многие тем не менее возвращались.

Он проверял память на место почти у каждого из перепончатокрылых, которых изучал.

Вход в подземелье бембекса безукоризненно замаскирован осыпающимся сверху песком, к тому же оса всеми шестью ножками тщательно заметает за собой следы. Однако бембекс так уверенно летит с добычей к месту, где находится личинка, будто ему подаются наводящие на цель пеленги.

«Бембекс парит над откосом, потом опускается медленно и осторожно… Если что-нибудь на месте изменилось, снова парит, снова поднимается вверх, снова снижается и вдруг быстро, как стрела, уносится, чтоб через несколько мгновений вернуться. Паря, он продолжает с высоты исследовать местность. Вертикальный спуск, опять осторожный и медленный, и, наконец, бембекс решительно кидается в точку, которая на взгляд человека ничем не отличается от песчаной местности вокруг. Теперь уже бембекс не колеблется, не ищет, не щупает. Прижимая к брюшку

дичь — муху, он лбом прокладывает себе дорогу, проникает в норку, и песок за его брюшком осыпается, делая место по-прежнему совершенно неопознаваемым».

А ведь бембекс сооружает несколько норок и в каждой откладывает яйцо. Оса способна запоминать несколько разных мест и посещает их по некоему графику.

Фабр прикрывает вход в гнездо плоским камнем. Бембекс спускается и, убедившись, что проникнуть сквозь камень невозможно, проскальзывает под него. Фабр сгоняет осу, но она возвращается. Натуралист посыпает участок толстым слоем навоза, бембекс прокладывает себе путь, разгребая навозную массу. Фабр кладет слой мха, не слишком толстый, но поливает его эфиром. Изменены и внешний вид участка и его запах. Бембекс, отпугиваемый парами эфира, какое-то время летает в растерянности, потом выбирает верную точку и пикирует на нее.

Теперь, прежде чем отпустить бембекса, Фабр отрезает у него усики. За это время местность над гнездом изменилась до неузнаваемости. Песок покрыт слоем камешков величиной с орех. Безусая оса возвращается и находит вход. Значит, есть еще нечто, кроме зрительных вех и обоняния, что указывает насекомому путь к гнездам с его личинками, говорит себе Фабр.

Аммофила, вырыв жилье для потомства, прикрывает вход в него кучкой земли или плоским камешком и улетает, кормится на цветках, где-то ночует, а назавтра с утра охотится в районе гнезда. Оставив на видном месте парализованную гусеницу, оса принимается искать норку. Когда это удается не сразу, она время от времени возвращается к гусенице, ощупывает ее, покусывает, «словно хочет убедиться, что это та самая, ее дичь», — пишет Фабр. Вводя в изложение сегодняшнюю терминологию, мы могли бы сказать: аммофила возвращается за подкреплением, за тем, чтоб получить дополнительный импульс, новый квант энергии, ведущей ее по рельсам материнского инстинкта.

Общественные осы также уверенно возвращаются в гнездо, пчелы — в улей, муравьи — в муравейник, но то постоянные жилища, путь к ним — у одних воздушный, у других наземный — протаптывается сотнями и тысячами кормильцев общины, может осваиваться постепенно. У аммофилы ничего подобного нет, ее жилище непостоянно, и все же она находит норку. В этом «маленьком подвиге топографической памяти» Фабр видит проявление какого-то особого чувства.

Конечно, такое указание нельзя поставить в один ряд с выводом Леверрье, который на основании своих расчетов определил необходимость существования еще одной планеты и даже указал «кончиком пера» ее место в солнечной системе.

Однако было бы несправедливо пройти мимо того, что Фабр, опираясь на наблюдения способности насекомых ориентироваться в пространстве, поставил новый вопрос, прорубил еще одно окно в неведомое, сумел кончиком пера обвести контуры открытого им «белого пятна». Такое открытие тоже представляет собой шаг вперед в науке.

Впоследствии французские энтомологи, разбирая описанные здесь опыты летного поведения перепончатокрылых, отметили, что у Фабра с увеличением расстояния от гнезда процент насекомых, возвращающихся домой, сокращается.

Однако и это уточнение не раскрывало основы самого приспособления, его механизма.

В чем могут они заключаться? Говоря об аммофиле, отыскивающей скрытого в земле озимого червя, Фабр писал:

«Мы склонны, иначе и быть не может, все сводить к себе, к своей мерке. Мы приписываем животным наши средства познания, и нам не приходит в голову, что они могут обладать иными средствами, совершенно не схожими с нашими. Достоверно ли известно, что живые существа познают окружающий их мир лишь через зрение, слух, вкус, обоняние и осязание? Наши научные богатства ничтожны по сравнению с тем, что скрывает в себе еще неизвестное нам. Новое чувство, может быть, то самое, которое связано с усиками аммофилы, открыло бы исследованиям целый неведомый пока мир».

Эти мысли, высказанные сто лет назад, звучат так, будто автору, пользуясь его словами, «достоверно известно», что в органах реагирования возбудимых систем насекомых будет открыто многое, чего он не знал. И действительно, сейчас достоверно известно, например, что цветовой спектр насекомые, как, впрочем, и многие другие животные, видят иным, нежели человек, что для некоторых насекомых на венчиках цветков или на крыльях бабочек, к примеру, существуют рисунки, скрытые от нашего взора; известно, что если через вживленные электроды включить в цепь с усилителем и осциллографом, к примеру, глаз таракана, который видит в инфракрасном свете, то с его помощью можно измерить температуру до сотых долей градуса; известно, что кузнечики реагируют на колебания с амплитудой, равной половине диаметра атома водорода (это значит, что какой-нибудь подмосковный кузнечик способен, как прибор сейсмической станции, воспринять удары землетрясения, и даже не особенно сильного, на островах Тихого океана); известно, что у некоторых насекомых существует комплексное, слитное ощущение «формозапаха»; известно, что есть ночные бабочки, оснащенные приспособлениями для улавливания ультразвука, испускаемого в

полете летучей мышью; что тончайшие чувствительные волоски в сочленениях на теле муравья служат ему для ориентировки в пространстве, заменяя органы, воспринимающие у позвоночных направление силы тяжести; известно, что лапка пчелы или шмеля — это и орган вкуса: вступив в каплю сиропа, насекомое сразу выпрямляет хоботок, принимается сосать сладкое.

Равным образом доказано, что у многих животных и насекомых, а среди них в первую очередь у перепончатокрылых, имеется способность воспринимать в полете не только наземные дорожные вехи, но и такие астрономические ориентиры, как местоположение Солнца или степень поляризованности света на разных участках неба. Мы вправе, таким образом, считать, что Фабр не только предвидел существование у перепончатокрылых неведомой людям способности, но и приглашал искать ее.

Сколько таких наводящих приглашений разбросано в работах Фабра для деятелей всех разделов биологии, особенно для генетиков, биофизиков, биохимиков, специалистов по бионике!

Стоит добавить, что именно соображения Фабра о существовании у насекомых неведомых человеку способностей, «чувства направления», «чувства дома» и т. п., как и многочисленные признания: «не знаю», «не известно», и шире — «не надеюсь узнать», даже «вряд ли узнаем», ставили ему в свое время чаще всего в вину, рассматривали как свидетельство спиритуалистического склада его мышления. Сейчас мы убеждаемся, насколько незаслуженны подобные упреки, тем более что сплошь и рядом, обозначив границы разведанного, Фабр тут же призывает к штурму непознанного, подчеркивает недостаточность арсенала науки. Ей, пишет он, для решения каждого вопроса «необходимо множество хорошо установленных данных. А энтомология, несмотря на свою скромную область, может внести сюда много ценного».

Новости, поступающие в наши дни из энтомологических лабораторий и институтов обоих полушарий, подтверждают обоснованность ожиданий Фабра.

Как бы агностически ни звучали некоторые размышления автора «Сувенир», реальное содержание его работ пропитано научным оптимизмом. Этот контраст напоминает подчас воды желтой Роны и голубой Дюранс, видимых с высоты Иссартского леса: две реки, не смешиваясь, текут в одном русле.

Сложнее отношение Фабра к эволюционной теории, к самому Дарвину, заочно участвовавшему в исследованиях «чувства дома».

Дарвинизм был, как известно, принят не сразу, не всеми, не везде. Когда в 1872 году во Французскую академию

баллотировалась кандидатура автора теории естественного отбора, большинство, приведем здесь слова известного литератора-марксиста Поля Лафарга, «старые мумифицированные академики во главе с восьмидесятилетним Флурансом», отказалось голосовать за творца «праздных гипотез». Против Дарвина и его теории выступали не только реакционеры вроде знакомого нам архиепископа Дюпанлу, яростного противника эмансипации и светского образования женщин. Не приняли дарвинизма и многие ученые, даже такие, как Луи Пастер, Клод Бернар.

Сейчас это кажется невероятным, но страсти, бушевавшие во второй половине XIX века вокруг Дарвина и его учения, накалялись в Европе настолько, что дарвиноборцы отчеканили даже медаль, на которой их противник изображен был с ослиными ушами. Этот металлический памятник выразительно говорит о том, какие дикие формы принимала «научная полемика». Не без основания писал Дарвин, что трудно жить, будучи ненавидимым в такой степени.

Фабр никогда и ни в чем не поддерживал оголтелых, бешеных антидарвинистов и, не принимая учения, глубоко уважал самого Дарвина, посылал ему в Даун свои книги. Фабр, сообщает его биограф Легро, изучал английский язык, чтоб читать Дарвина в оригинале, а в томе «Сувенир», вышедшем после кончины Дарвина, написал: «Хотя факты, найденные мною, и удаляли меня от его теорий, тем не менее я отношусь к нему с глубоким благоговением, восхищаюсь благородством его натуры, искренностью его, как ученого».

Что же удаляло Фабра от теории Дарвина? Об этом отчасти говорилось в главе «Маршруты восхождения»; для Фабра нет идущих от вида к виду усложнений и усовершенствований инстинкта. Ведь они не нанизаны на ось времени, а существуют в одной исторической эпохе.

Мало того, и в морфологии есть камни преткновения.

Чем, например, объяснить особое, не встречающееся у прочих жуков, строение передних ножек скарабея? В остальном он похож на других, организован по тому же плану, снабжен теми же органами.

Чем объяснить сходство крупной мухи волюцеллы с осами, со шмелями. По дарвинизму, такое «подражание» облегчает маскировку, помогает паразиту проникать в гнездо хозяина, кормиться здесь на его счет. Но волюцелла только на первый взгляд «хитрит и для обмана надевает костюм своей жертвы». Хоть волюцелла и сеет яйца в гнезда ос и шмелей, но она не враг им. Личинки мухи ползают по сотам, по дну гнезда, всовывают

головы в ячеи, поедают отбросы и даже, вызывая у взрослых хозяев выделение жидких отбросов, поглощают их. В общем они служат здесь няньками, а при случае подтирают хозяевам задки. Это не паразитизм, а, наоборот, симбиоз, взаимовыгодное сожительство. Но в таком случае откуда сходство волюцеллы с дающими ей кров и корм хозяевами гнезда?

Каждый такой пример утверждал Фабра в его подкрепленном влиянием Милля скептическом отношении к широким теориям вообще, особенно когда они не могут быть подвергнуты личной практической проверке.

В данном случае пока он не видит, как согласовать факты с концепцией Дарвина, он отказывается ее признавать. Но и это не все. Предпринятый уже в наше время анализ происхождения биологических теорий приводит к выводу, что многие из них помечены родимыми пятнами, несут на себе нестираемый отпечаток отличий тех конкретных объектов, которые глубже всего изучены, лучше всего известны исследователю-теоретику.

Фабр изучал насекомых и пауков, представляющих чистое, не измененное никакой искусственной селекцией произведение естественного отбора. Фабр работал с видами, у которых потомство завершает развитие уже без родителей, после их кончины, следовательно, не имея возможности ничего непосредственно у них перенять, ничему непосредственно у них научиться. Перед ними нет образца и примера поведения совершенной формы — имаго, точно так же, как нет такого примера перед личинкой или гусеницей. Нагляднее и концентрированнее, чем во многих других областях органического мира, здесь выражено в поведении инстинктивное. К тому же насекомые, подробнее всего изученные Фабром, проходят от яйца до законченной формы простой, сложный или даже сверхсложный метаморфоз, цикл превращений, каждый раз резко меняющих строение тела, физиологию, повадки. Постепенность и преемственность изменений в развитии насекомого особенно глубоко скрыта, затенена, а при смене поколений чаще всего бросается в глаза разорванность, скачкообразность процесса.

Фабр полемизирует с «трансформизмом» в наблюдениях, в анализе, в эксперименте.

Его полемические выводы временами запальчивы, но многие критические стрелы нацелены довольно точно. Поэтому-то Дарвин пристально следит за исследованиями французского энтомолога. Получив от него первый том «Энтомологических воспоминаний», он внимательно читает книгу, выписывает на отдельном листке особенно важные для него факты и мысли,

благодарит автора: «Не думаю, чтоб в Европе нашелся кто-нибудь, кого ваши работы интересуют больше, чем меня».

Дарвин, как и его соотечественник Милль, задолго до других разглядел в Фабре великолепного, «неподражаемого наблюдателя» и хорошо знал его публикации. В «Образовании растительного слоя земли и деятельности дождевых червей» мы находим ссылку на данные Фабра о сфексах. Биология церцерис рассматривается в книге «Происхождение человека». Примеры из фабровских работ использованы Дарвином и в книге «О выражении ощущений у человека и животных». Ряд ссылок имеется в «Происхождении видов», здесь выделена целая глава — «Инстинкт», правда сильно сокращенная. Значительная часть первоначального, несравненно более полного ее варианта напечатана приложением к написанной по совету Дарвина книге Д. Роменса «Разум животных».

В «Происхождении видов» (с этого, собственно, и начинается глава об инстинкте) Дарвин как бы сам признает правомерным фабровский скепсис в отношении эволюционной теории. «Нет никакого сомнения, — пишет он, — что многие инстинкты, трудно поддающиеся объяснению, могут быть противопоставлены теории естественного отбора. Это или такие случаи, когда мы не можем проследить, как развился инстинкт, или такие, когда неизвестны переходные ступени постепенного осложнения инстинкта, или такие, когда роль инстинкта так незначительна, что едва ли он мог развиться под влиянием естественного отбора, или, наконец, случаи почти тождественных инстинктов у животных, стоящих столь далеко друг от друга в системе природы, что мы не можем объяснить сходства их наследственной передачей от общего предка и, следовательно, должны признать, что они были приобретены независимо один от другого, под влиянием естественного отбора».

Позже в статье «Происхождение некоторых инстинктов» (журнал «Нейчюр» от 3 апреля 1873 года) Дарвин повторил, что в значительном числе случаев мы действительно не можем понять, каким образом сложились некоторые инстинкты.

Вместе с тем 31 января 1880 года Дарвин писал Фабру: «Жаль, что вы так решительно настроены против теории происхождения. Я нахожу, что выяснение истории любой структуры или инстинкта очень способствует наблюдению. И поскольку вы великолепный наблюдатель, это открыло бы вам новые моменты. Если бы мне пришлось писать об эволюции инстинктов, я широко воспользовался бы некоторыми фактами из числа приводимых вами».

В обстоятельном письме от 16 апреля 1881 года Дарвин как

бы советовал Роменсу: «Не знаю, будете ли вы рассматривать в вашей книге об уме животных какие-либо из более сложных и удивительных инстинктов. Это труд неблагодарный, ибо не может быть ископаемых инстинктов, и руководствоваться нужно только степенью развития их у других членов того же порядка и чистой вероятностью.

Но если вы будете касаться их (а этого, быть может, будут ожидать от вас), я думаю, вы не найдете лучшего примера, чем песчаные осы, которые парализуют свою добычу, как когда-то описал Фабр в своей поразительной статье в „Анналь де сианс натюрель“ и позднее в расширенном виде в своих превосходных „Сувенир энтомоложик“».

Итак, сознавая всю трудность проблемы, Дарвин вопреки мнению своего критика находил, что труды Фабра полезны для утверждения идей эволюционизма.

И сам Фабр, подчеркнем это трижды, не всегда и не во всем был таким антидарвинистом, каким принято его изображать и каким он себя выставлял в своих тирадах и филиппиках на страницах «Сувенир».

Фабр отдавал должное искусственному отбору. В одной из популярных книг он говорит о предках культурных растений, возделываемых ныне человеком: о крохотном несъедобном клубне дикого картофеля из Чили; о дикой капусте, «невысоком, редколистном, растрепанном, ярко-зеленом, едком на вкус и к тому же дурно пахнущем» дичке; он пишет, что пшеница когда-то была «жалким, никому не ведомым злаком»; груша — кустарником «с колючками и отвратительными, набивающими оскомину плодами», сельдерей — зеленым, жестким растением, но оно всячески умягчалось, бледнело, становилось слаще и, наконец, перестало выделять сок, делавший его несъедобным.

Выявляя шаблонность, консервативность инстинкта, его неспособность перестраиваться, Фабр, мы уже говорили, педантично отмечает всевозможные формы изменчивости и научения в образе жизни и повадках насекомых и рассматривает такие факты, как кирпичи для построения новой концепции, более широкой, более близкой к действительности, более близкой, добавим мы сейчас, и к воззрениям Дарвина.

Пора, наконец, сказать и о том, что взгляды Фабра — это малоизвестно — не оставались всю жизнь неизменными. Если в первых томах «Сувенир» автор их настроен против дарвинизма очень решительно, то в последнем, десятом, томе, анализируя некоторые морфологические явления, он пишет, что в них можно видеть «если не воспоминание, то, может быть, обещание,

медленную, постепенную подготовку новых органов, которые последующие века отчеканят в окончательную форму». По этому поводу и замечает Фабр, что «настоящее нам показывает, как готовится будущее».

И даже в связи с так смутившим его уродством передних ножек священного скарабея, не находящим рационального объяснения, Фабр написал в десятом томе, что общая история вида, будь она создана, история миграций насекомого и его изменений, возможно, осветила бы происхождение этих странных болезней, где временных, а где постоянных, обнаружив некие порождающие их условия в далеких странах.

Похоже, здесь Фабр использовал совет, поданный ему Дарвином в письме от 31 января 1880 года.

Но вернемся к вопросу о чувстве дома, представляющем важное слагаемое материнского инстинкта. В известных своих чтениях «Исторический метод в биологии» К. А. Тимирязев приводит мысли Сутерланда, автора книги «Происхождение и развитие нравственного инстинкта».

«Только по мере развития материнского инстинкта или вообще заботы о будущем поколения сокращается и численность рождений, что дает нам объективную числовую меру полезности при первом же появлении самого идеального из инстинктов — чувства матери». — подчеркивает Сутерланд. Он доказывает, что «каждый шаг в развитии родительского ухода сопровождается уменьшением требуемого для сохранения рода числа детенышей». У птиц, в частности, «самые глупые, не вьющие гнезд, не проявляющие никаких родительских инстинктов», ежегодно сносят в среднем 12,5 яйца. С возрастанием же этих инстинктов число сносимых яиц снижается до 7,6 и 4,6. У млекопитающих это число падает до 3,2, так что, наконец, обезьяны с одним детенышем могут так же хорошо поддерживать свой вид, как рыбы с их миллионами зародышей. В понимании явления, отмечает Тимирязев, ведущие идеи Дарвина перекликаются с верными мыслями Милля, высказанными в книге «Утилитарианизм».

Таким образом, изучая «чувство дома» и заботу о потомстве и проиллюстрировав на примере насекомых тенденцию, выявленную Сутерландом, Фабр протянул руку и своему английскому другу Миллю и своему английскому оппоненту Дарвину.

Многолетние и многообъемлющие исследования «чувства дома» были и многообъектными. Фабр обращался к десяткам

видов насекомых, а это, в свою очередь, рождало новые вопросы и идеи. Так получилось и с земляными пчелами галиктами.

У подножья каменной ограды, окружающей двор в Оранже, с южной стороны тянется дорожка, обросшая пыреем. Прямые и отраженные от стен солнечные лучи превращают ее в уголок настоящих тропиков.

Здесь, жмурясь, дремлют после обеда разомлевшие коты, и ребята возятся с дворовым псом Буллем. Здесь в тени платанов косари оттачивают лезвия кос, а в пору жатвы по тропинке спешат жнецы и сборщицы колосьев.

Оживленное движение должно бы сделать это место непригодным для пчел, но их тут уйма. Поселение галикт цилиндрических огромное. У галикт дочери устраиваются в земле вблизи материнского гнезда, и колония с каждым годом растет.

Пчелы просыпаются в начале мая. Ранним утром, когда степь еще влажна от росы, крылатые землекопы уже вылетают за нектаром и пыльцой. Чем жарче день, тем с большим усердием пчелы сносят корм в ячейки.

Следить за вылетами и возвращениями обитателей колонии не сложно: хватило б выдержки регистрировать их, отмечать длительность полета каждой пчелы и ее пребывание дома. Но чего-чего, а терпения у Фабра достаточно! Он считает его высшей добродетелью и закаляет себя в ней.

Если часть гнезд время от времени выкапывать, можно проверять и состояние молоди, регистрировать фазы ее развития. И тут-то Фабр подмечает: галикта цилиндрическая чередует поколения, то есть в один сезон производит потомство только одного пола, а в другой — обоих. «За исключением растительных вшей или афид, тлей, столь интересных по своему двоякому способу размножения, галикты, на мой взгляд, — заключил Фабр, — представляют первый пример такого рода насекомых, у которых в течение года чередуются два поколения: однополое и двуполое». Далее Фабр, как бы размышляя вслух, добавляет, что и другим перепончатокрылым, подобно галикте кладущим яйца два или несколько раз в год, может быть присущ подобный способ размножения. Так, не дав много для исследования «чувства дома», галикты позволили сделать еще одно приглашение к открытию. Стоит сказать, что предвидение Фабра оправдалось. Чередование поколений действительно было вскоре открыто у орехотворок и наездников, тоже относящихся к перепончатокрылым.

Галиктами Фабр занялся весной 1878 года, а в конце осени того же года тяжело заболел. «Вот уже 20 дней я прикован и

постели жестокой болезнью. Воспаление легких привело меня на край могилы», — диктует он письмо Делякуру. Зима оказалась тяжелой. Даже в феврале 1879 года снег покрывал землю почти две недели. Фабр не поднимался. Прощаясь с жизнью, он захотел еще раз повидать своих любимцев. Вскоре Эмиль принес к постели отца ком мерзлой земли. Она была пропитана инеем. Земля, но не гнездо: лак, тончайшим слоем покрывающий изнутри ячеи, предохранил их от сырости, и вскоре отогревшиеся, очнувшиеся галикты расползлись по одеялу. Фабр не шевелился, но черные глаза его с живой радостью следили за просыпающейся жизнью.

…Наступил новый сезон, пора было готовиться к новым работам. Но тут хозяин дома, в котором жили Фабры, спилил все платаны аллеи, что вела к входу. Исчезли светлые колонны стволов, стрельчатые своды крон, бледно-зеленые широкие листья и солнечные зайчики. Исчезли птицы, которые здесь гнездились, умолкли цикады. Белые, живые срезы пней, еще сочащиеся, смотрели в небо с внезапно опустевшей поляны. Для какой цели это сделано? Во имя чего?

Пока дровосеки разделывали стволы, пилили ветви и рубили сучья, Фабр, еще не совсем оправившийся после болезни, вне себя при виде этого преступления против природы, говорил жене:

— Мы не бембексы! Давайте складывать вещи! Это больше не наш дом! Съедем куда угодно!

Глава V
Третья жизнь

Крик лягушек, жужжание ос,
Треск кобылок…
Все в гармонию жизни слилось.

Н. А. Некрасов,
«Надрывается сердце от муки»

Фабра надо прочесть каждому, так же как один раз в жизни надо заглянуть в микроскоп и поглядеть в телескоп на звезды.

В. Песков, «Лесной человек»

Это один из тех французов, которые меня больше всего восхищают. Я очарован страстным терпением его гениальных наблюдений, равно как и его творениями.

Ромен Роллан, Письмо к Легро, 1910 г.

Час — шестьдесят минут

Решено! С него довольно сюрприза, полученного от богомольных домовладелиц в Авиньоне, и этого, второго, преподнесенного бурбоном, спилившим аллею платанов. Одно желание — уехать в деревню и там дожить остаток дней! От ворот дома в Оранже хорошо видны были сериньянские холмы, но думал ли Фабр, что именно среди них придется ему искать приют?

Почти десять лет прошло с тех пор, как древняя папская столица изрыгнула непокорного. Отлученный от лицея и

кафедры, затравленный противниками светского образования и эмансипации, он покинул Авиньон. Разгромлены курсы, закрыты народные лектории, погасли ализариновые миражи. В те мрачные дни он говорил себе:

— Отступаю, но не разбит. Сменим рычаги, раз старые больше не годятся. Совсем оторваться от сизифовой глыбы нельзя, ее придется ворочать и дальше. Но то, в чем нам отказали лицей и чан с мареной, попробуем извлечь из чернильницы. *Лаборемус*!

Если бы потребовалось выразить одним словом смысл русского «Терпенье и труд все перетрут», наверно, очень подошло бы латинское «лаборемус» — за дело, давайте работать, будем трудиться! — вот что обозначает не существующая в нашем языке форма, побудительный залог глагола «лабораре» — работать.

Не раз повторяется в «Сувенир» этот однословный призыв, обращенный к самому себе; девиз, который мог бы стать эпиграфом ко всей жизни Фабра.

Сейчас, покидая город и увозя семью в деревушку километрах в десяти от Оранжа, Фабр вправе считать, что не отступает, а, наоборот, приближается к цели. Чернильница не обманула его ожиданий, дала рабу возможность выкупить себя из неволи. В Сериньяне продается давно заброшенный дом: семья получит надежный кров, отсюда их не выселит никакой судебный пристав, а на участке он создаст заповедник, лабораторию живой энтомологии. «Лаборатория» — производное от «лабораре». Как же не повторить: лаборемус!

Участок на окраине Сериньяна невелик, меньше гектара, и каменист сверх всякой меры. В Провансе подобные каменистые пустыри, пустыни, пустоши называют *гармас*. Так и стали именоваться дом и обе лаборатории Фабра — одна под крышей, другая на открытом воздухе. Под провансальским именем — Гармас — они известны теперь во всем мире историкам биологии, энтомологам, любителям природы.

Первое, с чего начал Фабр, — окружил участок стеной из крупных, хорошо сцементированных камней. Зачем так надежно огораживать пустошь? Когда полвека спустя академик Эжен Бувье приехал в заповедник, только что приобретенный государством в ознаменование столетия со дня рождения Фабра (Гармас постановлением Национального собрания был передан в ведение парижского Музея естественной истории), он особо отметил значение высокого сплошного забора. Это лучшая защита растительности и ее шестиногих обитателей от холодных ветров. В детстве Фабр видел, как черный борей Страбона опрокидывал тяжелые повозки. Теперь, в век железных дорог,

средиземноморский бора переворачивает вагоны. Однако, возводя стену, которая оказалась самым дорогостоящим сооружением в Гармасе, Фабр думал не только о ветре и уж, конечно, не о воре.

Сюда не сунут нос ханжи, мещане и просто зеваки. И тем и другим до всего дело! От скуки и для баловства они и сами не прочь принять иногда участие в детских забавах седеющего чудака, но и помешать ему тоже не грех. Сколько лет он, стиснув зубы, сносил советы, хихиканье, сплетни!

— Хорошо ли? Лежите на солнцепеке у грязной канавы. Вам не пристало…

— На плетеном стульчике перед остролистом час сидит, два сидит, глаз не сводит… Будто дела настоящего нет!

— Дохлую жабу нашел и тоже интересуется. В ней же ничего нужного не может быть. Гадость одна!

Не удивительно, что, переезжая в Гармас, Фабр чувствовал себя победителем, хотя ему скоро должно было исполниться 60 — возраст, когда другие уходят от дел, живут в покое на пенсию или на проценты с капитала. Он до пенсии не дослужил, а капитал истратил на пустырь…

Сколько лет мечтал он о таком клочке земли — пусть бросовом и выжженном солнцем! Тут можно намечать планы наблюдений и опытов, в любой час и день следить за всем, что тебя интересует.

Правда, счастье пришло поздновато. Похоже, плод поднесен тому, кто начал терять зубы. Но что делать? Не изменили б только силы…

Перешагнуть порог и сразу очутиться лицом к лицу со своими давними и новыми знакомыми — без свидетелей, без помех, способных вывести из терпения ангела. Уже не обязательны далекие экскурсии, поглощающие время, не нужны утомительные и все более трудные с годами переходы. А главное, нигде вокруг нет такого количества разнообразных насекомых!

Вдоль и поперек исхожены правый и левый берега Роны, Дюранс, Аига, тропы Ванту, но никогда еще не встречался ему подобный участок. Можно подумать, сюда сбегаются, слетаются и сползаются все насекомые и пауки Прованса.

— Как вам удается добывать каждый раз столько редкостей? — дивится профессор Перез, которому Фабр посылает в Бордо свои трофеи для определения.

А секрет лишь в разнообразии и обилии дикой растительности, оставленной как заповедник для наблюдений. Среди зарослей пырея — французы называют его собачьим зубом, осота и татарника возвышается ощетинившийся шипами чертополох, свирепый испанский сколим с иглами, как гвозди,

копьевидный волчец, схваченный цепкой ежевикой.

Фабр намерен как можно подробнее допрашивать своих тварюшек и, конечно, рассказывать об этих беседах. В полный голос излагая свое кредо, Фабр поясняет: его отчеты не для одних ученых и философов, но вместе с тем, и даже преимущественно, для молодежи. Он хотел бы заставить полюбить естественную историю, которую так усердно выхолащивают унылые школьные программы.

Главу о Гармасе — ею открывается второй том «Сувенир» — Фабр закончил так:

«На берегах океанов устраивают с большими затратами станции и лаборатории, где анатомируют маленьких морских животных. Запасаются могущественными микроскопами, деликатными инструментам для разрезов, снарядами для ловли, лодками, аквариями — всем, чтобы узнать, как совершается сегментация у зародышей кольчатого червя. Но при этом игнорируют маленькое животное, которое живет на земле в постоянном общении с нами, которое доставляет ценные документы общей психологии, которое, наконец, слишком часто вредит нашему благосостоянию, уничтожая наши жатвы. Когда же, наконец, появится энтомологическая станция с лабораторией, в которой изучалось бы не убитое насекомое, вымоченное в спирту или высохшее на булавке, а живое, лаборатория, изучающая нравы, образ жизни, борьбу, размножение в том маленьком мире, с которым сельское хозяйство и философия имеют серьезные счеты? Знать основательно историю врага наших виноградников, быть может, не менее важно, чем знать, как оканчиваются нервные нити усоногого. Установить в опытах границу между разумом и инстинктом, доказать с помощью сравнительного изучения фактов, есть ли разум человеческий способность подвижная или нет, — все это могло бы иметь перевес над важностью вопроса о числе колец в антеннах ракообразного. Для решения таких громадных вопросов нужна целая армия работников… С помощью черпаков или драг исследованы глубины моря; но земля, которую мы попираем ногами, остается неизвестною. В ожидании, пока переменится мода, я открываю в моем пустыре лабораторию живой энтомологии, и эта лаборатория не будет стоить ни гроша кошельку налогоплательщика…»

В этом отрывке из очерка, опубликованного в 1882 году, позиция Фабра выступает особенно контрастно: глубина прозрений и очевидная односторонность, подлинно неуязвимые доводы и неоправданное противопоставление задач, стоящих перед разными областями науки. Однако тот, кому известны

подробности последних лет жизни ученого, услышит в словах Фабра тревогу и муки ревности.

Конечно, Фабр не мог знать, что произойдет через 30, точнее, через 28 лет. Но по иронии судьбы открытие в апреле 1910 года именно такого роскошного океанографического института отравило один из самых праздничных дней его жизни.

…На окраине Сериньяна, там, где кончается главная улица, появились новые обитатели. Со скрипом открывается калитка, и в глубине виден дом с крашеными ставнями-жалюзи. Полоса высоких кипарисов вдоль забора с северной стороны второй, вечнозеленой стеной прикрывает заповедный участок и дом от неистовств мистраля. За калиткой аллея сирени. Со временем кусты поднимутся, переплетутся ветвями, начнут бросать тень, которой в первые годы в Гармасе не было. На площадке цветут герань и ричардия, тесными рядами встали горшки с тепличными растениями.

Перед домом бассейн, собирающий со всей округи лягушек. Они орут день и ночь, но, странное дело, не терпящий шума Фабр к лягушачьим хоралам даже снисходителен.

Чего не хватало новому сериньянцу, так это обыкновенного болота, где можно бы наблюдать жизнь и превращения водных насекомых. Владелец Гармаса попросил кузнеца отковать из железных реек рамку. Сельский столяр поставил ее на прочную дощатую основу, в дно, выложенное гудронированным толем, врезал кран, стенки застеклил, а потом все прикрыл съемным коробом.

Стеклянный ящик неказист, но ведь это не аквариум с золотыми рыбками и вуалехвостами для украшения гостиной. Куб наполнен водой, в нее опущены куски пористого туфа, собранные возле источника. Эти миниатюрные подобия коралловой массы покрыты зеленым бархатом водорослей. Растения вырабатывают животворный газ, и, когда лучи солнца просвечивают воду, кажется, на дне лежит подушка, в которую вколоты тысячи булавок с бриллиантовыми головками. Отрываясь от нее, вверх то и дело всплывают отдельные алмазы, а на их месте тотчас возникают новые. Словно беспрерывный фейерверк поднимается со дна.

Работа зеленых водорослей, выделяющих на свету кислород, известна давно, но наблюдать это будничное чудо никогда не надоест.

Конечно, 50-литровое гармасовское болото не чета тому, сен-леонскому, где Фабр впервые почувствовал себя натуралистом. Подобные не встречаются в жизни дважды! Модель прудка на

подоконнике кабинета Фабра нужна для воспитания личинок веснянки, развивающихся в воде.

В доме есть комната с всегда открытыми окнами — тоже часть лаборатории, сюда свободно влетают насекомые. На столе — он занимает чуть не все помещение — ряды стаканов, коробки под стеклом или сеткой. В одних кладки яиц, в других гусеницы, личинки, куколки… Десятки, сотни разных видов.

Как важно, что все они под рукой!

«Когда химик зрело обдумал план своих изысканий, тогда он в наиболее удобный момент смешивает свои реактивы и разводит огонь под ретортой. Он распоряжается временем, выбирает место и определяет обстоятельства. Выбрав устраивающий его час, он уединяется в своей лаборатории, куда никто не придет отвлекать его от занятий. Он сам создает условия опыта, которые подсказывает ему размышление. Он исследует тайны мертвой природы.

Тайны живой природы, не анатомического строения, но явлений жизни, в особенности инстинкт, представляют для наблюдателя условия, деликатные и совершенно иной трудности. Здесь не только не можешь располагать своим временем, но, напротив, являешься рабом времени года, дня, часа, даже минуты. Если представляется удобный случай, надо хватать его на лету, во второй раз его может не быть очень долго. Надо наскоро импровизировать свой маленький материал для опытов, комбинировать планы, обдумывать тактику, изобретать разные хитрости. Хорошо еще, если вдохновение поможет извлечь побольше пользы от представившегося случая. Да и случай такой представляется только тому, кто его постоянно ищет».

Сменив форменный сюртук на блузу крестьянина, а в еще лоснящийся цилиндр насыпав земли и посадив базилик, Фабр погружен в терпеливое изучение насекомых, ведет его во множестве параллельных и пересекающихся направлений, следит за множеством объектов; внешняя его биография кончилась.

…Фабра занимают жуки трубковерты, в частности тополевый. Спина жука отливает золотом и медью, брюшко ярко, как индиго. В любой частности приготовления трубковертом зеленых листовых колбасок сквозит совершенство, каждая деталь дает повод задуматься над общим законом.

Молодой сочный лист не сворачивается в трубочку: слишком упруг. Трубковерт начинает с того, что своим длинным хоботком пробуравливает черешок листа, образует в нем ранку. Это напоминает укол жала осы в парализуемую дичь. Трубковерт будто парализует лист, не умерщвляя его: он прокалывает черешок, через который идет питание зеленой пластинки. Теперь

соков поступает меньше, и лист начинает становиться мягче. Можно подумать, жучок этого и ждал.

Лист тополя — неправильный ромб. Трубковерт пристраивается на верхней стороне, как диктуют неизвестные жуку законы механики: верхняя, податливая сторона листа загибается под жуком внутрь свитка, а нижняя, расчаленная толстыми жилками и потому упругая, попадает наружу. Так работа идет с наименьшей затратой сил. Оседлав лист и вцепившись в него тремя ножками на трубке и противоположными тремя ножками на свободной части, жучок, попеременно опираясь то на один, то на второй ряд ножек, все больше скручивает зеленую пластинку.

Пока пять лапок крепко держатся за лист, шестая освобождается, но как осторожно! Часовая стрелка движется быстрее. Когда, наконец, лист свернут полностью, жук концом хоботка, расширяющимся лопаточкой, проводит по краю, прижимая точку за точкой, словно портной утюгом разглаживает шов. Железки по краю листа выделяют липкий сок, и трубка склеивается. Тут действует не одна механика, а и анатомия и физиология.

Чтоб смотать зеленую пластинку листа в туго свернутый и нераскручивающийся свиток — туда откладываются яички, трубковерту требуется примерно день. Чтоб разобраться в подробностях возникновения зеленых листовых колбасок на ветках деревьев, Фабру понадобилось много дней и многолетнее упорство.

После короткого перерыва жучок принимается за второй лист, за ночь он едва успевает с ним управиться. Две трубочки в сутки — и то, если обстоятельства не препятствуют.

Препятствия и отклонения от оптимума тоже прослежены до мелочей, минута за минутой, секунда за секундой.

Так же секунда за секундой, минута за минутой проанализированы: линька личинок, вскрытие коконов, введение внутрь тростинки яйцеклада перепончатокрылым наездником, бурение гнездового канала в стебле ежевики разными насекомыми, список их насчитывает у Фабра до полусотни видов…

О каждом мгновении жизни, о каждом движении, из которых складываются действия или изменение состояния, Фабр рассказывает точно и не бесстрастно.

«Я видел сейчас нечто трогательное, мне удалось проследить выход взрослого насекомого из чехла нимфы. Это великолепно. Предмет моих наблюдений, наиболее крупная из наших саранчовых — египетская кобылка, бывает длиною в палец и

часто встречается в наших виноградниках в сентябре, во время сбора винограда», — так начинается описание линьки кобылки.

Почувствовав себя созревшей для превращения, кобылка прикрепляется лапками задних и средних ножек к какой-нибудь опоре и повисает вниз головой, скрестив на груди передние ножки. Треугольные зачатки надкрыльев отвисают и расходятся, а из-под них показываются и также расходятся зачатки крыльев.

Тут разрывается старая шкурка нимфы. Сзади переднеспинки и на затылке под тонкими перепонками начинается пульсация. Под остальной частью хитина она незаметна, а под прозрачными перепонками хорошо видны приливы внутренней жидкости, волны, толкающие и растягивающие кожицу. Наконец кожица лопается вдоль переднеспинки. Шов расходится в месте, где прикреплены крылья, затем по голове к основанию усиков, а здесь разделяется на две ветви вправо и влево.

В эту расходящуюся щель показывается мягкая, бледная, еле окрашенная спинка. Медленно вздуваясь, она освобождается из-под чехла. Дальше вылезает из чехла голова. Голова — живая, а рядом с ней висит ничуть не изменившаяся маска со стеклянными глазами и с гладкими и цельными чехольчиками усиков, которые сохраняют на этом мертвом, ставшем прозрачным лице свое обычное положение.

Совершенно непонятно, как усики освобождаются от вплотную охватывающих их чехольчиков, выскальзывают из них совершенно свободно, хотя и усики и чехольчики узловаты. Но еще поразительнее освобождение передних и средних ножек. За ними выходят крылья, поначалу совсем мягкие, так, что они свисают вниз и принимают положение, противоположное обычному. Последними освобождаются задние ножки. Голень усеяна двумя рядами крепких шипов — настоящая пила! — да на конце еще четыре острые шпоры, и все части чехла облегают каждую деталь устройства очень плотно, лежат, пишет Фабр, как слой лака на дереве. «И тем не менее эта пилообразная нога выходит из чехла без малейшей зацепки в какой бы то ни было точке узкого и длинного чехла. Если бы я сам не видал этого много раз, то не поверил бы, что весь чехол с голени сбрасывается совершенно целым, без разрывов». Нога еще не годится для хождения, она сейчас мягкая и гибкая, как резинка, но через несколько минут приобретет необходимую твердость.

Дальше начинается развертывание крыла. «Там, где сначала нельзя было различить ничего определенного, становится видна прозрачная поверхность, разделенная на изящные отчетливые клетки. Мало-помалу, с медленностью, обманывающей даже лупу, эта поверхность увеличивается за счет бесформенного комка на

конце. На границе этих двух частей мой глаз напрасно ищет чего-нибудь. Но подождем немного, и ткань с клеточками покажется необыкновенно четко…»

Не случайно Дарвин назвал Фабра «непревзойденным наблюдателем». Подобно аппарату ускоренной съемки, взгляд натуралиста разбивает мельчайшее изменение состояния на неисчислимые моменты и просматривает их от начала до конца, улавливая самые ничтожные перемены.

«Кто хочет видеть, с какой непонятной быстротой творит жизнь, должен наблюдать превращение саранчовых. Эти насекомые покажут ему то, что вследствие чрезвычайной медленности скрывает прорастающее зерно, распускающийся цветок и лист».

Изобретенная впоследствии замедленная съемка позволила увидеть и прорастание зерна и развертывание листа и цветка. Фабр опередил это видение на несколько десятилетий.

Как питается клоп редувий? Из грубого хоботка согнутого, словно указательный палец, он высовывает тоненький черный ланцет — одновременно иглу и насос. Орудие погружается в тело жертвы. Когда она станет неподвижной, начинает действовать насос. Цикада, высосав сок в одном месте, перебирается на другое и сверлит в коре дерева новую ранку. Так же и редувий: он высасывает жертву, переходя от шеи к животу, от живота к груди, к сочленениям ног. Он бережлив.

Редувий, напавший на кобылку, двадцать раз менял места на теле жертвы, оставаясь на каждом более или менее долго в зависимости от поступления корма.

После того как поработал адский насос редувия, крупный богомол становится прозрачным, словно кожица, сбрасываемая при линьке.

Фабр неистощим в изобретениях, помогающих увидеть естественные действия насекомых.

Сухие стебли ежевики, срезанные по краям дорог, — отличная приманка для перепончатокрылых, когда им время гнездиться. Если выдолбить мягкую сердцевину сухого стебля, возникает канал для гнезда, а срезанный конец просто зовет осу или пчелу взяться за дело. Применяемые в наши дни ульи разных типов для насекомых, опыляющих люцерну, например, все ведут родословную от фабровских охапок полых ежевичных стеблей.

Другие приспособления сложнее, но немногим дороже.

Фабр намерен по возможности подробнее изучить всяких пожирателей падали. Однако стоит оставить на земле труп ласточки или мыши, как его подберет первая же кошка. Но можно

ведь воткнуть в нескольких местах на участке по три камышины, связать их свободными концами, а внутри треноги подвесить на высоте человеческого роста стальную миску. Кошке сюда не добраться. Дно миски продырявлено, так что в случае дождя влага свободно уходит. В миску насыпан песок, на него кладутся трупы кротов, ящериц, лягушек. Трупы пернатых и пушистых зверей менее пригодны: труднее наблюдать мух и жуков, слетающихся на падаль.

Садки для скарабеев имеют в объеме примерно по кубометру. Если не считать металлической сетки, которой затянут фасад, весь садок из дерева. Самое опасное — пересушить здесь почву, но нельзя также, чтоб она превратилась в грязь: и чрезмерная сухость и избыток влаги губительны для жуков. Чуть увлажненная земля должна быть хорошо перемешана с песком, просеянным через сито. Слишком много песка тоже ни к чему: будущие галереи не должны обрушиваться.

Навозники-геотрупы склонны к глубоким шахтам. Сетчатой стороной садок смотрит на юг и открыт для доступа света. Противоположная, северная стенка прикрыта ставнями: верхняя открывается, когда надо подбросить корм или вселить новых обитателей, а нижняя для того, чтобы посмотреть, как работает насекомое. Слегка расчистив кое-где концом ножа отдельные уголки, можно видеть все, что не удается проследить даже при самых усердных раскопках в поле.

Навозник, носящий грозное имя — минотавр Тифея, потребляет только овечий навоз; он ищет почвы песчанистой и сырой, чтоб увлажнить сухие от природы припасы; в то же время он закапывается глубоко, чтоб уйти от летней жары и сохранить мягким провиант для личинки, которая созреет лишь к концу лета. Шахтный ход этих жуков спускается нередко метра на полтора.

Фабр поселил своих минотавров в узкий стеклянный цилиндр, когда-то применявшийся для химических опытов. Ширина его — три сантиметра. Смесь мелкого песка и сырого глинистого грунта порциями проталкивается в цилиндры помощью ружейного шомпола. Эту стеклянную колонну поддерживают три длинные бамбуковые трости, воткнутые в полный земли цветочный горшок и связанные вершинками. На верхнее отверстие цилиндра надета маленькая миска с продырявленным дном. Она заполнена землей, окружающей вход в цилиндр, и прикрыта сверху стеклянным колоколом: он не дает пленнику сбежать, а почве пересохнуть. Теперь требуется еще несколько веревочек и отрезков проволоки. Наконец сооружение надежно укреплено.

Однако диаметр жилища почти вдвое превышает естественный просвет норки. Если бы жук рыл шахту строго вертикально, то ход оказался бы со всех сторон одет слоем песка толщиной в несколько миллиметров. Но землекоп, конечно, отклоняется то в одну, то в другую сторону, и канал кое-где проходит по самой плоскости стекла. Этими-то просветами можно пользоваться при наблюдениях. Очень удобно для Фабра, но для обитателей садка нестерпимо, жукам нужен в гнезде мрак.

Тогда Фабр окутывает трубку в несколько слоев подвижным картонным чехлом. Поднимая и опуская его, можно изучать состояние трубки сверху донизу, по мере того как жук бурит шахту и продвигается в глубь канала.

Сооружение, слов нет, изяществом не отличается. Грубая крестьянская работа, комбинация обычных предметов. Но Фабр пережил перед конструкцией из трех бамбучин, стеклянной трубки и дырявой миски сладостные минуты: с ее помощью удалось проследить, как роется ход, как приготовляется укладываемый на дно норы корм.

Конечно, висящая на трех бамбучинах узкая колонна не лучшее жилье для минотавра. Просвет трубки слишком тесен, и жук, располагающий в природе на одном уровне несколько норок, просто не может развернуться, строит всего одну ячейку. Сооружать склады корма в несколько этажей минотавр не способен.

Ограничивающая конструкцию теснота влечет за собой еще осложнение: когда в гнезде только одна камера, отец скоро остается без дела, а самец минотавра Тифея — не то, что у многих других насекомых. Он труженик, безделье для него убийственно. И в полевых условиях бывает, что самцы, если им не хватает работы, тоже погибают.

Значит, важно, чтобы жуки имели не только вдоволь корма, но и чтоб участок гнездования был достаточно широк и вмещал не одну, а несколько норок.

Впоследствии Фабр предоставит минотаврам нужные им условия, продумав проект лабораторного дворца жуков. Он сколочен из толстых досок для защиты от солнца. Четырехгранная призма имеет в высоту метра полтора. Три ее стенки глухие, четвертая прикрыта ставнями в три этажа. Ставни легко открываются, так что верх, середину и низ можно осматривать раздельно. Дно закрыто наглухо, а обнесенный карнизом верх открыт. На нем покоится, как площадка над гнездом, высоко окантованная пластина, прикрытая куполом из металлической сетки. Полость призмы заполняется влажной песчаной землей, достаточно уплотненной. Да и пластина

укрывается землей слоем в палец.

Нельзя допускать, чтобы земля в пилоне — так называет Фабр сооружение — пересыхала. Не полагаясь на толщину досок, Фабр погружает нижнюю треть пилона в большой цветочный горшок с землей, а ее регулярно, впрочем умеренно, поливает. Этот грузный горшок представляет вместе с тем фундамент и обеспечивает пилону устойчивость даже на ветру. Средняя треть пилона прикрыта матерчатым футляром, его тоже ежедневно намачивают. Верхняя же треть ничем с боков не прикрыта, но сюда сырость поступает сверху, из земли на пластине, которую исправно поливают. Таким образом, весь столб земли поддерживается в наилучшем для минотавра состоянии.

Пилонов всего два, они дороговаты. Выставлены они в нескольких шагах от двери. Фабр посещает их и утром и вечером, подстерегая счастливые минуты, когда наблюдение дает новую пищу мысли.

Родившийся через полвека после Фабра его соотечественник Эжен ле Мульт известен как неистовый, можно сказать, одержимый коллекционер и преуспевший поставщик живых насекомых для научных лабораторий. Он снабжал огромными жуками — большезубым оленерогом, дровосеком большезубым — западноевропейские и американские центры, изучавшие полеты аппаратов тяжелее воздуха. Но главным источником средств к существованию и главным бизнесом стало другое: редкие тропические бабочки и жуки, крылья и хитин которых он продавал ювелирам, а те использовали для безделушек, сережек, брошей. Свой товар ле Мульт заготовлял с помощью разных, им же изобретаемых хитроумных способов массового вылова.

Этого человека, которого к старости седая голова и окладистая белая борода сделали похожим на библейского святого, можно назвать организатором промысловой охоты, избиения насекомых, безразлично вредных или бесполезных, лишь был бы на них спрос.

Как это не похоже на Фабра! Он проникнут уважением ко всему живому, чувствует неповторимость любого существования; никогда не забывает, что мир насекомых, неодолимый, подчас грозный, соткан из жизней хрупких и эфемерных.

Фабр придумывает разные, все более совершенные подсобные устройства, но не для охоты и заготовки, а для содержания насекомых в неволе. Он знает, как трудно подобрать искусственные условия для замены естественных. О своем любимом остекленном прудке, это был предмет его гордости, он писал: «Впрочем, жалкое сооружение… все эти лабораторные аквариумы не стоят следа, оставленного копытом мула в

глинистом грунте, когда вода заполнила крохотную чашу, а жизнь населила своими чудесами».

Обретя, пусть только к старости, Гармас, Фабр впервые все шестьдесят минут каждого часа может отдать этим чудесам, этим бесчисленным созданиям. Он их рассматривает, не дыша, чтоб ненароком не сдуть. Наблюдает появление на свет, рост, любовь, работы…

Однако удары судьбы не оставляют его. Скончалась Мари-Сезарин, жена. Дети выросли; дочери вышли замуж или готовились покинуть Гармас, уехал Эмиль. Дом совсем опустел, хорошо хоть старый друг садовник Фавье здесь. Поливает принесенные с Ванту растения, перекапывает гряды и слушает, не позовет ли его «мусю Фабр», работать с ним сущая радость… По притихшему дому, по расчищенным Фавье аллеям бродит, тяжело передвигая ноги, отец Жана-Анри, совсем одряхлевший. Старику уже за 90, надо за ним и поухаживать. Да ведь Фабру самому около 60, а он хотел бы досмотреть то, чего не успел узнать.

Не хватает времени на самые необходимые и неотложные исследования. А тут еще пора скорей посылать Делаграву рукопись очередного тома «Сувенир». Нужно расплачиваться с Фавье, кормить отца, кормиться самому.

«Чтобы философствовать, занимаясь наукой, надо еще как-то жить», — объяснял он.

В трудную грустную пору Фабр познакомился с Жозефин-Мари Додель, скромной, тихой девушкой, дочерью сериньянского бедняка. Где они встретились? Во всяком случае, не на богослужении, которых Фабр по-прежнему не посещал, несмотря на уговоры кюре. Ровесницы Жозефин-Мари устроили свою судьбу, она оставалась одинокой, счастье проходило мимо нее.

Фабр, он был старше на сорок лет, предложил Жозефин-Мари стать его женой и хозяйкой дома. Его мало заботили пересуды по поводу неравного брака. Он руководился только своими чувствами и чувствами милой ему девушки, мечтавшей о собственной семье.

О своей второй женитьбе Фабр не сказал ни в одной стихотворной строке, не написал, что и на этот раз супруги верны принципу: не в деньгах счастье. Зато детям от второго брака он подарил десятки стихов и басенок: «Спи, детеныш, спи, крикун, слышишь голос мамы…» — пела Жозефин-Мари колыбельную, написанную Жаном-Анри.

Все, кто посещал Гармас, вспоминают, что супруга Фабра была полна жизни, легко, весело, как бы между делом вела хозяйство, поддерживала порядок, вносила умиротворение и

покой, в которых больше всего нуждался глава дома.

В аллеях ухоженного трудами Фавье сада зазвенели молодые голоса: подрастали дочери Мари-Полин и Анна-Элен, сын Поль. Счастливый союз помог Фабру продлить его поиск. К возродившейся семье — осеннему ее поколению — вскоре присоединилась Аглая, младшая дочь от первого брака. Она посвятила себя отцу и его работе.

Жена и дети тоже помогают Фабру, это его руки, глаза, уши, ноги. А он остается головой, мыслящим мозгом, руководителем, который направляет, выслушивает, обдумывает.

В триединой натуре Фабра всегда совмещались педагог, писатель, ученый. В годы жизни в Авиньоне на первом плане стояла чисто просветительская деятельность, в Оранже — литературная, в Гармасе полнее всего проявились и шире всего развернулись таланты натуралиста-исследователя. Переезд в глухую деревушку стал во многом началом новой, третьей жизни.

Фабр отклоняет приглашения самых близких и дорогих, отказываясь и на несколько часов расстаться с Гармасом. Конечно, приятно бы повидаться с давним другом и учеником Девилларио, живущим в Карпантра. Какие они совершали ботанические и энтомологические экскурсии в окрестностях Авиньона и на Ванту! Но нет, нельзя терять времени! Пусть приедет сюда.

«Боюсь, гостеприимная отбивная, что ждет меня у вас, остынет. Дела донимают… Но вы, как только удастся, оставьте свою канцелярию и приезжайте… Сам я в Карпантра никогда не выберусь. Рак-отшельник менее привязан к своей актинии, чем я к своему деревенскому уголку…»

Пройдут еще годы, и Фабр напишет тому же Девилларио: «У каждого своя борозда на жизненной ниве. Моей судьбой стала биология насекомых. Как бы то ни было, мое место именно здесь, здесь я и остаюсь. В этом моя песчинка, мой атом. Иногда журю себя за выбор, который увел от всего, исключая необходимость зарабатывать на жизнь и находиться во власти неотступной нищеты. И все же оно сильнее меня — живое владеет мною. Последнюю зиму потратил на то, чтобы заставить заговорить походного шелкопряда. И сколько поразительных вещей он сообщил! Сейчас остался один на один с медведкой, сверчком и множеством прочих. Конца им нет. На всех не хватит и мафусаилова века…»

День и ночь

Известно несколько фотографий Фабра в лаборатории. Особенно хороши те, где он захвачен врасплох, не подозревает о нацеленном на него объективе. Поставив локти на стол, подперев рукой голову, чуть пригнувшись, так что из-под широких полей фетровой шляпы видны только подбородок и плотно сжатый рот, он — весь сосредоточенность, пристальность, напряженное стремление. Проникнув взором сквозь простое стекло лежащей перед ним банки, он отрешен, как герой Уэллса, припавший к хрустальному яйцу и увидевший мир иной планеты.

Или другая фотография, на ней Фабр уже в профиль. Он все в той же шляпе: на столе — большая миска, прикрытая куполообразной сеткой. И здесь он погружен в события, которые протекают под сеткой, готов к тем, что вот-вот могут возникнуть, на мгновение осветив новую грань неведомого.

Уже много лет идет такой непрерывный поиск, разговор с природой один на один. Дома, в саду, в поле, где придется, Фабр протоколирует наблюдения, формулирует пришедший в голову вывод, вкратце набрасывает план опыта. Он бережно относится к таким, казалось, неожиданным идеям, в них он видит плод неустанной мысли. По-прежнему, поднимаясь ночью с постели, он почти стенографическими значками записывает мелькнувшее в полусне.

Фабр набрасывал свои заметки на чем попало, и они почти не сохранились. Сейчас расписание его рабочих дней можно восстановить главным образом по томам «Сувенир» и воспоминаниям друзей и близких.

Вставал Фабр рано. В его комнате обосновались как-то ласточки: птицы свили гнездо в углу под потолком. Соседи были беспокойные, но Фабр им не мешал. Когда выводок подрос, родители стали с вечера улетать из дома, и уже до рассвета птенцы начинали возиться и пищать. Фабр поднимался с постели, наученный опытом, покрывал ближний к гнезду угол стола старыми номерами «Тан» (эту парижскую газету ему регулярно высылал милейший Делякур). После того босиком подходил к окну; едва распахнув его, он слышал, как над головой проносятся ласточки с первым кормом для птенцов.

Весенняя рань. Осы одинеры выглядывают из гнезд, проверяя погоду. В сухой ветке сирени загудела ксилокопа: пчела-плотница, грозное синекрылое создание, буравит дерево, вытачивая помещение для потомства. Пауки на кустах сидят в засаде рядом со своими тонкими ловчими сетями, которые ночь обрызгала росой. Скоро эти капли засверкают в утренних лучах, и на переливающиеся огнями ожерелья паутины полетят мошкара и

крупные мухи, обманутая игрой света.

Фабр спускается, идет на кухню. Здесь его ждет завтрак. Однако ему не терпится, и он с чашкой в руке шагает из угла в угол. Беспокойную потребность двигаться Фабр в какой-то мере сам поддерживает и культивирует: пока ходит, голова четче работает.

Покончив с утренней трапезой, он спешит из дома. Минуту стоит, размышляя перед растением, усыпанным тлями, приоткрывает нижние ставни и проверяет оба пилона с минотаврами. Наклонившись к самой земле, заглядывает в хорошо видный теперь глубокий отвесный ход в норку. Дальше осматривает *гноильню*. Это неблагозвучное название присвоено знакомым нам треногам из камышинок с подвешенными к ним мисочками, полными песка, на который кладут трупы животных.

Когда-то ему приходилось подолгу выжидать, подстерегая нужную минуту. Он был рабом случая, и ему часто казалось, насекомые просто смеются над ним, совершая за его спиной то, что ему важно было самому увидеть и повнимательнее рассмотреть. Теперь другое дело: он научился создавать условия, в которых его подшефные в конце концов сдаются, уступая настойчивым расспросам. Он вынуждает их к признанию на месте, и они стали как будто откровеннее.

Фабру известно: первыми на миски с трупами прибегают муравьи, обнаруживающие поживу, когда она вроде еще не дает о себе знать. Но проходит день-два, и треноги окутываются позывными запахов, собирающих отовсюду жуков кожеедов, карапузиков, сильфов, могильщиков, стафилинов, стаи мух… Из мух люцилий к мисочкам слетаются три вида: краснохвостая, трупная и медная.

Эти мухи известны лучше других двукрылых. Они изысканно нарядны, тело их золотисто-зеленое с металлическим отблеском, красные глаза окаймлены серебряным ободком.

Люцилия никогда не откладывает яйца на открытые части трупа, здесь солнечные лучи могут повредить нежным зародышам. Муха орудует в полумраке, в темноте, в тени.

К миске с останками крота прилетело восемь люцилий. Они ныряют под труп там, где край живота образует складку, и откладывают яйца. Пока одни, заняв удобное место, скрыты от взора, остальные сидят на трупе. Время от времени они подходят к порогу зловонной пещеры и заглядывают под свод. Наконец первые мухи выходят, усаживаются на труп, отдыхая, а их сменяют те, что ждали.

Теперь можно и приподнять труп: насекомые так увлечены, что ничего не замечают. Конец яйцеклада введен глубоко в ткани.

Вокруг двукрылых матрон шныряют юркие муравьи и успевают то здесь, то там стащить яйцо, но мухи и не реагируют на это.

Кладка совершается в несколько приемов, порциями. Яиц у люцилий много, пищевые запасы обильны. Если яйцекладка началась вчера или раньше, в гнили уже видны сотни острых голов, они то высовываются, то вновь прячутся. Это личинки мухи. Их тело — удлиненный и заостренный кпереди конус, который усечен на заднем конце; две рыжие точки — дыхальцевые отверстия; передний конец его вооружен двумя черными крючками, которые скользят в прозрачном чехле. Крючковатые острые головы двигаются как поршень; крючки впиваются в ткани, однако, сколько ни приглядывайся, ничего от них не отрывают. Бесспорно, двойной крючок причастен к устройству для захвата еды, но движение поршня — тоже бесспорно — не есть глотание пищи.

Между тем личинка, оно видно и на глаз, растет, увеличивается в размерах. Чем же питается этот ничего не откусывающий едок? Может быть, пьет? Ткани тела — пища высоко концентрированная, прочная, устойчивая: они нерастворимы ни в воде, ни в спиртах. И все же личинки люцилий растворяют их. Если оставить труп на миске треноги, прикрыв колпаком из металлической сетки, преграждающим доступ люцилиям, труп высохнет на солнце, даже не увлажнив песок. А мушиные личинки весьма быстро превращают труп в жидкость.

Рядами выстроились в лаборатории стойки со стеклянными трубками; все запаяны с одного конца и содержат по небольшому, величиной с орех, обсушенному на пропускной бумаге кусочку говядины. На одни кусочки мяса перенесено примерно по двести яиц люцилии, снятых с трупа ежа. Другие трубки плотно заткнуты ватой, мясо недоступно для мух. Через два-три дня в первых трубках по стеклу ползают личинки, оставляя на нем мокрый след, во вторых сухо. Еще через какое-то время все мясо в первых трубках превращается в жидкость, ее можно вылить без остатка. Оно растопилось, словно масло вблизи огня. Во вторых трубках мясо по-прежнему плотное, только цвет и запах изменились.

Фабр поселял личинок на яичном белке, сваренном вкрутую, и личинки скоро начинали тонуть в прозрачной, как вода, жидкости. В пробирке без личинок белок оставался твердым, потом, если не плесневел, покрывался роговой коркой. То же и с клейковиной злаков, с фибрином крови, с казеином сыра, с мукой из бобовых — личинки полностью ожижали пищу.

Видимо, личинки превращают потребляемый кусок в жидкость, потом, с головой окунаясь в нее, утоляют жажду. Растворитель, который действует на корм, похоже, сродни

желудочному соку высших животных. Но только выделяется растворитель головой, и поршень, непрерывно двигаясь, ничтожно малыми порциями наносит его на ткани. Каждая точка, до которой дотрагиваются крючки, получает мазок быстродействующего и всепроникающего секрета, и этого достаточно, чтоб белок здесь растворился.

Переваривать пищу — значит разжижать ее, думает Фабр.

Здесь получается прямо как в бокерских лубках. «Все навыворот»: личинка сначала переваривает пищу, потом ее проглатывает. Парадоксально, но от вывода никуда не уйти! *Внешнее* пищеварение!

Полтораста лет назад итальянец Лаццаро Спалланцани вводил на конце зонда внутрь живых ворон губчатые шарики и добывал с их помощью желудочный сок, под воздействием которого куски мяса в стеклянной пробирке становятся жидкими. Так была воспроизведена дотоле неизвестная реакция желудочной химии пищеварения. Фабр в новом варианте проследил ту же реакцию и убедился: то, что стенки желудка совершают в недрах организма, личинки люцилии делают открыто.

В миске одной из треног лежит труп огромного, в полтора метра, эскулапова ужа: его пришлось укладывать на миске двухслойным кольцом. Этот запас корма полностью освоен личинками люцилии и мухи-саркофаги. Миска под ужом превратилась в болото, и жидкость капля по капле стекает на землю. Вездесущее устройство — живой перегонный куб — действует так быстро, что через несколько дней от трупа остаются только серая чешуя и белые кости!

Иные виды падальных мух способны, как известно, отложить до двадцати тысяч яиц, из каждого через сутки вылупляется личинка, а они растворяют ткани еще быстрее, чем люцилии. Невольно вспомнишь линнеевское: «Три мухи могут сожрать труп лошади быстрее, чем лев».

Конечно, такие мухи и жуки, которые вновь вовлекают в круговорот жизни останки всего, что когда-то жило, служат могучим посредником между миром животных и растений. Потребляя трупы, они ускоряют их превращение в питательные вещества почвы, на которой живут растения. Эту мысль Фабр развивал еще перед своими лицеистами на плато Англь. Теперь общее соображение обрастает фактами, обогащается. Шестиногие санитары не только катализаторы круговорота, они предотвращают перенасыщение почвы под трупом органическими соединениями, распыляют их, разносят по более обширной площади.

Сделав очередную пометку и сунув листок в карман, Фабр переступает порог лаборатории, спешит к столу. Еще вчера в стакане лежал спящий кокон. Сейчас из него на глазах у Фабра выходит самка большого ночного павлиньего глаза, плодовая сатурния, самая крупная бабочка средних широт. Она великолепна в своем пышном одеянии! Чтобы новорожденная не улетела, Фабр прикрывает стакан сеткой.

В лаборатории Фабр остается до полудня. Сидит за огромным столом над банками, коробками из-под сардин, несущими службу садков. Он часами не сходит с места.

Иногда для работы требуется микроскоп. Его прислал академик Дюма, тот, который когда-то отправлял Пастера в Прованс для борьбы с болезнями шелкопряда. Даже летом Фабр подходит к микроскопу в самые солнечные часы. Электричества в Гармасе нет, а что за работа с микроскопом при керосиновой лампе?

В это время здесь всего важнее тишина. Фабр еще способен переносить гудение печки зимой, и только. Однажды, рассвирепев, это за ним водилось, и обозлившись на часы, которые отвлекают мысль своим монотонным тиканьем, он остановил их, и с тех пор они так и стоят на камине немым украшением. Ужасно докучали ему по ночам соловьи. Их трели способны привести его в неистовство. Иной раз он стрелял в открытое окно, чтоб спугнуть несносных певцов, мешающих сосредоточиться.

Только незнакомые с порядками дома способны звонить у калитки до обеда. В эту пору хоть оборви звонок, хоть кулаками стучи, никто не откроет. Первая половина дня Фабра полностью и безусловно посвящена делу. Без такой железной дисциплины можно ли было столько увидеть, столько выведать, столько написать, сколько увидено, выведано и написано за тридцать лет отшельнической жизни в Гармасе?

Сейчас на очереди снова психея, называемая также мешочницей. Ее гусеницы содержатся в коробках. Мешочницей Фабр занимался много лет, одну за другой разгадывая загадки ее незаурядной, а в некоторых отношениях исключительной естественной истории.

Гусеница психеи живет в небольшом передвижном домике. Из него выглядывают только голова и грудь с шестью ножками. Гусеница легко несет на себе свой домик и при малейшей тревоге вся в него прячется. Домик построен из былинок, из кусочков мягких стебельков, обломков листьев, мельчайших щепочек. Этакий крошечный дикобраз! Фабр по одному снимал с чехлика стебельки и щепочки, выполняющие роль игл. Их оказалось до

восьмидесяти. Под ними Фабр обнаружил мягкий ватный колпачок.

Собранные накануне окукливания гусенички не нуждаются в пропитании, они засыпают, подвесившись под сеткой купола. Месяца через два из коконов выходят бабочки, пока одни только самцы. Они не крупнее обычной мухи, но с пышными перистыми усиками. Но вот что неожиданно: гусеница прикрепилась к сетке передним, головным, отверстием домика, а бабочка покидает домик через черный ход. Психея начинает метаморфоз вверх головой, а заканчивает его головой вниз. Очевидно, внутри домика в куколочном чехлике совершается поворот на 180 градусов.

Едва выйдя на свет, самцы принимаются летать под сетчатым колпаком садка, опускаются на соседние чехлики, которые ничем, казалось, не отличаются от других. Тем не менее самцы внимательно исследуют их усиками. Лихорадочная подвижность выдает влюбленных. В конце концов каждый находит свою невесту, но те так и не покидают убежища. Свидание облегчается тем, что на свободном конце чехла есть ход. Самец какое-то время остается на пороге, и все: свадьба совершилась.

Только что покинутые самцами чехлики с их обитательницами Фабр переносит в отдельные сосуды. Спустя сколько-то дней затворница выглядывает из домика. Внешность ее на редкость убога: без крыльев, без пушка на теле, она мало чем отличается от гусеницы. Разве что брюшко заканчивается кольцеобразным валиком. Согнувшись крючком, самка охватывает своими шестью ножками нижний кончик чехла, а яйцеклад, выдвигающийся из кольца валика, погружает в черный ход домика. Этот ход служит, следовательно, для многих целей: на его пороге совершается тайный брак; он пропускает оплодотворенную самку; через него самка помещает внутрь домика яйца, и именно здесь выйдет вскоре на свет потомство.

Кладка яиц продолжается свыше суток. Затем самка вытягивает яйцеклад из чехла, предоставленного потомству, и собственным телом закрывает вход в это убежище. Здесь она и умирает.

Фабр исследует куколочные чехлы, вынутые из домиков и набитые яйцами. Гусенички вылупляются очень быстро и скоро оказываются в чепцах, если так можно говорить о повязке, надетой не на голову, а пониже. Чепцы изготовлены из ваты, и гусенички ползают, подняв их почти отвесно к поверхности, по которой перемещаются. Но что это за вата, откуда?

Фабр отсаживает в отдельный сосуд уже принарядившихся гусениц, оставляя в трубке лишь голых. Они тоже прикрывают

наготу, используя оставленный рядом материнский чехол. Челюсти миллиметровых гусеничек подобны зубчатым ножницам. Ими они и орудуют. Если поместить в сосуд обломки сухих стебельков с мягкой сердцевиной, вокруг них сразу возникает оживленная деятельность. Конечно, рассмотреть ее можно только сквозь лупу. Это как раз один из тех случаев, когда дыхание надо сдерживать, иначе оно, подобно урагану, сметет крошек, занятых изготовлением своих чепцов. Проходит время, и чепцы превращаются в жилеты, потом в целые халаты-колпачки. Покончив с изготовлением тканого наряда, гусеница принимается плотничать. Она собирает игольчатые прутики и сооружает из них домик.

Проходит около месяца, гусеницы окукливаются, а дальше, как мы уже знаем, на свет выходят крошки-самцы с перистыми антеннами и принимаются отыскивать домики, из которых должны вывестись самки.

Фабр изучает не одну только психею малую.

В лаборатории стоят и садки с гусеницами психеи одноцветной. Именно у этого вида, если в садках одни самки, а женихи не появляются, засидевшиеся невесты пробуют выйти из скрывающего их домика, по нескольку часов, пока тепло, проводят на его пороге и возвращаются в убежище, где умирают, не оставив потомства. Наиболее неосторожные, бывает, даже выпадают из чехла и еле заметно ползают по песку на дне садка. Если под купол такого садка впустить самцов, они ищут невест в пустых домиках, а над выпавшей из чехла и лежащей на песке самкой пролетают, не замечая ее, даже если она рядом.

Эта слепота самцов, пренебрегающих невестой вне ее жилища, заслуживает внимания не меньше, чем ткацкие таланты крошек-личинок, которые вскоре сменяются плотницкими.

Самка психеи одноцветной после свадьбы на пороге домика тоже не покидает его. Если недели через две осторожно вскрыть чехол, в нем увидишь нежнейшую вату из пушка, еще недавно покрывавшего тело самки. Похоже, мать ощипала себя, чтобы подготовить мягкую постель для детей. А где они? Их еще нет, есть только около трех сотен яиц, созревающих в теле погибшей матери. Вылупившись, гусенички легко покидают ее останки: первые кольца тела тонки и непрочны, а там и скальп отпадает, еще шире открывая дорогу. Они уходят, а из пушка, подготовленного матерью, каждая сбивает маленькие комочки ваты. Скрепляя их шелковыми нитями, гусеничка опоясывается крохотной гирляндой, и это колечко становится основой будущего колпачка.

Фабр долго проверял строительные способности гусеничек. Он отбирал в стеклянную трубочку несколько голых психей одноцветных и давал им мелко расщепленные сухие стебельки одуванчика. Гусеницы обычно строят чехол из остатков материнского, но безукоризненно справились и с новым стройматериалом, смастерили из него отличные колпачки.

Тогда Фабр берет личинок, которые уже начали одеваться, и снимает с них колпачки. И что ж? Раздетые личинки психеи одноцветной возобновляли изготовление платья.

Фабр предлагает им стебельки сорго, и колпачки начинают блестеть, как сахарные. Фильтровальная бумага настолько понравилась строительницам, что, получив возможность выбора между старыми чехлами и промокашкой, они остановились на последней. Если не давать гусеничкам никакого строительного материала, они скоблят дно пробки, которой заткнута трубочка. Колпачок получается идеальной формы, легкий, изящный. А ведь предкам этих гусениц вряд ли доводилось строить чехлы из промокашки или пробки.

Тогда Фабр отрезает крыло крупной мертвой бабочки и кладет его в трубку с двумя голыми гусеничками. Они долго не обращают внимания на крыло, но потом одна, более предприимчивая, принимается за работу и вскоре наряжается в отличный коричневый бархат. Вторая же так и осталась голой, тем самым продемонстрировав, что задача, поставленная перед молодыми психеями, находилась на пределе их возможностей и что этим бабочкам тоже присущи индивидуальные отличия, таланты.

Исследование предела возможностей в действиях насекомого встает перед Фабром как специальная тема. Он запирает четырех голых гусеничек с кусочком железного блеска, который вполне доступен их челюстям. Проходит день, все четыре гусеницы по-прежнему разгуливают голышом. Назавтра одна — только одна — соорудила себе колпачок из металлических пластинок. Он несказанно пышен и богат, свет отражается в нем радужными переливами, но костюм тяжел и неудобен. Фабр предлагает одетой в него гусенице кусочек сердцевины сорго. Франтиха сама покидает громоздкое, тяжелое платье из металлических блесток и надевает несравненно более скромное, но легкое и удобное — из пушка сорговых стеблей.

Но что получится, как поведет себя гусеница, уже одевшаяся и начавшая есть листок ястребинки. Фабр раздевает ее, сорок восемь часов не дает никакого корма, а затем возвращает на тот же лист. Что возьмет верх? Потребность утолить голод или потребность в одежде?

Гусеница принимается строить новый колпачок.

Это нетрудно понять. Гусеницы психеи зимуют на открытом воздухе, отсюда и их умение сооружать домик с кровлей, по расходящимся игольчатым прутикам которой будет стекать влага росы и талого снега. А внутри еще ватная шуба — защита от холодов.

Гусеницы психеи с аппетитом поедают листья ястребинки. Однако из колпачка выступают лишь голова и первые кольца тела с шестью ножками, конец же его закрыт. Как освобождает гусеница кишечник? Оказывается, мешок-колпачок не закрыт наглухо. Едва гусеница подастся назад, она концом тела раздвинет колпачок, откроет отверстие. Через минуту — движение вперед, конец мешка стягивается, опадает, и отверстие закрывается.

Тут новый вопрос. Гусенички растут, а колпачки им всегда впору, не становятся тесными, не лопаются. Секрет совсем прост… Несколько гусениц в серебристых, как… инеем покрытых, колпачках из сердцевины стеблей сорго отсажены в отдельный сосуд. В тот же сосуд Фабр кладет кусочки нежной коричневой коры. Спустя несколько часов чехлики теряют свой блеск, приобретают коричневатый оттенок. Фабр убирает остатки коры и кладет вместо них стебли сорго. Чехол вновь белеет, начинает сверкать. Значит, гусеница не кладет заплат на готовое платье, а когда ее раздевают, не возвращается к предыдущим действиям, но постоянно шьет его, начиная с гирляндового кольца, так что ткань чехла все время понемногу отодвигается назад к концу тела и там кусочками отпадает. Гусенички меняют платье не раздеваясь!

Когда жара кончается и матерчатый колпачок оказывается не по сезону легок, гусеницы, уже достаточно подросшие, приступают к сооружению кровли. Вокруг первого кольца шейной гирлянды без всякой системы прикрепляются кусочки стеблей, обломки листиков. Постепенно они отодвигаются назад, а следующий ряд стебельков укладывается уже более аккуратно, каждый привязывается шелковой нитью вдоль тела. В конце концов настоящая соломенная кровля в несколько слоев прикрывает туловище.

В своем запечатанном домике гусеницы подвешиваются к стене, повисая так, чтоб влага стекала по стрехе. Теперь и зима не страшна.

Весной отогретая солнцем гусеница на время возобновляет свои странствия. Однако, если ее сейчас извлечь из домика, она и не попробует сооружать новый, никакой строительный материал больше не воодушевит психею. Зима бесследно унесла с собой

былое умение строительницы, но зато дала полный простор талантам ткачихи.

Удовлетворив голод, накопив в железах запас шелка, гусеница принимается готовить себе плащ. Раздетая, среди разбросанного вокруг строительного материала, психея не обращает ни на что внимание. Она делает то, что ей положено: подбивает тканью жилище, фактически не существующее. Работа эта бесполезна, напрасна, психею ждет неизбежная гибель.

Так же сфекс запечатывал в опытах опустошенные гнезда, так же пелопей возводил кров над местом, где когда-то строил ячейки.

Подобно водному потоку, который не поднимается в гору и не возвращается к своему истоку, насекомое не возвращается к предшествующим действиям, заключает Фабр: что сделано, то сделано и не повторится.

…После полудня, бледный, с обострившимися чертами лица, покидал исследователь лабораторию.

По дороге он снова делает небольшой крюк, чтоб еще раз глянуть на гноильни.

Ошибается, кто подумает, что зрелище мисок с падалью и личинками, плавающими в трупных соусах, помешает обеду Фабра, Он продолжает размышлять над грандиозной задачей, какую выполняют в экономике природы эти малоизвестные насекомые, восхищается и любуется почти математической красотой, с какой решена задача.

Итак, он приходит перекусить и нередко ограничивается горстью сушеных винных ягод, фиников или свежими фруктами.

Фабр часто говаривал, что люди, судя по их зубам и желудку, должны быть не плотоядными, а плодоядными… Некоторых блюд он определенно избегал, — проявляя даже сентиментальность: жирная печенка напоминала ему, как он признался в книге «Наши слуги», бедную утку, а воспоминание об утятах было для него всегда памятью о детстве.

Зато вино пил неразведенное, простое терпкое вино сериньянских лоз предпочитал всем марочным. И не отказывался при случае пропустить стакан согретого винца, а уж стопкой рома баловал себя ежедневно. Правда, стопка была не слишком большой и всегда единственной.

При всем том он отличал тончайший нюанс в аромате жаркого с чесночной подливкой. Этот талант не сделал Фабра гурманом, однако его соображения о будущем человеческого питания в какой-то мере подсказаны и обостренным вкусом, умением ценить пищу.

Фабр не отказывается даже завтрак и обед превратить в часть

своих опытов. Так, он проверил, прав ли Аристотель, действительно ли съедобны нимфы цикады, заслужен ли ими античный эпитет «сладчайшие»? Приготовив блюдо по Аристотелеву рецепту, Фабр собирает мнения участников дегустации и заключает:

— Чертовски кожистая штука! Жевать от нечего делать еще куда ни шло, но вообще не стоит тратить время на сбор и приготовление «сладчайшего» лакомства.

Фабр проверил пищевые достоинства не только цикад. Он вместе со всей семьей пробовал и саранчу, взяв под сомнение отзыв одного арабского писателя, утверждавшего, будто саранча представляет прекрасную пищу и для верблюдов и для человека. Фабр не решает вопроса о верблюдах, но приходит к выводу, что людям восторгаться здесь нечем. Другое дело для птицы, особенно домашней. Кто сомневается, пусть вскроет, как это сделал Фабр, сотни птичьих зобов: летом они до отказа набиты останками полевых прямокрылых.

На самом постном лугу, на совсем голых пустырях, обожженных солнцем, ничего нет, кроме кобылки и саранчуков. От них и раздуваются зобы пернатых. Шестиногие прыгуны — это осенняя манна, от которой таким сочным становится мясо птиц. И цесарка и курица, попировавшие на осеннем пастбище, склевывают, конечно, зерно-падалицу, но вместе с ним и кобылку и кузнечиков, становятся увесистее, плотнее, жирнее. Куропатки тоже предпочитают этот корм. Фабр вспоминает множество перелетных птах, которые осенью делают в Провансе последнюю остановку перед рывком через Средиземное море. И все, используя привал, нагуливают жир на ребрах благодаря обильному питанию саранчовыми, кузнечиками!

Об этом Фабр думает, лежа на кушетке. С тех пор как ему перевалило за шестьдесят, он ввел послеобеденный отдых в систему. Иначе трудно подниматься рано. А утренние часы для работы всего ценнее. Минуты же отдыха хороши для размышлений.

Свои соображения о питательных достоинствах саранчовых Фабр сопоставляет с мыслями статьи, напечатанной в только что полученном номере «Тан» и приходит к выводу: саранчовые, что ни говори, все-таки ценны для человека. Они находят для себя корм там, где протянут ноги даже прилежнейшие куры, а в птице, склевывающей саранчовых, насекомые становятся пищей и для людей.

Но не прав ли автор газетной статьи, не появится ли когда-нибудь промышленность, которая с меньшими затратами и большим эффектом будет производить продукты питания?..

Казалось бы, не Фабру в этом сомневаться после того, как он потерпел поражение в состязании с ретортой. Разве не синтезирован искусственный ализарин, дешевый и превосходящий по качеству мареновые выжимки? И он же сам предвидел эту победу химии.

Однако то красители. Что касается синтеза пищи для человека или для животных, тут Фабр полон неверия. Он записывает:

«Физика уже задумывается над тем, чтоб заставить производительнее работать солнце, этого великого лодыря, который полагает, что сделал для нас все, посластив гроздь винограда и вызолотив колосья. Она загонит его жар в цистерны, расфасует его лучи, использует их там, где мы найдем нужным.

Этими запасами энергии мы будем отапливать наши очаги, вращать колесные передачи, выжимать виноград, и работа сельского хозяйства, такая расточительная, ненадежная, зависящая от колебаний погоды, станет фабричным производством — дешевым, налаженным и исправным.

Тут-то и явится химия, владеющая всем богатством реакций. Она будет для нас производить квинтэссенцию питательных веществ в концентратах, полностью усваиваемых, почти не дающих грязных отбросов. Хлеб станет пилюлей, бифштекс — каплей желе. Полевая работа — каторжный труд эпохи варварства сохранится только в воспоминаниях, о которых историки будут писать сочинения. Последний бык, последний баран будут выставлены в музеях в виде памятников, подобных тем, какие представлены в чучелах мамонтов, откопанных в сибирских льдах.

Вся эта старина — скот, зерно, овощи, фрукты в один прекрасный день исчезнут. Этого, говорят, требует прогресс.

Что касается меня, я сильно сомневаюсь в наступлении такого золотого века…»

Фабр говорит и о том, чем продиктованы его сомнения, его неверие. Он считает, что изобретательность науки пока односторонняя: «Наборы химикалий в лабораториях представляют арсеналы адов. Когда нужно изобрести перегонный куб и извлечь из картофеля потоки алкоголя, способного превратить людей в скотов, промышленность не знает границ в своей находчивости и активности. Но искусственным путем получать действительно здоровую питательную массу — это другое дело. Никогда, ни разу подобные продукты не возникали в реторте. Уверен, что и будущее ничего не изменит здесь к лучшему. Организованная материя — единственная настоящая пища — ускользает от лабораторного комбинирования. Ее

химиком является сама жизнь!»

Скепсис сквозит здесь в каждой строке. Сегодня, когда деятели органической химии рапортуют об успешном производстве не заменителей, не суррогатов, но полноценных аналогов пищевых продуктов, мы можем видеть, как подвел натуралиста его близорукий здравый смысл.

Впрочем, опыт минувшего столетия засвидетельствовал и другое. Если Фабр был не прав, считая, что не следует стремиться к «заводскому способу производства пищи», то он вполне резонно остужал чересчур запальчивых прожектеров из газеты «Тан», настаивая: «Мы поступим, однако, правильно, если сохраним в сельском хозяйстве и полеводство и животных». А кобылки и кузнечики, добавлял он, будут занимать свое место в подготовке лучших деликатесов для нашего стола.

Докурив в раздумье послеобеденную трубку, Фабр приступает к урокам.

«Вы меня застанете, дорогой Делякур, — пишет он, — среди детворы, с которой я занимаюсь, чтобы не совсем оторваться от старого ремесла…» «Проходим с ребятней химию… На очереди — кислород. Эта главка из курса естественной истории для них обязательна, иначе не понять некоторые факты, связанные с дыханием… Восстанавливаю свою маленькую лабораторию, набор химикатов. Все это было столько лет в забросе, что нуждается в пополнении… Так сейчас в Сериньяне возобновлено то, что мы когда-то делали в Оранже», — пишет Фабр сыну Эмилю.

Уроки продолжаются с двух до четырех. Четверги и воскресенья, как и в прошлом, свободны от занятий. Тут в учебные часы Фабр читает детям вслух, рассказывает сказки. На этих свободных уроках присутствует и Жозефин-Мари.

После урока Фабр возвращается в лабораторию к садкам. Вечером вся семья, захватив стеклянный фонарь, отправляется в сад. Сегодня экскурсия к крестовику эпейре. На ходу Фабр проверяет паутины знакомых ему пауков.

Один устроился между туей и кустом лаврового дерева. Место оказалось удачное: паук за все лето не покинет его, хотя чуть не каждый день будет чинить ловчую сеть. Сейчас он замер в центре дрожащей оснастки, которая в неверном луче фонаря кажется сотканной из лунного света.

Другой, невидимый в течение дня, съежившийся в прохладной зелени кипариса, вечером покинул свое убежище, пристроился на конце ветки и отсюда, растопырив все восемь ножек, бросается вниз. Он падает по вертикали, подвешенный на нити, выделяемой его железами. Быстрота спуска регулируется пульсацией отверстий, из которых выбегает паутина. Они то

расширяются, то смыкаются. И нить с живым грузилом становится столь тонкой, что совсем не видна. Почти над самой землей падение прекращается. Шелковая бобина больше не действует. Паук поворачивает и с неожиданной ловкостью поднимается по нити, которую только что произвел. Поднимаясь, он вновь выделяет нить, но теперь, когда вес паука значения не имеет, она производится по-другому: извлекается из желез быстрыми движениями задних ножек.

Вернувшись к месту отправления на высоте двух метров, эпейра придерживает сдвоенную нить. Она мягко колеблется в воздухе, пока паук прикрепляет верхний конец к избранной точке, и ждет, когда порыв ветра поднимет петлю и приклеит к соседней ветке. Ожидание бывает очень долгим. Но пауку терпения не занимать. Да и что он может поделать?

У Фабра терпения хватило бы, но нет времени. Концом соломины он легко подхватывает парящую в воздухе петлю и прикрепляет к ветке. Сооруженный таким образом воздушный мостик принимается благожелательно, как если б возник сам по себе.

Почувствовав, что нить держится, паук, словно цирковой канатоходец, пробегает по ней из одного конца в другой, наращивая ее диаметр. Нить становится в несколько раз толще обычной паутины в тенетах, которые паук сплетает под ней. Пусть в схватках ночной охоты сеть будет продрана, завтра к вечеру паук ее восстановит. Подвесной же кабель обычно остается цел и только становится крепче с каждым разом, как по нему пробегает паук, занятый починкой сооружения.

Тем временем все поворачивают к дому. Рабочий день закончен, и в центре внимания оказывается Фавье. До сих пор он молча орудовал лопатой, граблями, развозил на тачке перегной из компостной кучи в дальнем углу или так же молча помогал мусю Фабру, зато сейчас вознаграждает себя за молчание.

Фабр неравнодушен к своему помощнику. Фавье — старый солдат. Он повидал свет с ранцем за спиной, был в Африке, в Алжире, был в Крыму, под Севастополем. Ему есть что вспомнить, и он ценит внимательных слушателей.

Фавье любит поговорить о батальных трагедиях и казарменных комедиях, о проделках, за которые попадал на гауптвахту, о товарищах по несчастью, о махинациях хитрых каптенармусов, о секретах мастерства горнистов и барабанщиков. Репертуар его неисчерпаем.

На этот раз по дороге домой он рассказывает об удивительном кортеже, который еще новобранцем видел на пути из Тулона в Париж. На телеге под охраной пехотинцев и в

сопровождении ковылявших следом пяти дойных коров везли невиданное чудище. Тулонские матросы изрядно намаялись, пока сгрузили в порту полумертвое от испуга и морской болезни существо на растопыренных ножках и с длиннющей шеей. То был жираф, которого Мехмет-Али, египетский паша, первый консул Франции в Каире, послал в подарок Карлу X. Коров из жирафьего эскорта доили на привале, и африканский зверь, облизываясь, пил молоко, Фавье всеми святыми клянется: сам видел! А что поднялось в Париже! Все ринулись в Жарден-де-Плант поглазеть на подарок паши, парижанки стали щеголять в платьях из материи «жираф», пошла мода на высокие стоячие воротники, на взбитые прически, на удлиненное, утоньшенное. Фавье и сейчас помнит множество песенок о жирафе. Он помнит даже, как в казарму принесли прокламацию, в которой высмеивалось новое увлечение: людям жрать нечего, дети пухнут от голода, а тут каких-то чудовищ выпаивают молоком, и они как сыр в масле катаются.

Фабр, посмеиваясь, слушает Фавье и снова думает, что он просто пропал бы, если бы вместо минотавра и перепончатокрылых, вместо кожеедов и мешочниц, питающихся листьями ястребинки, ему пришлось бы содержать для опытов, например, жирафов!

Но вот все дома, собираются ко сну. И вдруг в комнате рядом со спальней Фабра возникает возня, шум. Полураздетый Поль вбегает с криком:

— Отец, иди скорей. Огромные, как птицы! Сколько их!

Не удивительно, что Поль вне себя. Под потолком его комнаты, широко размахивая глазчатыми крыльями, летают исполинские бабочки.

Фабр сразу вспоминает вышедшую утром из кокона сатурнию и зовет сына:

— Спустимся, сейчас увидим интересную штуковину!

И оба торопятся в кабинет, занимающий правое крыло дома. В кухне их встречает изумленная няня: размахивая передником, она гонит в открытое окно бабочек, которых приняла за летучих мышей.

Со свечой в руке входят Фабр с Полем в лабораторию и останавливаются. Комната заполнена бабочками, многие опускаются на сетку, покрывающую стакан с красавицей, вызвавшей этот переполох. Крылатые поклонники кружат в воздухе, гасят свечу, с которой вошел в комнату Фабр, продолжают носиться во мраке, садятся на головы, на плечи…

Вот что дает всегда открытое окно!

Фабр подсчитывает: в доме около сорока самцов сатурнии.

Откуда они слетелись? И чем подала им весть о себе эта единственная самка?

Ведь уже темно. Небо покрыто тучами, даже на открытом месте в саду едва различишь руку, если поднимешь ее к глазам. Да ведь им понадобилось еще пробраться в окруженный деревьями дом.

Только сегодня Фабр мысленно перелистывал страницы естественной истории психеи, самцы которой равнодушно пролетают над самкой, выпавшей из своего домика. Но вот перед ним гиганты мира бабочек, способные из мрака ночи, кто знает откуда добираться к самке слепым полетом.

Пусть Поль ложится и постарается заснуть. Фабр еще посидит за столом. Он набрасывает свои соображения по поводу происшествия, прикидывает первые планы опытов. Какими чувствами обладают эти существа, как, побеждая пространство, общаются между собой?

Фабр записывает:

«Легко находимое, недорого стоящее в содержании, насекомое представляет, на мой взгляд, более содержательный объект для натуралистических работ, чем высшие. Высшие так похожи на нас, что исследования не слишком нас обогащают, результаты чересчур однообразны. Насекомые, наоборот, обладают неслыханным богатством структур и повадок. Они открывают мир столь новый, что иногда кажется, вступаешь в беседу как бы с обитателями другой планеты…»

Записав еще несколько слов о необходимости проверить роль усиков в системе общения сатурнии, Фабр задувает свечу и ложится.

Сериньянская академия

«Занятость моя превосходит если не мужество, то силы и запас времени», — писал когда-то Фабр из Аяччо брату Фредерику. Теперь он мог бы повторить то же с еще большим основанием: сутки были такими, как полвека назад, а сил поубавилось. Зато возросла целеустремленность.

Фабр совсем не показывается в деревне. Когда заболел его друг — сельский учитель, весь Сериньян говорил о том, что мусю из Гармаса видели на улице, он шел навестить господина Шарраса.

Правда, один раз Фабр едва не поступился установленными

для себя правилами.

С юношеских лет был он республиканцем. В дни провозглашения Второй республики он в отличие от многих других преподавателей вместе с лицеистами вышел на улицу и примкнул к демонстрации.

Он был за республику, но никогда не думал, что может стать ее деятелем. А тут к нему неожиданно явилась делегация односельчан, собравшихся выставить его кандидатуру в муниципальный совет. Кто-то из сериньянских политиканов считал, что Фабр известен не только в департаменте, но и в столице («к нему в Авиньоне министр приезжал!»), и это придало его кандидатуре вес. Получив вызов на первое собрание, новый советник впервые за много лет облачается в вынутый из комода старый сюртук и без опоздания идет к мэрии, но на двери видит замок. Обескураженный Фабр нетерпеливо поглядывает на часы. Тут один из прохожих сообщает, что советники собираются не здесь, а в кафе.

— За стаканом винца да под музыку оно веселей, — посмеивается разговорчивый земляк. — Это сразу за углом, — добавляет он, дивясь наивности нового советника.

Фабр не может прийти в себя от гнева. Он собирался в храм служения обществу, а его, оказывается, пригласили в кабак! Он поворачивает домой. Столько времени потерять! Потом на память приходят стихи Беранже, которые он не раз повторял по другим поводам:

…И днем и ночью сущий ад!
Гремят, гремят, гремят, гремят!..
Угомонитесь, барабаны!
О, дайте мне покой, молю!
Политик я не очень рьяный,
А шума вовсе не терплю…

И, уже улыбаясь, Фабр закрывает за собой калитку. Больше никакими повестками и приглашениями не выманить его отсюда!

В стихах «К избирателям», опубликованных через несколько лет в «Альманахе Ванту», Фабр, проявляя теперь уже заметно большую политическую зрелость и осведомленность, писал:

«На выборах этого года конкурируют два кандидата — Басакьер и Басакан; один — малиновый, другой — белый. Оба не скупятся на обещания масла к хлебу, хотя, по совести, это два сапога пара, и, как ни крути, хрен редьки не слаще».

Перевод стихов почти буквален, но не передает полностью язвительной начинки десяти коротких строчек. Даже сходно

звучащие фамилии кандидатов отражают саркастическое отношение автора к системе Третьей республики.

Но это, пожалуй, единственное стихотворение на политическую злобу дня. Многие другие, как и книги, призывают дать людям труда право на место под солнцем жизни и культуры. В остальных Фабр выступает как певец природы, науки, поэзии, знания.

Нам уже известны философско-романтические строфы молодого Фабра, позже в Сериньяне он будет писать о сверчке, о падубе, о майском жуке, зяблике и силках птицелова… Если автор от этих тем и удаляется, то все же находит их здесь, в Гармасе. То — «Апрель», «Северный ветер», «Снег».

В стихах свет и тепло первых весенних дней и «безумный восторг миндаля, который торопится цвести», печаль и холод ночи, когда луна, «словно прачка, расстилает огромные белые простыни света, беззвучно спадающие на луга, холмы и скалы…»

В баснях он говорит о непослушном лягушонке, о маленьком кролике, о совенке, которому не дают заснуть неумолчно стрекочущие цикады.

Многие басни и, пожалуй, все детские песенки написаны для домашнего обихода, для подраставших Мари-Полин, Анны-Элен, для малыша Поля. Одна из басен рассчитана на взрослых. Это полемика с Лафонтеном по поводу его «Кузнечика и муравья». Сюжет известен у нас по крыловскому варианту как «Стрекоза и муравей». В качестве энтомолога и, значит, адвоката насекомых Фабр показывает безосновательность выпадов против якобы легкомысленного кузнечика. Кузнечик, по Фабру, веселый труженик, вечно поющий, несмотря ни на что, а муравей — жадный стяжатель, скопидом. Такой взгляд более согласен с природой и заключает более строгую мораль. А мораль далеко не энтомологическая. «Черт возьми! Что вы об этом скажете? Ах, жадные крючковатые пальцы, толстобрюхи, управляющие миром с помощью несгораемых шкафов! Вы распространяете слух, будто мастеровой всегда лодырь, бездельник, будто он, болван, по заслугам бедует… Замолкните! Ведь стоит бедняге дорваться до корма, вы его ототрете и потом, хоть мертвого, да слопаете…»

Эти строки стоят того, чтобы их поставить рядом с последними абзацами главы «Лист» из «Жизни растения» К. А. Тимирязева. В них такая же широта взгляда, такая же сила гражданского чувства, когда автор в страстном публицистическом отступлении естественно переходит от проблем биологических к проблемам социальным и нравственным.

Гонимый церковниками и реакцией, оторванный от бурных событий эпохи, Фабр, хотя и поглощен своими исследованиями,

не замкнулся в отчуждении от мира. Демократическая позиция его подчеркивается и тем, что большая часть стихов написана на провансальском; он был когда-то языком королей и трубадуров, а дальше, как и латынь, стал мертвым, но сохранился среди пастухов и землепашцев. Для Фабра язык его детства в Сен-Леоне и Малавале, язык его юности в пору странствий остался родным и в годы зрелости. А именно в ту эпоху, о которой идет речь, провансальский вновь превращался в язык литературы. Событие это стало страницей биографии и сериньянского натуралиста.

Тогда многие из знакомых Фабра писали на провансальском. Поэтами были и Феликс Гра, у которого Фабры собирались когда-то снять жилье в Вильневе, и Руманий, с которым Фабр много лет назад познакомился за общим столом в пансионате «у папаши Милле, кормившего всех морковкой». Руманий был к тому же не только поэтом, но и издателем: он выпускал альманах провансальской литературы. Его книжная лавка в Авиньоне, подобно вошедшей в историю русской литературы лавке Смирдина в Петербурге, стала местом встреч и писателей и любителей печатных новинок.

Фабр был здесь частым гостем и именно здесь познакомился с Фредериком Мистралем, выдающимся провансальским поэтом, которого сравнивали с Торквато Тассо, называли Бернсом Прованса.

Прослушав первую большую поэму Мистраля «Мирейо», друзья нашли, что вся она звенит, «как серебряные бубенчики на ногах танцовщиц Востока». Жан Ребуль — булочник из Нима, стихами которого зачитывался подросток Фабр, — отправил рукопись «Мирейо» в Париж Ламартину, и тот выступил со статьей о Мистрале, объявив: «Он сделал родной край книгой… Он создал из народного говора классический образный язык, подобно тому как Петрарка сотворил итальянский».

Мистраль рассказал о встрече с Фабром в письме своему авейронскому приятелю Франсуа Нанжаку. Педагог и ученый обрадовал поэта редкостным богатством словаря и оборотов речи, многообразием оттенков и интонаций, точных и метких, — часто не имеющих эквивалента во французском. Мистраль признал Фабра выдающимся провансалистом. А провансалисты того времени составляли целое общество, союз.

Еще в мае 1854 года в старой вилле возле Авиньона собрались ревнители родного языка, назвавшие себя веселыми братьями-фелибрами. Старинное слово «фелибр» — книготорговец, книжник — получило новое содержание. Фелибры прославляли молодость древней «провинции провинций», как именовался Прованс во времена Рима: голубое небо и жаркое

солнце края, красоту и благородство его народа. Но, воспевая край и народ, многие фелибры идеализировали патриархальщину средневековья, мечтали — и пытались! — возродить давно изжившие себя формы культуры. Это был реакционный полюс фелибрижа.

Вместе с тем в увлечении провансальским, которое широко распространилось в середине XIX века, жила запоздалая, но по той же причине обостренная реакция на преследования в эпоху Конвента вообще всех местных языков — патуа. А их в свое время объявили крамолой — пережитком феодального рабства, и одновременно зародышем федерализма. Однако имеется достаточно свидетельств — на них, к слову, обратил внимание русских читателей известный украинский общественный деятель и литератор Драгоманов, вынужденный эмигрировать на Запад, — что «провансальские и бретонские автономисты и даже чуть ли не сепаратисты едва ли не превосходили людей средней Франции ревностью в борьбе с врагом». По цензурным соображениям царского времени Драгоманов не мог прямо сказать, что говорит о борьбе с врагами республики, врагами революции.

Не удивительно, что состав учредителей братства оказался довольно пестрым: Обанель, к примеру, представлял чистого певца земных радостей, анакреониста, в Брюне же видели «красного».

Так или иначе, Мистраль многое сделал для того, чтоб проложить языку простого люда южной Франции дорогу в литературу. Тогда по всей стране из самых глубин народа поднимались одаренные мастера слова, писавшие на патуа и на французском. Слесарь Кайя, каменщики Лакруа и Понси, мясник Оливье, печатник Кассан, кузнец Гранье, возчик Лафоре, парусовщик Пелобан, башмачный гвоздарь Шовье, уже знакомый нам крестьянин Батист Бонне, Виктор Жемо — автор томика песен, за которые его судили при Второй империи, слесарь Дюран, сапожники Ложье и Луи Вестрепан из Тулузы, марсельский носильщик Луи Жестуен, горшечник Пейрот, парикмахер Жасмен, ткач Рок Гривель… Их выход на поэтическое поприще приветствовали крупнейшие писатели века.

Жорж Санд благословляла поэтов «с железными руками и громким голосом». Беранже ободрял плотника Шарля Понсе. Виктор Гюго говорил об успехах плетельщика веревок Савинье Лапуента. «Вы, люди из народа, как факелы освещаете путь». Бодлер в предисловии к книге лионского рабочего Пьера Дюпона объявил: «Топором разрублены цепи подъемного моста крепости. Дорога народной поэзии открыта!»

Фабр тоже пришел в литературу с этим пополнением. Мистраль одним из первых оценил литературный дар «великого савантас» — ученого. Открываемые автором «Сувенир», Фабр писал их на французском, новые миры и нарисованные его «волшебным пером» картины природы Прованса пленяют Мистраля.

Став лауреатом Нобелевской премии по литературе, Мистраль навестил Фабра.

— Прежде чем мы встретимся в раю фелибров, — сказал он, здороваясь, — нам следует хоть раз повидаться в вашем Гармасе.

В свою очередь, и Фабр был давним читателем Мистраля. В третьей песне «Мирейо» он нашел образное выражение своих мыслей о необходимости изучать живое прежде всего живым. Он часто повторял эти строки: «Ах, безумцы, которые, скальпелем вскрывая смерть, рассчитывают познать мудрость пчел и секреты меда…»

Фабр восхищался мистралевским трехтомником — словарем провансальского языка, его знанием истории и культуры края. Несколько раз выяснял и проверял Фабр у Мистраля подробности некоторых народных обычаев и примет, происхождение местных названий насекомых.

Фабр давно убедился, что, когда имеешь дело со старыми поверьями, приметами, обычаями, преданиями, иной раз на первый взгляд совсем нелепыми, их нельзя отбрасывать с порога: стоит копнуть глубже, и во многих обнаруживается рациональное зерно, крупицы действительного знания.

Говоря о фелибрах и Фабре, о Фабре и Мистрале, сделаем короткое отступление и скажем два слова также и о русском фелибре Николя де Семенофф, проще о Николае Николаевиче Семенове. Здесь не стоит выяснять, как сын вятского губернатора оказался деятелем возрождения провансальского языка. Ограничимся сообщением, что Семенов в России бывал наездами, а жил во Франции, печатался здесь во второразрядных парижских журналах «Монитер универсель» и «Монд иллюстре» и выпустил также серию написанных по-французски романов. Последний из них — «Наши кандидаты» — привел к дуэли между автором и принцем Палермским, узнавшим себя в одном из действующих лиц. Первый же роман Семенова удостоился уничтожающей саркастической рецензии Н. А. Добролюбова в «Свистке». Н. А. Добролюбов увидел в Семенове некую разновидность Демидова-сан-Донато, того самого, который у М. Е. Салтыкова-Щедрина именуется «князем Сампантре».

Русский меценат провансальской поэзии и друг фелибров не только прилежно и быстро сочинял романы. Пригласив известных

архитекторов братьев Гриволье, он «свил гнездо фелибров в самом сердце Прованса». Построенный ими на левом берегу Роны против Авиньона дворец «Зеленый дуб» стал местом парадных встреч фелибров. Здесь члены содружества читали свои стихи, здесь решались также, как теперь говорят, организационные вопросы. Из их числа отметим один: в 1909 году Консистория фелибров присвоила Фабру звание «фелибр мажораль», а также псевдоним «лю фелибр ди Таван», то есть фелибр насекомых. Отсюда и текст надписи на мемориальной доске, что прикреплена недавно к стене хижины в Сен-Леоне: «Дом фелибра насекомых». Новый фелибр мажораль был тогда же награжден высшим знаком отличия — золотым каркассонским кузнечиком.

К сожалению, в этой книге нет места для подробного рассказа об истории «Зеленого дуба» при Семенове и после него. Сообщим лишь, что теперь здесь филиал института Прованса при Сорбонне. В институте изучают историю и обычаи края, его язык и искусства, движение фелибров и творчество Мистраля, а также роль в культурной жизни Прованса того кружка, что был известен под названием Сериньянской академии, «салона Жана-Анри Фабра».

Название было, разумеется, шуткой, улыбкой, но чтоб яснее стал вложенный в него полемический подтекст, напомним, что настоящая академия, хотя и отметила несколькими научными премиями изыскания Фабра, фактически не признавала его ученым, дав лишний повод заметить, что во Франции «серьезная наука, приносящая доходы, почет и славу, только та, которая с помощью дорогих приборов разрезает животное на маленькие клочочки…»

Что касается салона. Фабр был достаточно наслышан о приемах, которые регулярно устраивала в Париже принцесса Матильда. Чуть не каждый день писали столичные газеты о проходивших здесь вечерах. Многое, что на них говорилось, задевало Фабра за живое. Его оскорбляла высокомерная снисходительность, с какой в салоне отзывались о народном любимце Беранже. Как было остаться равнодушным, читая, что здесь открыто подтрунивают над «луженой глоткой» Мистраля? Здесь в свое время отвергали, осуждали, высмеивали попытки Дюрюи перестроить систему народного просвещения. Когда неожиданно для себя здесь находили в «Жизни крестьянина» произведение полное поэзии, то лишь удивлялись, как мог это написать мужик.

В салоне бывал и старший Гонкур.

Но Фабру нравилось, что Гонкуры всецело захвачены, поглощены мыслью об искусстве, потому что он сам чувствовал

себя захваченным и поглощенным мыслью о живом, о его красоте. И если Гонкуры называли себя «шпионами, выслеживающими действительность», то Фабр считал, что сам он выслеживает действительность в мире насекомых и что нескоро, наверно, на земле появится человек, который целиком посвятит себя этому миру.

И вот фотография, под которой рукой Фабра написано: «Сериньянская академия». На снимке в центре — Фабр, а по обе стороны от него на скамье друзья. Слева — просто одетый, с белой бородкой клинышком Луи Шаррас, народный учитель, которого, растревожив всех сериньянцев, мусю из Гармаса ходил как-то навещать больного. А справа — чуть обрюзгший, ворот расстегнут, откинувшись на спинку, как и Фабр, в широкополой фетровой шляпе, но с лихими галльскими усами и невидящим взором слепых глаз — Мариус Гиг.

После смерти старого служаки Фавье помощником Фабра стал Мариус. Гиг ослеп в двадцать лет и с тех пор зарабатывает на хлеб плетением соломенных стульев и выполняет, кроме того, разные столярные заказы. Пилоны для скарабеев, например, сделаны Мариусом по проекту, который Фабр начертил ногтем на его широкой ладони. Такого чертежа Гигу достаточно, он все сделает без ошибки. Когда-то у великого швейцарского натуралиста Губера — он был слеп — незаменимым помощником стал слуга Бюрненс, отлично справлявшийся с проведением самых сложных опытов и наблюдений, в Гармасе зрячему натуралисту помогает слепой Гиг…

Много лет по четвергам и воскресеньям, как закон, а то и в другие дни недели навещали Фабра эти два человека — сельский учитель и рабочий. Они всегда в курсе исследований, которые ведутся в Гармасе, им первым читает Фабр новые страницы своих «Сувенир».

Как это ни трудно, Фабр каждый день улучает время, чтоб закрыться в лаборатории. Попыхивая вересковой трубкой, неспешно шагает он вокруг большого стола, занимающего середину комнаты. Он сам говорит о себе: в эти часы я похож, должно быть, на медведя.

За тридцать лет на плитках пола вокруг стола протоптался заметный след.

Шагая, он обдумывает очередную главу, очередную страницу, строку. Чтоб голова работала в полную силу, ему необходимо движение. Пока он кружит взад и вперед по комнате, все задуманное проясняется до мелочей. Лишь тогда садится он за крохотный стол, о котором так прочувствованно написал потом:

«…Занятый направо чернильным пузырьком стоимостью в

грош, мой письменный стол дает мне достаточно места для работы пером. Люблю я этот столик… Его легко переставлять куда надо: ближе к окну, если пасмурно, подальше от света, когда солнце чересчур палит, а зимой — подвинуть к печи, в которой горят дрова.

Вот уже полвека я верен тебе, маленький столик из орехового дерева. Весь в чернильных пятнах, изрезанный перочинным ножом, ты служишь мне для моих литературных работ, как в прошлом служил для решения математических уравнений. Ты равнодушно отнесся к смене моих занятий. Твоя терпеливая спина одинаково подставляет себя для формул алгебры и формул мысли. Смена занятий не принесла мне душевного покоя. Отшлифовка мыслей изнуряет ум еще больше, чем охота за корнями уравнений… Один из твоих углов обломался, доски расходятся. В глубине твоей время от времени слышится царапанье жука точильщика, живущего где-то в старом дереве… Он здесь не один. Теперь уже много насекомых живет в твоих досках. Я пишу под их шорох и шелест. Можно ли себе представить лучшее место для работы над энтомологическими воспоминаниями?

Что будет с тобой, когда не станет твоего хозяина? Продадут ли тебя на аукционе, когда пойдут с молотка все эти жалкие пожитки? Или домашние все-таки сберегут тебя, сказав: пусть сохранится как память!»

Так оно и получилось. После того как Гармас стал филиалом Национального музея естественной истории — это один из главных центров биологической мысли во Франции, здесь все сохраняется, как при Фабре. Столик с чернильницей стоимостью в грош и ручкой такой же стоимости стоит на старом месте, но только теперь столик прикрыт прозрачным целлофановым чехлом, а на столе лежит раскрытая рукопись. Чернила от времени сильно выцвели, и прочитать выставленные на обозрение посетителей строки уже невозможно, хотя тот, кто писал их, «окунал перо не только в чернильницу, но и в душу».

Однако в те годы рукописи не оставлялись на столике. Фабр относил их на суд друзей. Им же первым читал он свои стихи и басни. И Гиг и Шаррас знали и чувствовали поэзию. Шаррас — ревностный фелибр, деятельно работал в школе фелибров Ванту, почетным председателем которой был избран Фабр.

Друзья смотрят рисунки Фабра, слушают его стихи и музыку. В этом глухом углу в искусствах приходится довольствоваться натуральным хозяйством! Отшельник из Гармаса продолжает вот уже какой год писать красками портретную галерею грибов Прованса, он пишет и музыку для детей. Среди старой мебели —

она никогда не была модной — стоит и подержанная фисгармония, и Фабр исполняет на ней собственные сочинения. Никогда не учившись этому искусству, он освоил законы гармонии и ноты пишет, как рисует акварелью, — по-своему.

Мы принесли полученный из Франции сборник музыкальных произведений Фабра композитору Д. Б. Кабалевскому. Выдающийся знаток французской музыки, автор известной оперы о Кола Брюньоне «Мастер из Кламси» целый вечер просидел у рояля, с интересом проигрывая мелодии мастера из Гармаса. Должно быть, впервые под небом России звучали пьесы Фабра, в которых слышится то традиционное многоголосье, идущее, может быть, еще от воспоминаний мальчишки — церковного статиста из Родеза, слушавшего Баха, то влияние народной французской песни, то в одном случае неожиданный отголосок протяжной русской, которую не Фавье ли занес из-под Севастополя в Сериньян? Но особенно любопытны в этой музыке, полнее всего отражают индивидуальность автора его попытки передать мелодии, голоса и ритмы самой природы: щебет птиц, шаг копытных, прыжки кролика, стрекотание кузнечиков, гудение жуков, шелест стеблей, колеблемых крыльями стрекозы… Фабр чутко слышит то, что совсем не занимает других.

Так, темной ночью круглоглазая сова светящейся видит крадущуюся в густой траве мышь.

Кроме Шарраса и громогласного Гига, который с палкой в руке без провожатых добирается один в Гармас, здесь часто бывают и другие верные друзья — пламенный фелибр Пьер Жюлиан, профессор зоологии из Марселя доктор А. Вейсьер, директор авиньонского лицея Луи Матон, выдающийся авиньонский краевед Ж. Шарль-Ру, доктор Ж. Легро.

Не перечесть рассказов о вечерах в Сериньяне, очерков с описаниями прогулок по заповеднику и окрестностям, когда уходили в степь мимо развалин замка, принадлежавшего фаворитке Генриха II — Диане де Пуатье. Замок в XVI веке был разрушен гугенотами, но в подвалах за окнами с ситцевыми занавесочками, цветочными горшками, клетками с кенарами все еще живут… В самом Гармасе часто посещали оранжерею. Это называлось «паломничеством в зеленую часовню».

Участники встреч больше всего места в воспоминаниях уделяют беседам, которые велись летом в тени платанов, зимой у очага, в котором пылают дрова. За стеной ревет, сгибая кипарисы, мистраль, струи дождя бегут по стеклам окон, но никто не замечает непогоды. То же и зимой: «вьюге злобной и ворчливой не войти в уютный дом. У огня кружок наш тесен»… Здесь нет места светской пустопорожней болтовне на ничего не значащие

темы. Молодые друзья и ровесники слушают рассказ хозяина о подробностях очередной работы. Говоря, он жестами словно аккомпанирует себе.

О многом из того, что обсуждалось за столом в Гармасе, Фабр рассказал в своих «Сувенир». Конечно, в десяти томах этого сочинения немало несостоятельных, как сейчас ясно, мыслей. Здесь Фабр неверно оценивает перспективу использования какой-нибудь технической новинки, там ошибается в анализе социальных явлений. По Фабру, например, только «пахарь был опорой нации», и «зажиточность в крестьянский дом приходила вместе с ростом семьи, в которой трудились все»…

Но вместе с тем он выступал против смертной казни, против применения детского труда на фабриках и заводах. Он обличал дельцов, которые способны испакостить Ванту пышным кабаком и, разглагольствуя о цивилизации, уродуют и разрушают природу. Страстное негодование вызывали в нем декадентское манерничанье, циничные теории, согласно которым «долг — это предрассудок дураков, совесть — пережиток олухов, гений — форма невроза, любовь к родине — шовинизм». Он отказывался поверить, что «мы пришли в этот мир, чтобы пожрать друга друга», что «идеал воплощен в набитом долларами сундуке торговца свининой из Чикаго». Он выступает против демагогической спекуляции лозунгом равенства, неправильно трактуемого и неверно ориентирующего, ибо он убежден, что процветать может общество, богатое многообразием одаренностей и талантов. «Только активность может укреплять настоящее и обеспечивать будущее… Действовать — вот что такое жить! Работать — вот в чем заключается прогресс!»

Фабр часто читает вслух особенно понравившийся ему отрывок из новой книги или декламирует стихи, которых знает на память неимоверно много. Любимые его авторы — поэт лангедокской деревни Биго; Эзоп, чьи басни он читает по-французски и по-гречески; Эсхил, его он находит самым искренним и правдивым поэтом древности. Из стихов Беранже Фабр особенно любит «Смерть дьявола», «Добрый бог», «Бог простых людей».

Как выразительно читал он первую строфу «Доброго бога»:

Надевши туфли и халат,
Однажды утром, говорят,
Господь открыл окошко:
«Дай погляжу немножко,
Цела ль земля? Как там дела?»
И видит — кружит в небе мгла…

Читая последние строки, он преображался, и голос его гремел:

Я в тех, кто с сердцем и с умом,
И я всегда был чужд злословью.
Живите счастьем и любовью
И, ненавидя звон цепей,
Гоните в шею королей!
Кто там?
Шпион?..
Когда пробраться
Сумел на небо он?
— Признаться,
Мне надо к черту убираться.

Казалось, он сам от своего имени говорит в «Боге простых людей»: «Есть божество; довольный всем, склоняю и без молитв я голову свою… Вселенной строй спокойно созерцаю, в ней вижу зло, но лишь добро люблю. И верит ум мой будущему раю, разумных сил предвидя торжество…»

Друзья забывают, что это стихи Беранже. Разве в самом деле не о себе говорит этот семидесятипятилетний старец, презирающий ханжество и отвергающий человеконенавистнические сказки церковников: «Не может быть! Не верю в гнев небесный! Свой долг земной я выполнил как мог…» И кто это — Беранже или Фабр — заявляет в том же стихотворении: «Я знаю, что вправе жить живое существо!..»

Вокруг Фабра — скромные труженики, но тем любовнее относится к ним старый натуралист. Он про себя посмеивается: человек, как кизиловая ягода, только тогда чего-нибудь стоит, если отлежал свое время на соломе.

Рядовые провинциальные интеллигенты, собирающиеся под большой лампой в столовой, убеждены, что Гармас стал такой же заслуживающей известности точкой роста культуры, как Воклюз, или Ферней, или Веймар, видят, что во Франции лишь немногие догадываются, представляют себе, что сделано Фабром как энтомологом, педагогом, просветителем, писателем, каким примерам творческого служения долгу и призванию стала его жизнь. И они, эти люди, почувствовали себя обязанными рассказать соотечественникам, кто есть Фабр. Впоследствии каждый в меру своих сил внесет свою долю в общее дело.

Аглая будет первым собирателем экспонатов Гармаса. После

ее кончины хранителем дома-музея станет сын доктора А. Вейсьера — Поль, который с отцом нередко навещал Фабра. Ж. Шарль-Ру один из своих трудов по истории Прованса посвятит специально Фабру. Луи Матон защитит в Лионе уже упоминавшуюся в этой книге докторскую диссертацию о Фабре-педагоге. Пьер Жюлиан соберет и издаст стихи, песни, поэмы, басни Фабра, снабдив провансальские стихи французским подстрочником. Но больше всех сделает доктор Легро. О том, как он воевал за признание Фабра, рассказывается дальше.

Сейчас приведем отрывок из одной беседы, которая велась под большой лампой в столовой.

Фабру пошел восьмой десяток, и он не самообольщался, заглядывая в будущее, но не избегал разговоров на эту тему.

— Что вы сделаете, когда попадете в рай? — спросили его однажды. — С кем будете встречаться, если не секрет?

— Какие тут могут быть секреты! — прищурился Фабр, попыхивая трубкой, которая в последние годы стала чаще гаснуть. — Прежде всего поищу Горация и Вергилия, поинтересуюсь, где тут Дюфур. С Дарвином обязательно побеседую на человеческие темы, рад буду повидать Бернардена де Сен-Пьера и Жан-Жака Руссо… Но кого буду избегать, так это Бюффона и Расина…

— Позвольте, мусю Фабр, — заинтересовался один из гостей. — Как же это вы язычников Горация и Вергилия встретите в раю?

Фабр посмотрел на спрашивающего и, нахмурившись, сказал:

— Подайте-ка мне, пожалуйста, огоньку, опять трубка погасла…

Полвека

Весна… Какой раз встречает ее, укрывшись за каменной стеной Гармаса, Фабр? А с тех пор, как стал энтомологом? А если считать со дня, когда, впервые уйдя из дома на заработки, увидел мраморного хруща? Казалось, он многое узнал, но любой решенный вопрос порождает новые, исследования не сокращаются, но с каждым годом растут. Таков закон науки.

…В двух километрах от Гармаса лежит русло Аига. Вопреки географам, считающим Аиг рекой, Фабр склонен видеть в нем поток гальки. Конечно, галька не сама струится. Талые воды, сбегающие с гор, заполняют русло, и тогда шум доносится к дому

на краю Сериньяна. Кончится весна, и лишь лужи по берегам будут напоминать о недавнем буйстве воды и камня.

Фабр давно подметил, что Аиг сносит в долину самых неожиданных зеленых переселенцев; они добираются сюда в виде семян, кусочками корневищ, черенками. Кое-какие из новоселов приживаются, правда, ненадолго — гибнут от летней засухи, но другие, приноровившись к условиям низины, пускают крепкие корни.

В зарослях по берегам русла Фабр обнаружил и снесенного из горных мест орешникового аподера. «Аподер» по-гречески — голый, лишенный кожи. Такое впечатление производит пунцовый, словно с головы до ног скальпированный жучок. Эта капелька крови на высоких ножках отчетливо вырисовывается среди темной зелени. Жук прорезает в листе небольшие круглые отверстия, а из вырезанных кусочков листа свертывает подобия сигар — дом и склад корма для личинок.

Вообще-то аподер орешниковый и не водится в долинах Прованса; здесь слишком сухо и жарко для питающих его деревьев. Другое дело горы: полно орешника, и аподера сколько угодно. Здесь, у Аига, Фабр нашел аподера не на орешнике, а на черной ольхе, на одной-единственной, хотя ее полно вокруг. Уже третий год наблюдал Фабр эту колонию. Туговато новоселу: и места не те, и питание не то. Но, видимо, и дерево, на котором пристроился выходец с гор, чем-то отличается от соседних и сам переселенец не так закоренел в своих привычках. Сосет соки ольхи и продолжает размножаться.

Фабр выписывает аподеров из других мест, рассматривает под лупой, под микроскопом, сопоставляет подробности поведения при свертывании листков орешника. Никаких отличий от того, что живет на ольхе!

Можно ли на основании трехлетних наблюдений над одной колонией на одном дереве делать широкие выводы? Торопиться, конечно, нельзя…

Да что три года? Гиперметаморфоз у жуков нарывников Фабр изучал двадцать пять лет, историю пчел галикт начал писать в Оранже, а продолжает еще и сейчас, спустя почти тридцать лет. Одновременно в поле его зрения находятся насекомые и паукообразные добрых пяти десятков семейств, двух с лишним сотен родов, несчетного числа видов. Всех больше, чем гальки в русле Аига.

И потому Фабр уже давно не один ищет и смотрит вокруг себя. Первыми его помощниками стали Антония, Жюль, Эмиль, затем Мари-Полин и самый младший — Поль.

Эмиль раздобыл под Марселем гнездо пчел смолевщиц. Клэр,

живущая на другом конце Прованса, порадовала отца редкими одинерами и присылает не только самих ос, но и описание опытов и наблюдений. Анне было шесть лет, когда она обратила внимание отца на нескольких насекомых, копошившихся в кусочке кроличьей шкурки, которую не смог переварить желудок лисицы. То был трокс перловый.

— Какие только вкусы не встречаются! — подивился Фабр, рассматривая редчайшую находку.

Даже внучка Люси, гуляя с дедом, вносила свой вклад в науку.

Кроме домашних, неоценимую помощь оказывают деревенские ребята. По заданию Фабра обыскивают окрестности, добывая новых насекомых и корм иждивенцам лаборатории Гармаса. Детишки из Сериньяна доставляют то труп змеи на палке, то ящерицу на капустном листке, приволакивают крысу, вынутую из капкана, кролика, отравившегося ядовитой травой. Поставщики готовы принести сколько угодно навоза для скарабеев и в чем попало — на куске черепицы, в насквозь ржавой печной трубе, в корзине, в голенище сапога, в крайнем случае в собственном картузе. Церемония приема поставок завершается показом садков со скарабеями, скатывающими свои шары. Неплохой спектакль, особенно когда за щекой леденец!

Фабр высоко ценил сотрудничество этих юных натуралистов. Особенно часто беседовал он с парнишкой-пастушонком, рассказывал ему о жуках навозниках, о том, как следить за всем, что происходит вокруг оставленного животными помета. Загадка, занимавшая еще египетских мудрецов, должна быть, наконец, раскрыта на сериньянском пастбище. Пастушонок научился взрезать ножом места, где выброшена свежая земля; он роет, ищет и докладывает Фабру. Фабр и сам приходит к нему до рассвета. Оставив семьдесят блеющих овец на присмотр огромного пса Фаро, они выслеживают жуков, пытаясь найти навозный шар с личинкой.

В одно из воскресений второй половины июля пастушонок примчался задыхаясь. Он увидел выходившего из земли жука, покопался на этом месте и сразу нашел.

Он протянул Фабру небольшую, словно выточенную мастером коричневую модель груши, муляж, сделанный из навоза. Поверхность плотная, а кривизна линий восхитительна.

В понедельник с рассвета на пастбище начались поиски. По холмикам свежей земли, выброшенным на поверхность, определены места, где укрылись навозники. В дело пущена походная лопатка, и, наконец, искатели у цели: во влажной сырости подземелья лежит великолепная груша.

Сорок лет отделяют этот день от первых походов за скарабеями на плато Англь. Теперь — честь и слава пастуху! — тайна раскрыта. Найдя еще несколько гнезд, а в них еще несколько груш, Фабр увидел в одних жука-мать за отделкой груши, в других белое зернышко яичка в маленькой ложбине узкой части.

Значит, продовольственным запасам, собираемым для потомства, жуки придают иную форму, нежели провианту для собственного прокормления! Эту подземную грушу жуки формуют только из овечьего навоза. Теперь понятно, почему не удавались Фабру прежние опыты, когда он предлагал лабораторным скарабеям для потомства тот же корм, которым питал их самих. И здесь, как у перепончатокрылых хищников, молодь питается иначе, чем взрослые.

Теперь основные законы воспитания разведаны, и скарабеи, посаженные в стеклянные гнезда, уже не погибают, как прежде, а, получая нужное им сырье, строят гнезда, откладывают яйца.

Но почему груша, а не шар?

Если пища в почве пересохнет, личинке — смерть! Жук уплотняет оболочку кормовых запасов и укладывает их так, что они представляют наименьшую испаряющую поверхность. Тогда это должен быть все же шар! Но личинке нужно не только есть, а и дышать. Оттого рядом с шаром выступает узкая часть, на краю ее и отложено яичко. У других навозников пища для личинок укладывается в виде колбас или наперстков, но яйцо всегда лежит ближе к краю, где зародышу обеспечены воздух и тепло.

У скарабея шар соединен с цилиндром. Этого требуют условия существования, но жук, повинуясь невыявленным пока побуждениям, изменяет лишенную красоты конструкцию — из цилиндра, приставленного к шару. Он связывает их так, что получается груша, и эта груша представляет настоящее произведение искусства.

Но, может, старые глаза обманываются? — спрашивает Фабр.

Он себя проверит. Каким образом? Единственно надежным: поставит опыт. Он собирает жюри из пятерых ребят, старшему нет и шести, и предлагает на выбор две груши: одну — скарабея, а вторую — очень тщательно выполненную им самим. Все пятеро отдают предпочтение груше скарабея.

Единодушие судей потрясло Фабра. Он не может прийти в себя: крохи, не умеющие еще вытереть нос, уже обладают чувством прекрасного, воспринимают тонкость очертаний, способны отличить подлинное от подделки! И значит, скарабеева груша в самом деле красива.

«Обязательно ли для жука чувство красоты? — записывает

Фабр. — Какая наивность! Разве снежинка представляет себе всю прелесть своих шестилучевых звезд? Вот и скарабей прекрасно может обходиться без чувства красоты, а создает подлинно очаровательные, на вид точеные груши».

Фабр привлекает на помощь своей лаборатории не только детей.

Крестьянин, доставляющий для кухни овощи, берется приносить в Гармас трупы кротов. Эти твари слишком докучают ему на огороде. И он действительно приносит их, связывая по три-четыре и прикрывая капустными листьями. Наверно, думает он поначалу, мусю из Гармаса хочет сшить себе теплый жилет…

Мышей, нужных, как и кроты, для пожирателей падали, обещают поставлять соседи, но они понимают, что из мышиных шкурок жилета не сшить. Впрочем, обещания остаются невыполненными: тут оправдывается провансальская поговорка, которая в самом деликатном переводе звучит так: «Раз потребовался навоз, у осла начинается запор». Соседи только руками разводят: то мыши житья не давали, а сейчас ни одной.

В конце концов смотритель сельской ночлежки, в которой бродяги и нищие спят на старой соломе, доставляет первый трофей. Фабр отмечает его короткой записью: «Что сказал бы г. Рене де Реомюр, собиравший к себе маркизов посмотреть на линьку гусениц, узнав, как приходится изворачиваться его будущему ученику?..»

Наблюдения над пожирателями трупов, опыты с навозниками приводят к мысли о разнообразии аппетитов, о способах питания.

Новыми фактами обогатил Фабра и чердак сельского мясника, где развешаны бараньи шкуры и свалены в кучу кости. Фабр нашел здесь кожеедов-дерместов, красноглазых мух и целые стада редувия ряженого. Этот клоп, как выяснилось, уничтожает кожеедов.

Изучая кладку яиц редувия, Фабр обнаружил, что созревшая личинка выходит из яйца, отбрасывая крышечку. Ее толкает изнутри «радужная пленка» — пузырь, раздуваемый скопившимся в яйце углекислым газом, продуктом жизненного окисления. Это микрособытие, но какое интересное!

«Он растет постепенно; словно мыльный пузырь, который надувают через соломинку», — пишет Фабр. В мастерской природы и воздушный шарик, подобно мыльному пузырю одетый в сапфир, эмаль, золото, лазурь, оказывается не пустой забавой, а служит самой жизни.

Крышечка упала несколько минут назад. Беленькое создание выходит, плотно завернутое в пеленки. Конец брюшка еще в отверстии, которое окружено обрывками кожицы и служит ему

опорным пояском. Новорожденный бьется и перегибается назад. Эти движения полезны: они рвут пеленки по швам. Свивальник, чулочки, штанишки, чепец — все постепенно обращено в лохмотья и сброшено.

Но такой процесс, как появление на свет личинки, или ее окукливание, или выход из кокона совершенного насекомого, происходит в жизни существа лишь однажды. Никогда больше не приводятся в действие необходимые для того приспособления. А ведь они обеспечены особыми органами, которые, тоже однажды сработав, атрофируются, исчезают. Каждый вид владеет своими способами, оснащен своими физико-химическими системами. В микрособытии раскрывается одно из самых поразительных явлений природы. Прав был Дарвин, говоря, как важно постигнуть происхождение подобных разовых инстинктов и приспособлений!

После редувия Фабр переходит к изучению лесных клопов щитников и обнаруживает, что откладываемые ими крошечные яйца нисколько не уступают в красоте птичьим, которыми он восхищался еще в детстве, дивясь расцветке и совершенству формы.

Казалось бы, «клоп… Плоское, скверно пахнущее насекомое… Но яички очень хороши: прелестные алебастровые горшочки, прозрачные, с светло-серым оттенком. Я хотел бы, чтобы существовала сказка, в которой крошечные эльфы пьют липовый настой из таких чашечек…»

Какая тема для историка литературы! Наблюдатель-натуралист все видит точно, и в то же время чистым, прекрасным, а его современники, некоторые последователи натуралистической школы, чуть ли не состязаются в приземленном воспроизведении грязи, патологии, уродства.

Эпигоны литературного натурализма изобразили бы чистым дикарем и земляным человеком сериньянского рабасье — охотника за грибами, с помощью своей невзрачной взлохмаченной собачонки разыскивающего в лесу трюфели для продажи. А Фабр искренне гордится доверием, которое оказал ему охотник, разрешив походить по лесу, посмотреть собаку в работе. Экскурсия с рабасье открывает Фабру целую группу новых насекомых; они потребляют подземные грибы и отыскивают их в принципе так же, как собака, — по нюху.

И здесь проблема, заслуживающая внимания. Для человека грибы, что находит собака, пахнут на расстоянии не сильнее, чем галька из сухого русла Аига, а жуки больбоцеры безошибочно их обнаруживают.

Фабр исследует в лаборатории обоняние этих жуков. Они

чуют только цель, расположенную совсем близко. Но недавно здесь была проверена острота обоняния ночных бабочек, сатурний и других, которые принимают зовущие сигналы с весьма большого расстояния.

Какие пеленги может давать самка сатурнии? Голова, грудь и брюшко ее вдвое меньше мизинца, а запах исходит от выделений совсем крошечных желез, однако насыщает сигналами воздух в радиусе нескольких километров. Все равно, что окрасить озеро зернышком кармина!

Но, может, запах имеет разные происхождения и вызывается не только отделением частичек, а и колебанием вещества?

В одном отрывке, не вошедшем в «Сувенир», Фабр пишет: «Гриб роевник не фосфоресцирует, но оказывает на фотопластинки такое же действие, как луч света. Несветящийся роевник производит то, чего не дает гриб светящийся. Тот же результат и с грибом импудикус… У обоих отвратительный запах. Это еще один повод проверить, не имеет ли запах сходства, пусть отдаленного, со световым излучением».

— Может быть, в самом деле, — размышляет Фабр, — в запахе, как и в свете, есть свои х-лучи? Не исключено также, что насекомое посылает в пространство не только ароматические, а и какие-то неизвестные нам сигналы. Когда *наука, наученная животным* (так именует автор «Сувенир» еще не существующую в его время бионику, разрядка наша. — *Авт.*), подарит нам в один прекрасный день радиограф запахов, этот искусственный нос откроет новый мир!

Вот с какими мыслями вернулся мусю Фабр из похода с сериньянским рабасье, почтившим его своим доверием.

Таким же доверием пользуется Фабр и у других сериньянцев. Они убедились: этому человеку известно об их работе все, что может знать землепашец о поле, пастух о пастбище, животновод о скотном дворе, птичница о курятнике, овощник об огороде. Никто не говорит с ними так уважительно, никто не умеет так вникать в детали.

И уж если он попросит собрать для него личинок, не сомневайтесь — через несколько дней ему будут доставлены сотни. А если понадобится проверить, не имеет ли фасоль вредителей, он получит консультацию самых дотошных хозяек. Да еще милейший Шаррас, кроме того, опросит в школе ребят, кто помогает бабушке перебирать фасоль. В конце концов Фабр сочтет себя вправе обобщить: эти культуры здесь насекомыми не повреждаются. Зерно гороха, бобов, чины, чечевицы часто бывает источено, а фасоль всегда чиста.

Фабр решает проверить, что рассказывают о пище крестьян

античные авторы. Полно упоминаний о разных бобовых — и ни слова о фасоли! Видимо, верно, что родина фасоли не в Европе. Он установит потом — растение привезено в Европу из Америки. Тем серьезнее сообщение, что вблизи портового города на посевы фасоли напал вредитель. За ним следить и следить! «Америка вообще не шутит, когда посылает нам свои энтомологические напасти. Не забудем, что ей мы обязаны филлоксерой, которая столько несчастий принесла нашим виноградарям. Не ей ли мы сейчас обязаны и фасолевой зерновкой?»

К Фабру прибегают шелководы, когда поздние утренники погубили листву тутовых деревьев и обрекли на голод гусениц. Он вместе со всеми ищет кормовых заменителей для спасения грены.

Он учит хозяек, как оберегать продукты от мух и спасать от моли шерстяные вещи. Он проверяет крестьянские способы приготовления грибов и подтверждает, что кипячение их не портит, даже повышает усвояемость.

К сообщению об этом он припишет: «Я имею в виду не гурманов, а людей, воздержанных в пище, *особенно работников земли* (слова выделены в тексте самим Фабром), и буду считать себя вознагражденным за труд, если хоть немного смогу способствовать распространению этих мудрых рецептов относительно грибов Прованса, которые так обогащают меню потребителей фасоли и картофеля. Для них особенно важно уметь отличать вредное от безвредного и опасное от полезного».

Достаточно ли этих сотрудников Фабру? Удовлетворяют ли его их помощь и содействие? Вряд ли; да и слишком разнообразны формы жизни, чтобы рассчитывать постичь на одном месте хотя бы самое главное.

Нет-нет и просыпается желание, которое он впервые испытал больше полувека назад в Бокере, разукрашенном многоцветными полотнищами и штандартами, на Роне, заставленной кораблями, приплывшими под разными флагами с трех континентов.

Обежать мир от полюса до полюса. Допрашивать жизнь под всеми широтами в ее единстве и бесконечной несхожести. Какое наслаждение для умеющего видеть! Он готов примоститься хоть на уголке ковра-самолета из «Тысячи и одной ночи».

Но розовым мечтам, разбуженным когда-то книгами, прочитанными в юности, а потом оживленным зрелой научной страстью, пришлось отступить перед реальностью домоседской жизни. Его исследовательское поле ограничено четырьмя стенами, огородившими каменистый участок.

Ну и что же, для богатой жатвы идей не обязательно отправляться в экспедиции. Они ему не по средствам, да уже и не

по силам. Сейчас ему, кажется, больше пристало знаменитое кресло Ксавье де Местра, на котором было совершено «Путешествие вокруг моей комнаты». И Фабр снова и снова маленькими рейсами обходит свой Гармас. Здесь тоже работы достаточно. Для нее мало одной жизни, а его подходит к концу. Когда тут паломничать по дальним странам?

Впрочем, Фабр нашел способ заполучить местечко на ковре-самолете. Этой удаче он обязан одному из своих читателей, вступившему с ним в переписку. Следуя указаниям и советам из Гармаса, аргентинский натуралист проводил наблюдения и опыты, отсылал Фабру отчеты, знакомил его с нравами навозников в Пампасах.

Таких чужеземных корреспондентов у Фабра немного. Но были другие. Девятилетний мальчик, прочитавший на обложке школьной тетради отрывок из «Сувенир», отправил Фабру письмо с вопросами. Угадав в ребенке будущего натуралиста, Фабр ответил матери, попросив разрешения послать мальчику живых насекомых. Академик Жан Ростан, один из старейших ныне биологов Франции, до сих пор хранит письмо Фабра, присланных им жуков, домики психей, гнезда осмий…

Полвека назад, еще на холмах Вильнева против Авиньона, собирая тысяченожек, о которых он писал диссертацию, Фабр впервые увидел скорпиона лангедокского. К вильневским кадрам впоследствии прибавилось много других, однако цельной картины все не получалось.

«Дитя мрака с хвостом, заброшенным на спину, и капелькой яда, сверкающей жемчугом на конце», — картинно описывает Фабр это создание. Он быстро подметил, что скорпионы никогда ему не встречались вместе, а если уж под каким-нибудь камнем было двое, то один пожирал другого.

Здесь на Сериньянских холмах, заросших толокнянкой и вереском, скорпионов много, и Фабр заселил ими большой стеклянный садок. Он именует его вольером.

Под двадцатью пятью обломками черепицы обитают двадцать пять скорпионов. К ночи их стеклянный дворец становится оживленным, и семья Фабров после ужина любуется диковинным зрелищем.

На скупой свет лампы стягиваются, выныривая из темноты, обитатели вольера. Едва соприкоснувшись концами клешней, они разбегаются, будто их обожгло, а успокоившись во мраке, появляются вновь. Неясное сцепление ножек, клешней, которые щелкают, смыкаясь и раскрываясь, длинных хвостов, которые запрокидываются на спину и соприкасаются. Можно подумать, закипает смертельная схватка, но то лишь игра. Скорпионы снова

расходятся — каждый в свой угол.

Это не конец. Опять и опять собираются они перед лампой, приходят и уходят, исчезают и возникают, все чаще встречаются лоб в лоб. Наиболее шустрый пробегает по спине второго, а тот ничуть не смущен, только поводит хвостом. Но вот лапы скрещиваются. Упершись лоб в лоб, отведя в стороны клешни, двое столкнувшихся опираются передней частью тела на землю, а всю заднюю часть поднимают почти вертикально, обнажая светлые зеркальца дыхалец. Выпрямленные вверх хвосты скользят один по другому. И вдруг пирамида рассыпается, участники разбегаются.

Что это было? Состязание соперников? Первое объяснение в любви? Или уже предсвадебная сарабанда?

Затем следуют сентиментальные прогулки. Протянув друг другу клешни, изящно закрутив хвосты, парочка медленно прохаживается вдоль стекла. Можно подумать, они обмениваются нежными взглядами.

Внезапно скорпион меняет направление и, не выпуская клешней подруги, становится бок о бок с нею. Они не движутся. Иногда только встречаются лбами, наклоняясь то вправо, то влево, словно о чем-то шепчутся. Если перевести их безмолвные признания на человеческий язык, сейчас, несомненно, звучит эпиталама.

Временами кажется, что рты соприкасаются. Но создания эти не имеют ни головы, ни лица, ни тем более губ. Изуродованное будто ударом ножа, животное лишено даже рыла, морды. Там, где взгляд привык находить лицо, смыкаются нижние челюсти. И все же Фабр записывает при свете лампы: «Умилительно и по наивности и по нежности. Неверно, что поцелуй изобретен голубем. Я знаю предшественника: то — скорпион!»

И снова уходы и появления. Парочка кажется полупрозрачной и блестит, словно сделана из цельного куска янтаря.

Около десяти вечера, взбежав на приглянувшийся ему черепок, самец отпускает одну клешню подруги, второй по-прежнему придерживает ее, а ножками гладит и обметает хвостом. Введя самку в укрытие под черепицей, он входит следом, и пещерка закрывается изнутри валиком песка.

Фабр сопоставляет увиденное с протоколами других брачных церемоний: у пауков, у прямокрылых, у жуков десятков видов, у мух, бабочек, у ос, пчел… Он вспоминает свое старое стихотворение о робком молочае. В скромных зеленоватых, тщательно замаскированных цветках не меньше изящества и естественной поэзии, нежели в пышных вакхических венчиках. Та же красота, в которой язык красок, форм, ароматов дополнен

ритуалом повадок, открывается в брачных церемониях животных. И те же здесь гаммы: от классических голубей до этого скорпионьего парада в ночи. Несмотря на свое великолепие, свадьба их, подобно подземному цветенью, остается незаметной.

Всю ночь Фабру чудятся скорпионы, они бегают по одеялу, щекочут лицо, руки.

Но утром он не заглядывает в садок: дальнейшее ему известно. Теперь самка скорпиона, такая пассивная до свадьбы, убивает супруга, рвет в клочья и поедает дотла.

Фабр не раз наблюдал подобные завершения брака у прямокрылых. Самка богомола, эта Синяя Борода мира шестиногих, одного за другим убивает семь своих мужей. Такие же драмы происходят и у паукообразных. Все это, как правило, древнейшие формы: скорпионов считают даже первыми завоевателями материков. Палеонтологи нашли ископаемого скорпиона в пластах, относящихся ко временам, минувшим 400 миллионов лет назад.

И почему-то у всех них последний акт выглядит так, будто сама плоть супруга, некие входящие в его тело ингредиенты, съеденные будущей матерью, довершают процесс. Если так, значит, смерть самца многих перепончатокрылых, после того как его функция выполнена, представляет словно бы переходную ступень от каннибальских к последующим идиллическим формам брака.

От этого свадебного пира самки Фабр переходит в мыслях к глубинным истокам жизненной алхимии.

Вот скипидарное дерево, оно растет в щелях скалы. Дерево питается минеральными солями, которые редкие дожди вымывают из выветривающейся породы. Этих солей и энергии солнечного света достаточно, чтоб дерево перерабатывало камень в съедобную зелень. Правда, немногие склонны питаться листьями, пропитанными скипидаром. Тлям дерево по вкусу, и солнечная энергия, накопленная растением, переводится в русло животной жизни.

Крошки-тли размножаются быстро. Своим терпеливым хоботком они сосут растение, и в их брюшке, как в перегонном кубе, проскипидаренные соки превращаются в питательные вещества, заманчивые уже для легиона паразитов и хищников. Эти, в свою очередь, передадут усвоенные вещества другим потребителям, продолжая превращения, пока от пищи не останутся развалины того, что жило, зачатки того, что будет жить.

Место насекомого в этом потоке жизни очевидно.

Пусть где угодно, на любой планете существуют растения,

способные корнями извлекать пищу из грунта, а на растении пасутся тли, сосущие его соки, — основа пирамиды заложена; есть пища и для насекомых-наездников, и для птиц, которые их склевывают, и для хищников, которые птицами кормятся. Для всех накрыт изобильный стол!

Тут Фабр, который всю жизнь искал в природе прежде всего приспособление, согласованность, гармонию, обнаруживает, что ему не по душе пожирание одних другими, ловит себя на мысли, что если таков и был план творения, то он несовершенен. Фабр рисует даже в воображении некое государство солнца, существующее среди бесчисленных миров, на планете, обитатели которой утоляют голод теплом своих светил. Он мечтает о таком мире, где никто никого не ест, где никто не питается ни мертвечиной, ни даже растениями, где все заимствуют жизненную энергию непосредственно от солнца.

Конечно, это звучит как биологическая утопия, но разве уже познаны все возможности живого?

Фабр склонен допустить, что у каких-то насекомых существуют периоды, когда жизненная энергия действительно заимствуется не от растений или животной пищи. Наблюдая, как сфексы, наполовину вырыв норку, вдруг бросают работу, отправляются на лист винограда принимать солнечную ванну и, растянувшись, наслаждаются светом и теплом; как цикады, поющие с утра до поздних сумерек, и молчащие, когда небо покрыто тучами, перемещаются по стволу и по веткам вслед за солнцем и целыми рядами сидят на коре платанов, всегда на самом припеке; как ежедневно, пока небо ясно, паук ликоза, несущая на спине весь выводок, долгими часами дежурит на солнце, пока молодь на материнской спине сладко потягивается, — наблюдая все это, Фабр представляет себе, что они «пропитываются светом, заправляются двигательной энергией, пришедшей от солнца — источника и очага всякой жизни».

Немногие фантасты заходили так далеко. Но сто лет назад ни в каких утопиях не было ни спутников, оснащенных солнечными батареями, ни других чудес полупроводниковой индустрии. То, что казалось натурфилософской полупоэзией, звучит сегодня как тема для размышлений, как приглашение к поиску.

Настойчиво и на разные лады поворачивает Фабр мысль о том, что сейчас называют бионическим аспектом изучения насекомых, и подчеркивает плодотворные его возможности. В шестигранной призме пчелиной ячейки решена трудная геометрическая задача: изготовление наиболее емкой формы при наименьших затратах строительного материала. Пауки эпейра и

улитки демонстрируют логарифмическую спираль. Эвмены возводят строгие купола, инкрустированные песчинками кварца.

Рассказывая о ножках скарабея, Фабр подчеркивает: «Можно устроить целый музей из этих орудий. Среди них одни кажутся подражанием нашим, тогда как другие нам самим стоит взять за образцы».

Вспомним теперь, как описана Фабром работа сфекса при сооружении им норки или действия осы аммофилы, роющей грунт в месте, где скрывается гусеница озимой совки.

Именно в такие моменты наблюдал аммофилу и советский энтомолог П. И. Мариковский. Он обратил внимание на усиленную вибрацию крыльев осы, когда, жужжа и дребезжа на высокой ноте, она вытаскивает особенно прочно сидящий в почве комочек. Анатомические вскрытия аммофил, а затем и других гнездящихся в почве ос показали, что от воздушной камеры, спрятанной среди грудных мышц, приводящих в движение крылья, проходит в голову тонкий канал. Заканчивается он полостью у основания челюстей.

«Чем не пневматический молоток?» — спрашивает П. И. Мариковский, добавляя, что аммофилы пользуются им миллионы лет.

Пневматический молоток изобретен сравнительно недавно, изобретен человеком, который не подозревал, что прообраз сконструированного им орудия существует в природе. Но разве, перечитывая сегодня сделанное Фабром описание сфекса-землекопа, сооружающего норку, мы не видим перед собой в действии живую модель пневматического молотка? «Начинается быстрая смена движений: вперед, чтоб отбить новые кусочки, и назад, чтобы удалить их. Делая эти движения, сфекс не ходит, не бегает — он прыгает, словно подталкиваемый пружиной. Оса скачет с дрожащим брюшком, колеблющимися усиками, трепещущими крыльями…»

Не только техника, но и эстетика может учиться у животного, убежден Фабр. Живое способно подсказывать линии, формы, цвет в сфере прекрасного; оно может поставлять темы и сюжеты даже для таких жанров, как шарж, гротеск, пародия.

Вот родичи богомолов — эмпузы. Уж богомолы хороши, а эти!.. Подлинное привидение в хитиновом наряде, дьявольский призрак. Плоский живот выгибается дугой, коническая голова увенчана рогами, похожими на кинжалы, сочленения длинных ножек прикрыты пластинами вроде тех, что носили рыцари на локтях. Тонкая заостренная физиономия с мефистофельским выражением. Высоко поднявшись на четырех задних ножках и прижав к груди свои охотничьи ловушки — первую пару ножек,

эмпуза покачивается на конце ветки. Заметить ее не просто, но, увидев, трудно не вздрогнуть…

Эмпуза — значит по-гречески чудище… Советские исследователи, присмотревшись к чудищу, обнаружили, что на давно известном натуралистам отростке, венчающем голову эмпузы, вспыхивает иногда яркий огонек. Так сверкает по утрам капелька росы в траве. Солнце играет, отражаясь в гладкой, будто полированной поверхности шишака.

В коллекционном ящике этого никогда не увидеть: у мертвого насекомого поверхность отростка тускла, не реагирует на солнечный свет. Но пока эмпуза живет, волшебное зеркальце, крошечное подобие рефлекторов, какими пользуются врачи, кстати тоже надевая их на лоб, искрится в ответ на прикосновение самого слабого луча.

К чему эмпузе такой самоцвет? Он ее главный кормилец. Приманивает насекомых как подлинная роса на камнях, на листьях, в траве или на паутине крестовика — эпейры. Здесь, однако, подлетев к сверкнувшей росинке, насекомое попадает не в липкие ловчие сети, а в капканные передние ноги хищника. Эмпуза пожирает добычу экономнейше: от жертвы не остается ни ножек, ни рожек.

По мысли Фабра (она приведена выше), не только техника, но и эстетика может учиться у живого. Скажем больше: в этой сфере Фабр нащупал еще одно перспективное явление. К анализу и использованию его наука подходит лишь сейчас.

Уже в груше скарабеев высшее совершенство предстало слитыми воедино целесообразностью и красотой… Овладевая секретами этого синтеза, в наше время рука об руку с инженерами в передовых конструкторских бюро стали работать художники. Согласное творчество их показывает, что, когда вещь создана по законам одновременно и науки и красоты, и расчета и гармонии, и техники и эстетики, она во всех отношениях совершеннее и экономичнее. Начавшее распространяться в промышленности так называемое объемное проектирование подтверждает: творчество и техника могут полными пригоршнями черпать из россыпей созданного природой.

Но Фабр напоминает: целесообразность некоторых структур не ясна, сомнительна. И потому, одним из первых бросив свет на перспективы еще не существующей бионики, Фабр сам предупреждает о тупиках и ловушках, в которые может завести слепое копирование природы прежде, чем загадка расшифрована биологами.

А сколько других общих и частных проблем обогатил он фактами! Соотношение формы и функции; ориентировка в

пространстве; избирательность в пище и искусство еды; влияние количества корма; переход от одиночного образа жизни к общественному; механизм определения пола и соотношение полов; природа анабиоза, гипноз и оцепенение; роль различных тканей и кислотных экскретов в окраске насекомых; возможность борьбы с вредными насекомыми «с помощью врага нашего врага», говорит Фабр, имея в виду то же, что мы сейчас называем биометодом; опыление цветковых культур насекомыми для повышения урожая…

Обнимая умом разные сферы энтомологии и просматривая грани ее соприкосновения с другими науками, Фабр в то же время напоминает, что всегда надлежит «крыльям воображения, как бы сладок ни был его взлет, предпочитать шаги установленных фактов, медленные сандалии на свинцовой подошве».

В 1907 году Делаграв опубликовал X том «Сувенир». Весь труд состоит из 220 мемуаров о мире насекомых, мире ученого и человека, из 220 повестей, где образ и мысль — эти два способа видеть и познавать мир, наука и искусство, слитые воедино, как в «объемном проекте», — с двойной силой раскрывают суть явлений, бросают концентрированный свет на загадки, ожидающие исследователя.

Последнее слово последнего тома было: *лаборемус*!

Когда Фабр написал это, ему исполнилось 84 года.

Глава VI
Конец и начало

Прощай, корзинки, собран виноград…

Франсуа Рабле, «Гаргантюа и Пантагрюэль»

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…

Ф. И. Тютчев

Великое счастье для энтомологии, что этот опытный и терпеливый наблюдатель отдал столько лет изучению насекомых и так талантливо описал их поведение.

Коммюнике о кончине Фабра, почетного члена Американского общества энтомологов, 1915 г.

Сто лет спустя

Нелегко было Фабру в свое время отказаться от мысли о факультете. Такой удар! Такое поражение! Но не откажись он от заветной мечты, не видеть бы ему Гармаса, где созданы обессмертившие его «Сувенир». Именно благодаря тому же он, правда посмертно, переступил порог факультета. Однако произошло это не скоро, не просто, не гладко.

Фабр изучал насекомых и рассказывал о своих

исследованиях, как находил нужным, не считаясь с принятыми условностями и порядками. В результате «широким кругам его имя еще не стало известно, а он уже восстановил против себя ученый мир», — сокрушенно заметил один из биографов энтомолога.

Прежде всего трезвых и уравновешенных специалистов настораживала «неуместная восторженность Фабра», применяемые для характеристики инстинкта превосходные степени: «чудесное искусство», «безошибочное знание», «высшая логика». В таких эпитетах часто видели дань спиритуализму. «Иногда кажется, слово „бог“ вот-вот готово сорваться из-под его пера, хотя он его и не произносит», — обличали здесь Фабра. Клерикалы же, наоборот, считали его еретиком, которому в эпоху инквизиции не миновать бы костра.

В большой минус ставили Фабру небрежное определение видов. Конечно, подобные ошибки никого не украшают. Говоря об этих родимых пятнах, оставленных на самоучке его школой, вернее, отсутствием систематической школы, Легро пожимал плечами: «Разве что меняется, если скарабей, которому посвящены мемуары Фабра, был не скарабеус пиус, похожий на того, как родной брат, или что сфекс, именуемый у Фабра желтокрылым, на самом деле есть сфекс максиллозус. Будто от перемены названия приспособленность сфекса, или жука, умеющего скатывать шары и формовать груши, выглядит менее совершенной, не столь восхитительной».

Ортодоксы дарвинизма не видели в фабровских «Сувенир» ничего, кроме антиэволюционистских фраз, забывали об оценках самого Дарвина. С другой стороны, наиболее рьяные антидарвинисты не жаловали Фабра потому, что он положительно высказывался о великом биологе, не скрывал своего восхищения его преданностью науке.

Многих коробило, что Фабр, нарушая традиции, не дает в своих мемуарах ни библиографии, ни обзора научных трудов и упрямо избегает общепринятой терминологии, что его отчеты полны эмоций, что пишет он не только об объекте, но и о том, как работает сам, что перечувствовал, а не только передумал.

То, что сегодня представляется особенно привлекательным в «Сувенир»: свободный разговор будто на двух языках сразу, на языке науки и на языке поэзии, — казалось непонятным и неестественным. Ведь не разрабатывают же математики теорию чисел в одах, химики не объявляют об открытии элементов или соединений в сонатах, физики не пишут стансов о новых свойствах рентгеновых лучей!

Фабра корили и за то, что он при анализе движущих сил

поведения насекомых позволяет себе прибегать к антропоморфизму.

Еще при жизни натуралиста оспаривались, отрицались и вся его философия энтомологии и представления о природе инстинкта. По этому-то поводу Фабр и писал: поднимаемые им вопросы не могут быть решены словесным спором.

Наиболее резкие выступления совпали с отмечавшимся во Франции столетием со дня рождения Фабра. В приуроченной к юбилею пространной статье Ш. Фертон ставил под вопрос порядочность Фабра как ученого и человека. Один из наиболее непримиримых оппонентов, профессор Этьен Рабо, на протяжении ряда лет печатавший в газетах и журналах статьи против Фабра, опубликовал целый сборник, в котором доказывал, что Фабра вообще нельзя считать ученым.

Разбор коронного критического аргумента Рабо сделан недавно французским энтомологом профессором Реми Шовеном в книге «Жизнь и нравы насекомых».

«Итак, — писал Шовен, — Фабр восхищался хирургической точностью уколов, производимых парализатором, указывая, что оса аммофила, не колеблясь, вонзает жало именно в те зоны, которые расположены над нужными ганглиями.

Позже Рабо, ненавидевший Фабра, возобновил наблюдения над аммофилой и обнаружил нечто противоположное тому, что когда-то открыл сериньянский отшельник. Нападая на жертву, сообщал Рабо, аммофила вонзает жало где придется. Это подлинное избиение, и длится оно до тех пор, пока полумертвая, отравленная осиным ядом жертва не перестанет оказывать сопротивление… Все вульгарные механицисты тридцатых годов возликовали, им не хватало язвительных слов для осмеяния Фабра.

Но проходит еще лет десять, и за изучение той же аммофилы берется Молитор, подошедший к проблеме без предвзятости. Вот что он установил: сначала события идут так, как излагает Рабо. Но едва противник ослабел, в ход пускаются приемы, описанные Фабром, и оса с безукоризненной меткостью вонзает жало…»

К слову, рисуя схватку аммофилы с будущей жертвой, Фабр говорит и о первом этапе — беспорядочной драке, правда, коротко, почти мельком, но подробно анализирует второй, состоящий из точно нацеленных ужалений. Однако и тут Фабр предупреждает, мы уже приводили эти слова: «Так бывает обычно, но не всегда. Насекомое не машина, колеса которой всегда работают одинаково. Ожидающий увидеть все акты описанной операции именно такими, может ошибиться. Нередки случаи большего или меньшего уклонения от общего правила».

Отстаивавшие честь Фабра биологи находили необоснованной и критику «превосходных степеней» в его описаниях: «Совершенство Фабром не вымышлено, а взято из природы, оно существует как одна из граней действительности».

Подводя итог всей дискуссии, академик Жан Ростан заключил: «Ошибки Фабра — кто их не совершает? — абсолютно незначительны, если принять во внимание всю огромность его труда!»

Однако судьба учения Фабра об инстинкте может стать иллюстрацией того, насколько запутан и противоречив бывает процесс становления истины в науке.

Еще в начале XX века французский биолог Жорж Бон решительно утверждал: «Представление об инстинкте — только пережиток прошлого, наследие средневековья, теологов, метафизики. Следует ли нам принимать его? Что такое инстинкт?.. Слово… Это понятие не выдерживает научного осмысления. Его никто не подвергал философскому разбору. Кондильяк, прозванный „отцом философского анализа“, дал инстинкту определение, которое я считаю лучшим из множества существующих: „Инстинкт — это ничто“».

Жорж Бон не первый и не последний среди биологов отрицал самое существование инстинкта. То было целое течение, целая школа.

И вот середина XX столетия, встреча биологов в здании Парижского факультета на бульваре, носящем имя химика и революционера Распая…

— Термин «инстинкт», особенно во Франции, имеет, прямо скажем, сомнительную репутацию, — открывает коллоквиум председательствующий. — В университете, где я учился, считалось хорошим тоном избегать этого слова. Раскройте хотя бы курс психологии Жоржа Дюма. Здесь не нашлось места ни для одной главы об инстинкте. Но сознательное игнорирование научной проблемы не может привести ни к чему хорошему. Раньше или позже явление встает перед исследователями, и они вынуждены разобраться в связанных с ним теоретических концепциях. Так произошло и с понятием инстинкта. Отрицаемая одними, высмеиваемая другими, проблема выдержала и атаки и поношения. Наша встреча здесь не служит ли тому доказательством?

Речь внимательно слушают сидящие вокруг стола двадцать два ученых: академики, руководители старинейших университетских кафедр, авторы уникальных трудов. У них вместе за плечами свыше пятисот лет работы в разных областях зоологии — эндокринология, биохимия, нейрофизиология,

генетика, экология. Каждый в своей сфере — звезда первой величины!

— Соединенными усилиями психологов и физиологов добыты факты, породившие уверенность, что инстинкт — реальное явление, если понимать под ним врожденную способность без предварительного обучения и в совершенстве выполнять при определенных условиях внешней среды и определенном состоянии организма некоторые специфические действия, — продолжает оратор. — Сегодня понятие об инстинкте восстановлено в правах!

Пока председательствующий заканчивает вступительное слово, познакомимся поближе с некоторыми из присутствующих.

Доктор М. Аутуори представляет биологический институт в Сан-Паулу, Бразилия. Свыше тридцати лет изучает Аутуори повадки муравьев грибоводов атта. Вереницы их, извиваясь, бегут сквозь джунгли трав, подстилающих влажный сумрак южноамериканской гилеи. Над каждым муравьем, как знамя, поднят зажатый челюстями тугой обрезок живого, еще не успевшего привять зеленого листа. Это не корм, а удобрение для грибниц, растущих в глубине гнезда и поставляющих пропитание обитателям всей колонии…

Аутуори привез с собой цветной фильм, заснятый в гнездах грибоводов атта. Собравшиеся увидят роение муравьев, их брачный полет — «ревоаду» по-испански, рост подземной грибницы — рассадника, откуда пойдут будущие грибные сады-гнезда, увидят их пухлую губчатую массу, постепенно заполняющую камеры муравейника…

Но перейдем к следующему участнику коллоквиума.

Парижанин Жак Бенуа тридцать лет изучает физиологию и поведение птиц перед гнездованием и сразу после него. Бенуа демонстрирует коллекцию анатомических препаратов: железы птиц на разных стадиях брачного периода.

Страсбургский доктор Ж. Вио — специалист более широкого профиля: его занимает поведение разных живых существ. Ж. Вио интересуется пауками, когда они плетут орбитальную паутину, и лягушками во время охоты на насекомых, он с одинаковой тщательностью исследует миграции рыб, леммингов, саранчи, роение термитов…

Роение термитов исследует также профессор Пьер Грассе, и не только in vitro — под стеклом, но и in vivo — в природе, под солнцем тропической Африки. Грассе выяснил, как эти слепые насекомые снабжают свои кишащие жизнью колонии кормом и как строят свое обиталище. Он описал гнезда воинственных термитов белликозитермес, имеющие диаметр свыше ста метров.

Доктор Эдуард-Филипп Делеуранс из Марселя изучает не гигантские прочные, как гранитная скала, сооружения, что в течение десятилетий возводят африканские термиты. Нет, он занимается небольшими изящными гнездами ос полист, сформованными из массы, похожей на слоистый картон. Безделушки из осиного папье-маше вырастают за два-три месяца в теплую пору года. Висящие на ножке-стебельке округлые плоские соты состоят из открытых книзу ячеек.

В сооружении гнезда участвуют все полисты семьи. Каждая прибавляет или переносит с места на место здесь — пластинку, там — крупицу. Как же связывается воедино распыленная во времени и в пространстве масса отдельных, казалось, мимолетных действий? И как, в частности, ножка-стебелек, несущая в первые дни только легкий, словно сухой листик, комочек из 4–6 мисочек-начатков, выдерживает затем груз десятков ячеек — уже не пустых, а доверху заполненных грузными телами белесых личинок и начинающих темнеть куколок? Делеуранс установил, что распорядок работ каждой осы складывается из трех регулярно чередующихся действий. Это цикл из трех шаблонных операций, так сказать, поведенческий триплет. Сопоставляя среднюю продолжительность составляющих его фаз, Делеуранс вывел математическую модель общей строительной стратегии полист. Выражается она совсем несложной формулой.

Швейцарский натуралист из Цюриха Г. Едигер, известный своей монографией о диких животных в неволе — «Очерк биологии зоологического сада», — изучает и способы, какими животные размежевывают в природе жизненное пространство: территорию отдельных особей, пар, выводков, гнезд…

До сих пор участники коллоквиума перечислялись по алфавиту, но сейчас, поскольку речь зашла о жизненном пространстве и гнездах, придется нарушить порядок, представить читателям доктора Т. К. Шнейрла. Его специальность — виды, не знающие ни постоянных гнезд, ни ограниченной территории. К ним относятся и эцитоны, гроза американских джунглей. Походные марши и лагерные привалы колонн всепожирающих муравьев-кочевников подробно описаны. На магнитофонных лентах с помощью специальной аппаратуры зарегистрированы наводящие ужас на зверей и птиц голоса муравьиных колонн, их сигналы. Физиологическое распределение функций между особями колонны в походе и на отдыхе позволяет говорить о пестрых спектрах повадок, друг друга дополняющих и сливающихся так, что колонна представляет некую целостность, живущую общим импульсом.

То же в общем обнаружил у медоносных пчел мюнхенский профессор Карл Фриш. Почти совсем глухой, он первым из людей услышал и расшифровал речь пчел, подобно тому как задолго до него слепой швейцарский натуралист Франсуа Губер первым из людей проник взором во многие секреты жизни улья. Фришу принадлежит честь открытия смысла и назначения танцев, совершаемых рабочими пчелами на прилетной доске и на сотах. В результате чуть ли не сорокалетних исследований Фриш доказал, что танцы и представляют язык, код, средство информации о месте, куда не занятые делом крылатые сборщицы пыльцы и нектара — фуражиры семьи — должны отправиться за кормом. В своем мобилизующем танце пчелы способны, открыл Фриш, сообщать даже детали летной обстановки: к примеру, ветер встречный, попутный или боковой, и детали топографии: где находится корм — на уровне земли или высоко на дереве.

Известный английский ученый, член Королевского общества, то есть тоже академик, ныне уже покойный Д. Б. С. Холдейн — генетик, биохимик, математик, — прибыл сюда, чтоб поделиться соображениями о физико-химических аспектах поведения живых существ. Работы Фриша, которые он считает шедевром человеческого разума, позволили ему совместно с госпожой Спарвей-Холдейн изучить графики пчелиных танцев. Вскрыта простая линейная зависимость между количеством виляний брюшком, совершаемых пчелой во время танца, и расстоянием от улья до места взятка, откуда прилетела танцующая сборщица. Что касается ритма танца, то есть числа кружений, совершаемых пчелой в единицу времени, оно представляет линейную функцию от логарифма расстояния…

Послушал бы Фабр, который столько занимался математикой, физикой, химией и чувством дома, как теперь, сто лет спустя после опубликования его работы о церцерис, все эти науки сплетаются с биологией. Послушал бы, как участники коллоквиума говорят о формуле Делеуранса, открывающей новую сферу приложения математики в биологии, первую ступень зоологической эконометрии — науки, которая пока еще не создана! Послушал бы, что говорят о пчелиных танцах и об исследованиях Фриша, положивших начало математической лингвистике животных, науке, которая уже создается!..

Книга участника встречи австрийского ученого Конрада Лоренца «Кольцо царя Соломона» как раз и повествует о человеке, понимающем язык животных. Многолетние наблюдения над жизнью зверей и птиц в естественных условиях и бесчисленные опыты над ними признаны даже теми, кто не согласен с Лоренцем, спор вызывают не факты, в них никто не сомневается,

так строго они выверены, а толкование, трактовки.

Доктор Лоренц воспитал без матери-наседки выводок гусят, и те, едва став на лапки, начали вереницей, гуськом тянуться за своим воспитателем-кормильцем. Впрочем, они семенили за ним не совсем как за гусыней, а чуть поотстав. Они явно сохраняли в своих странствиях за профессором пафос дистанции, хотя где им знать о мировой славе Лоренца, о страстях, которые уже второе десятилетие совсем не по-академически кипят вокруг работ Лоренца и его единомышленника, шведского натуралиста, профессора из Оксфорда Н. Тинбергена.

Лоренц полагает, что расстояние между ним и первым гусенком в цепочке, поспешающей следом, объясняется особенностями зрения птиц и их врожденной потребностью видеть впереди себя ведущую. Они соблюдают такой интервал, что эта фигура приобретает для них размеры взрослой гусыни. Похоже, так оно и есть. Едва Лоренц решает искупаться и входит в реку, гусята бесстрашно покидают берег и устремляются за доктором. Пока он в воде по колено, цепочка гусят уже приближается. Вода поднялась до пояса, гусята почти его догнали. А вскоре над водой видна только голова доктора — седой ежик, и тогда гусята теснятся вокруг, пищат, щекочут щеки перьями, царапают плечи коготками перепончатых лапок.

Как истолковать действие выращенной Лоренцем галки, которая никогда не видела себе подобных? Она так привязана к своему воспитателю, что пытается даже кормить его червями, пробует засовывать их ему в уши, в ноздри.

С разных сторон обсуждаются на коллоквиуме повадки двуногих — пернатых, четырехногих, шестиногих — насекомых, восьминогих — паукообразных, а также каких-нибудь многоножек и вовсе безногих, червей например.

…Теперь уже нет спора, существуют ли инстинкты. Со всей объективностью, какую гарантирует современный уровень науки, установлено: врожденное поведение есть! Но надо еще дознаться, как оно возникает, чем закрепляется. Живое можно рассматривать в определенном смысле как венец творения. В поведении живых существ, в их взаимодействии с окружающей средой и друг с другом словно растворены гармония и противоречия, полярные заряды, простые и сложные математические функции, логарифмические зависимости, обратные связи… Познание их вооружает человека иногда самым неожиданным образом, помогает ему тверже стоять на земле, точнее ориентироваться в воде и воздухе.

…Пилот сидит у штурвала аэроплана, летящего сквозь арктическую ночь. Солнца нет, небо покрыто облаками, сквозь

которые не пробиться свету звездных ориентиров, магнитные компасы в этой зоне отказывают. Тут-то штурманская служба включает кисточки Гейдингера. Прибор построен и работает по принципу фасеток пчелиного глаза. В самый пасмурный день, когда солнце скрыто плотным слоем туч, установил Фриш, фасетки воспринимают в полете и интегрируют для ориентировки по-разному поляризованный свет разных секторов неба. Открытие Фриша стало тем зерном, из которого выросли кисточки Гейдингера, направляющие слепой полет. На одном из отрезков авиатрассы Париж — Нью-Йорк, вблизи Северного полюса, летчики уже не первый год пользуются показаниями таких приборов.

Именно этим примером проиллюстрировал прикладные аспекты науки о поведении парижский профессор Анри Пиерон, закрывая коллоквиум.

Вот она в действии, предвиденная Фабром «*наука, наученная животным*»!

Но на встрече прозвучали и еще некоторые любопытные высказывания, обмен мыслями, как бы скрытые диалоги о Фабре. Перескажем сокращенно один из них.

П. ГРАССЕ: То, что мы слышали об инстинкте, возвращает к идеям наших старых энтомологов, и прежде всего Фабра. В сущности, уже он открыл многое, к чему на новом уровне пришла современная наука. Но, разумеется, без его финалистской наивности, без его антропоморфистских трактовок.

Д. ХОЛДЕЙН: Антропоморфизм, антропоморфизм… А не находите ли вы, что это только первый, начальный этап сравнительной этологии?

По докладам Аутуори, Грассе, Делеуранса, Фриша, Шнейрла и по обсуждению этих сообщений можно убедиться, что место насекомых в жизни природы и человечества выявлено теперь несравненно полнее и отчетливее, чем во времена Фабра. И роль их в опылении цветковых растений, и их санитарная и почвообразовательная функция, и участие их в бесчисленных сложных цепях питания — эти направления были намечены Фабром — теперь уточнены, обросли множеством важных подробностей, обосновывающих и подкрепляющих ведущую идею всего десятитомника Фабра: идею о космической роли насекомого на нашей планете.

…Об ученом, о его месте в истории науки мы привыкли судить в значительной мере по тому, сколько у него было учеников, последователей, какую школу он создал. Фабру пришлось работать одному, без преемников, которым из рук в руки можно бы передать начатое дело.

Но школу он все же создал, создал так же, как переступил порог факультета.

Откликаясь на звучащий со страниц его книг страстный призыв к поиску, к развитию учения об инстинкте, к выявлению роли насекомых в экономике природы, за последние десятилетия в энтомологию пришло такое количество молодых умов, столько разных талантов, что есть все основания говорить о фабровском наборе в науку, о мобилизации сил, которая Фабром сто лет назад начата и по сей день продолжается.

Запоздалые скрипки

За десятым томом «Сувенир» последовал мемуар о капустнице, потом о светляке. Фосфоресцирующие грибы и светящиеся насекомые, органические создания, выдающие свое происхождение от солнечного света — источника всякой жизни на Земле, давно занимали натуралиста.

«Мягкий свет этих грибов опрокидывает многие наши понятия. Он не подчиняется законам преломления, пройдя через линзу, не дает отображения, не оставляет следа на обычной фотографической пластинке», — объясняет Фабр в письме к Легро причины своего интереса.

Уже весь дом, включая теплицу, заполнен коробочками, стеклянными и решетчатыми садками, везде растут выкармливаемые с руки личинки и гусеницы, спят куколки, живут взрослые насекомые.

«Наступает ночь, дровосек торопится увязать последние вязанки… Вот и я у порога своих дней, скромный лесоруб в лесу науки, хочу навести порядок на своей просеке», — пишет Фабр.

Ежедневно с утра он в лаборатории. Шаги его стали тяжелее и медленнее, он опирается на палку, но глаза зорки, голова ясна. Руки — увы! — дрожат, и манипуляции с насекомыми проводят Поль или Аглая. Здесь и на заповедном участке Поль под наблюдением отца снимает сцены из жизни насекомых. Куплены самый совершенный фотоаппарат, наиболее светочувствительные пластинки; начаты съемки и для синематографа (многие кадры до сих пор печатаются в новых изданиях «Сувенир» в качестве иллюстраций).

Фабру не хватает рук. Младшие дочери вышли замуж и уехали. Сейчас ассистентами у него только жена, Аглая и Поль. На встречи и беседы с когда-то многочисленными добровольными

сотрудниками уже не остается времени. Переписку ведет Аглая. Сам Фабр редко берет перо с этой целью.

Он пишет брату, схоронившему одну за другой жену и дочь:

«…Столько раз пережита горечь утраты и так остро мне знакома никчемность подобных утешений, чтоб пользоваться ими даже для самых близких! Лишь время постепенно рубцует эти раны. И еще работа. Так за дело же! И давай трудиться сколько есть сил! Нет лучших лекарств для сердца…»

И Фабр трудится, радуясь и ужасаясь: «лопата роет в забое неисчерпаемом», а силы тают.

Между тем в дом снова входит нужда. Главную опору бюджета на протяжении почти трех десятилетий составляли научно-популярные книги, расходившиеся во многих изданиях. «Их влияние на целый ряд поколений было огромным», — писал известный английский ученый Давид Шарп. Было…

Теперь автор стар, не имеет возможности следить за прогрессом знаний во всех областях, вносить изменения, диктуемые новыми открытиями. Спрос на книги уменьшается, Делаграв теряет к ним интерес. А «Сувенир» печатаются во Франции пока небольшими тиражами и не приносят достаточного дохода, хотя отрывки публикуются в переводах уже чуть не во всех научно-популярных журналах мира.

Фабр завоевывает славу, оставаясь неизвестным. Распространенный в дореволюционной России «Вестник знания», его издавал В. В. Битнер, печатая отдельные мемуары, подписывал их «проф. И. Г. Фабр» (вместо Жан-Анри), а «Энтомологическая библиотека Хаггенса» в Англии выпустила томик, назвав автора Жозефом-Луи.

«Небо падает, склоняясь над моею головой, и уж ясно видно стало, что наличных слишком мало кошелек содержит мой». Беранже припас ему стихов на все случаи жизни, невесело шутит Фабр.

Даже те, кто хотел облегчить жизнь Фабру, не всегда представляли себе, как и что надо делать. Префектура Воклюза вдруг постановила передать ему оборудование химической лаборатории, которую решили закрыть. Такой подарок должен осчастливить старика, полагали местные власти. Но громоздкие приборы теперь совершенно ни к чему в Гармасе: они здесь только обуза.

Созданный Мистралем «Арлатен» подыскал мецената: для этого краеведческого музея он готов купить у Фабра его 700 акварелей, изображающих «все грибы края олив».

— Чего вы колеблетесь? Кто рисует — продает, — напоминая старую провансальскую поговорку, уговаривает художника

Мистраль.

Но Фабр не смог заставить себя пойти на эту коммерческую операцию, хотя деньги нужны позарез. Продать альбом? Все равно что содрать с себя лоскут кожи! Рисунки остались в Гармасе, остались для Гармаса.

На помощь старику пришел доктор Легро из Луар-э-Шер. Его давно мучили забвение и заброшенность Фабра. Когда-то Ламартин и Дюма, обеспокоенные несоответствием между общественным положением Ребуля и его заслугами перед литературой, выступили в поддержку булочника из Нима. То, правда, были столичные знаменитости, мэтры. Легро всего лишь скромный советник провинциального департамента, но он убежден: если Франции показать во весь рост отшельника из Гармаса, если полным голосом рассказать о его трудах, о его жизненном подвиге, страна оценит его по заслугам. Легро счел себя обязанным сделать для этого все, что в его силах. Свыше шестидесяти видных научных, литературных, общественных и политических деятелей объединил он в комитет друзей и почитателей Фабра, центр, подготовляющий чествование натуралиста.

Почетным председателем согласился стать министр просвещения, впоследствии президент Французской республики Гастон Думерг; председателем — академик Эдмон Перрье — директор Национального музея естественной истории; выступая как член комитета, Перрье каждый раз оговаривал, что он в данном случае лицо приватное и высказывает только личное мнение. Литературу представляли Морис Метерлинк, Фредерик Мистраль, Эдмон Ростан, Ромен Роллан. Науку — математик Анри Пуанкаре, минералог Альфред Лакруа, зоологи Поль Маршал, Эжен Бувье и Ксавье Распай — сын знакомого нам карпантрасца, а также сэр Джон Леббок из Англии; профессор Карло Эмери из Италии; автор известных книг о насекомых, швейцарский врач Август Форель; руководитель отдела сельскохозяйственной энтомологии департамента земледелия США доктор Л. О. Говард, бельгийские, шведские ученые…

В комитет не ввели ни одного немца. Легро знал, что их участие не доставило бы удовольствия Фабру, в чьем сердце события 1870 года оставили кровоточащую рану. Не случайно он упорно отклонял предложения о переводе «Сувенир» на немецкий язык.

Не было в комитете и русских ученых. Теперь уже трудно выяснить, почему так получилось. У Фабра в России было много друзей. Русское энтомологическое общество еще 3 декабря 1901 года — задолго до других организаций подобного рода, в том

числе английских и американских, — присвоило Фабру звание почетного члена общества. Предложение это выдвинул президент общества П. П. Семенов-Тян-Шанский. Письмо Фабра в Русское энтомологическое общество — ответ на сообщение об оказанной ему чести — свидетельствует, что он был тронут вниманием русских коллег и признателен за высокую оценку его работ.

Но если даже не говорить о П. П. Семенове-Тян-Шанском, в чествовании с радостью принял бы участие классик русской энтомологии профессор Н. А. Холодковский.

«Я лично ожидал появления каждого выпуска его восхитительных „Сувенир энтомоложик“ с тем же нетерпеливым интересом, как в детстве встречал, бывало, каждую новую сказку Андерсена, — писал Н. А. Холодковский. — И точно! „Сувенир энтомоложик“ Фабра — такие же чудесные, великолепно рассказанные и глубокие по содержанию сказки, но из области действительности. В них он показал себя не только несравненным наблюдателем, как назвал его Дарвин, несмотря на постоянные выпады Фабра против эволюционного учения, но и гениальным экспериментатором». Н. А. Холодковский восторгался и характером, силой воли, страстностью исследователя.

В комитет, бесспорно, вошел бы один из русских основателей зоопсихологии, профессор В. А. Вагнер. Он понимал драму «гениального таланта», скрыто и сильно переживающего непризнание и неприязнь. «Влиятельный мир ученых, которому так легко и просто было бы осуществить мечты Фабра, — писал В. А. Вагнер о плане создания лаборатории живой энтомологии, — не приходил к нему на помощь, и он, в свою очередь, встал к этому миру в оппозицию».

По ряду вопросов теории В. А. Вагнер был не согласен о Фабром, но считал, что никакими критическими замечаниями нельзя «умалить огромные заслуги этого выдающегося натуралиста и значение его наблюдений над жизнью насекомых и опытных исследований этой жизни, которые навсегда похоронили крикливые, но вздорные повествования о жизни насекомых бесчисленных любителей, меривших и, к стыду нашему, продолжающих мерить психологию жуков, бабочек, муравьев и пчел масштабом человеческой психики…

Сердечное спасибо за лучи света, которые он бросил в темное царство, полное интереса и значения для тревожных вопросов о душе человека и животных! Сделанные им открытия требовали оригинальных, очень остроумных приемов исследования, им же изобретенных. Его описания проникнуты интересом к жизни животных, им изучаемых, и любовью к природе… Его рассказам внимали тысячи людей, вместе с автором отдыхая глаз на глаз с

великой правдой природы».

Авторитетным представителем русской науки в юбилейном комитете явился бы, конечно, и Иван Петрович Павлов.

Павлова живо интересовали работы Фабра. Об этом рассказывал сотрудникам академик Л. А. Орбели. Люди, бывавшие в доме Павловых на Введеновской улице, вспоминают, что русское издание «Сувенир» — двухтомник «Инстинкт и нравы насекомых» лежал на рабочем столе ученого.

Развивая идеи Павлова о физиологии высшей нервной деятельности, Л. А. Орбели взял шефство над исследованием ленинградского энтомолога Л. Е. Аренса. Оно проводилось в Колтушах, затем на биостанции Борок. То были опыты над мечеными одинерами, которых в свое время изучал в Провансе Фабр. И обитали подопытные одинеры в тростинках — в экспериментальном улье системы Фабра. Л. Е. Аренс показал, что в летно-ориентировочном поведении насекомых инстинктивные, врожденные акты сплетаются с научением, с условными рефлексами по Павлову.

Наряду с русскими учеными в работах комитета за честь почли бы принять участие последователи Фабра из среды народных учителей.

«Имя Фабра должно быть особенно дорогим для провинциальных деятелей науки, — писал пензенский педагог М. М. Коновалов. — Ведь как часто приходится слышать, что в провинции невозможна никакая научная работа вследствие отсутствия музеев, оборудованных лабораторий и других необходимых для работы образовательных учреждений. Пример Фабра, сумевшего без всяких дорогих и сложных приспособлений, в самой скудной деревенской обстановке принести огромную пользу науке, показывает с совершенной очевидностью, что такая работа возможна и, следовательно, должна выполняться…»

Празднеством решили ознаменовать тридцатилетие со дня выхода в свет первого тома «Сувенир». Ждать девяностолетия посчитали рискованным. Власти департамента Воклюз, профессор А. Вейсьер, издатель Ш. Делаграв, доктор Ж. Легро взяли на себя подготовку. Чтоб создать фонд чествования, была проведена национальная подписка; ее участникам высылали памятную медаль. Для подарка юбиляру известный художник Пьер Сикар изготовил золотую пластинку. На одной стороне ее барельеф — Фабр за работой, на другой — некоторые герои его книг и плавающая в облаках вершина Ванту.

19 февраля 1910 года парижская «Фигаро» опубликовала на первой странице статью Метерлинка «Ж.-А. Фабр».

«В Оранже и Сериньяне, маленькой деревушке Прованса,

вскоре состоится чествование 87-летнего человека, который должен быть увенчан двойной сияющей короной. Однако слава, если не подлинная и великая, то ее незаконная сестра, что производит в утренних и вечерних газетах больше шума, чем дела, эта слава часто забывчива, небрежна, она или запаздывает, или несправедлива. Люди почти не знают имени Жана-Анри Фабра, одного из самых глубоких и самых изобретательных ученых и в то же время одного из самых чистых писателей и, могу добавить, одного из лучших поэтов недавно истекшего столетия…»

«Он, — продолжал Метерлинк, — посвятил познанию маленьких секретов, являющихся оборотной стороной величайших тайн, пятьдесят лет одинокой жизни в полной неизвестности, в бедности, часто граничившей с нищетой, но освещенной каждодневной радостью, что приносит истина… Маленькие истины о нравах паука или кузнечика? — скажете вы. Нет маленьких истин, есть только одна…»

Статью уже на следующий день перепечатали сотни газет — в столице и провинции. Рухнула стена, отделявшая безвестного еще вчера натуралиста от миллионов сограждан.

Еще несколько недель прошло. Утром 3 апреля ворота Гармаса распахнулись перед приезжими со всей Франции, перед жителями Сериньяна и окрестных ферм. В шумной толпе крестьян и ремесленников, фелибров и служащих из Оранжа, Карпантра, Родеза и Авиньона самым счастливым был слепой Мариус Гиг.

— Какой праздник для мусю Фабра!

Но на площадке около розового дома с зелеными жалюзи были не все, кому здесь следовало быть.

Только вчера закончилось празднование открытия океанографического института в Монако. Помните, много лет назад Фабр писал: «На берегах океанов устраивают с большими затратами станции и лаборатории»? И вот не станция, а институт. Здесь, невдалеке от знаменитого казино, собрались гости из Парижа, делегации академий Европы и Америки. С прибрежных скал смотрит в море широкими окнами восьми этажей новый дворец науки. Мраморные ступени ведут в вестибюль, где светятся отлитые из цветного стекла медузы и морские звезды, красуются на мозаичных картинах рыбы, моллюски, иглокожие. В пол нижнего этажа врезаны окна из толстого стекла. Их лижет прибой.

Днем экскурсии в лаборатории, морские прогулки, вечером концерты самого Сен-Санса.

Институт не только пышен, он оборудован по последнему

слову исследовательской техники. Еще нигде, ни в Европе, ни в Америке, нет таких аквариумов, таких тралов, таких микротомов… Работать здесь почтут за счастье самые заслуженные зоологи и ботаники моря, начинающие ученые будут мечтать хотя бы о практикуме в этом святилище океанологии.

Что удивительного, если некоторые из приглашенных на праздник в харчевню в Сериньяне не попали туда? К тому ж, когда экспресс из Монако в Париж на миг остановился в Оранже, откуда еще предстояло ехать на лошадях, здесь хлестал дождь. Дожди в этих местах, мы уже знаем, необузданны, льют без передышки. Не все, кого ждал Легро, сошли с поезда…

…Чествовали Фабра в том самом кафе, которое он отказался посетить, избранный в советники мэрии. Теперь он ехал сюда в ландо, присланном из Оранжа. Ему уже не пройти от Гармаса до центра деревни. За ландо медленно двигался кортеж. Муниципальный оркестр исполнял лучшие свои номера, даже торжественный марш из «Аиды». Мариус Гиг на барабане старался вовсю.

И за столом Фабр не снял фетровой шляпы. Он сидит, скрестив руки на груди; в петлице сюртука не видно орденской ленточки, глаза прищурены, на губах усталая усмешка. Академик Эдмон Перрье произносит приветствие, в котором выражает свое личное восхищение примером жизни Фабра.

Потом выступают члены комитета, читатели «Сувенир», друзья оглашают поздравительные телеграммы и письма: Ростан приветствует «Вергилия насекомых»; Роллан кланяется «доброму магу, знающему язык бесчисленных созданий, населяющих поля»; Мистраль восклицает: «Я всем сердцем с вами, кто чествует одну из самых ярких знаменитостей Франции, великого ученого, делом которого я восхищен, человека, заставившего нас опуститься на колени в траве». Фабр хмурится и утирает глаза.

Так слава — и настоящая и ее незаконная сестра, о которой писал Метерлинк, — одновременно вступили в Гармас. Двери дома перестали закрываться. Вереницы поклонников и зевак потянулись в Сериньян. Художники добивались разрешения писать Фабра, фотографы и операторы кинофирмы «Патэ» снимали его в саду, в лаборатории. За один год после юбилея Делаграв продал «Сувенир» больше, чем за 20 предшествовавших лет.

Из Фабра сделали сенсацию. Газеты в мрачнейших красках живописали бедность «бывшего школьного учителя, посвятившего себя букашкам». Отовсюду начали стекаться пожертвования, подарки. Кто-то прислал из Пруссии несколько пфеннигов. А «Берлинер тагеблатт» заявила: «Если потребуется, Германия

оплатит долг славы, по которому отказывается платить Франция…» Напомним, это было в 1910–1911 годах, близилась война, отношения между Францией и Германией быстро ухудшались.

С протестом против оскорбительной благотворительности выступил Мистраль. Ростан напечатал стихотворную прокламацию «Франция, ты должна сделать для него все, что должна!». В парижских газетах появилось письмо Фабра. Оскорбленный тем, что его нищета выставлена на всеобщее обозрение, он просил: «Дайте мне спокойно дожить последние дни…»

Аглая заполняла почтовые бланки, возвращая переводы. Деньги, поступавшие от безымянных жертвователей, распределяли среди нищих, и толчея в доме еще больше возросла.

Когда 89-летнему Фабру установили пенсию, никто не хотел верить, что до того ее не было.

«Конечно, — писал Легро, — положение Фабра перестало быть трагическим… Но как не пожалеть, что его не освободили от материальных забот хотя бы 20 лет назад».

В наши дни некоторые энциклопедические справочники, в том числе и французские, как бы задним числом поправляя очевидную несправедливость, утверждают, будто Фабр был не только членом-корреспондентом академии, но и лауреатом Нобелевской премии по литературе. И то и другое неверно. Фабра не выбрали даже тогда, когда в академии установили специальные вакансии членов-корреспондентов для провинциальных ученых. Не пришлось ему щеголять в шляпе с пером и в зеленом мундире при шпаге с перламутровой ручкой.

Но это уже не могло ни на что повлиять. Смерч славы продолжал бушевать вокруг старика. Взрослые и дети, больные из санаториев Лазурного берега, поэты, актеры, совершающие турне и улучившие часок, чтоб навестить знаменитость, продекламировать мадригал, а может, и сфотографироваться рядом… Гармас перестал быть Пустырем!

В этом потоке затерялся бы Эдуард Эррио, не расскажи он о своем приезде к Фабру. Мэр Лиона, уже тогда видный политический деятель и публицист, доказывал в своих книгах, что естественные науки — самый чистый источник вдохновения, что наука должна обогащать литературу, вытесняя мистическую символику лжепоэтов, болтовню лжепсихологов, заумный жаргон лжефилософов. В мемуаре Фабра о любви богомолов больше тем для размышления, чем во многих романах, считал автор истории салона мадам Рекамье…

Эррио приехал в Сериньян, очарованный живой и ясной прозой Фабра, сочетающей изящество и точность, а покинул Гармас, покоренный самим естествоиспытателем, этим поэтом-крестьянином, читающим на память Вергилия и исправляющим Лафонтена, этим старым учителем, знающим о природе больше, чем самые эрудированные профессора Сорбонны.

— Я прикоснулся к подлинному величию, — рассказывал Эррио о встрече. — Он убедил меня, что настоящие ученые и настоящие поэты делаются из одного теста. Прав был Флобер: «Чем дальше, тем искусство становится более научным, а наука — более художественной. Расставшись у основания, они встретятся когда-нибудь на вершине». Мне посчастливилось увидеть одну из таких встреч.

Эррио посетил Гармас в 1912 году. Через десять с небольшим лет он стал главой правительства, взявшего курс на сближение с СССР. А еще через двадцать лет танкисты генерала Лелюшенко освободили бывшего премьера Франции из гитлеровского концентрационного лагеря, и 26 апреля 1945 года маршал И. С. Конев принял в фронтовом штабе изможденного и счастливого человека, который говорил:

— Я рад тому, что меня освободили именно русские. Лично для меня это лишнее подтверждение того, насколько я был прав, делая ставку на союз с Россией…

Так наши соотечественники и современники встретились с человеком, который видел Фабра и беседовал с ним, так прошлое неожиданно прорастает в сегодняшнее, разделенное во времени и пространстве соединяется.

Но вернемся в Гармас…

Сюда прибыли из Парижа слушательницы университета культуры для женщин, организованного журналом «Анналь», «анналетки». На приветствие от имени Фабра отвечал Делаграв.

— Фабр стоял за эмансипацию, боролся за равноправие женщин еще в те времена, когда это было далеко не безопасно. Вы знаете, что святоши выжили его из Авиньона…

Слушая речь своего давнего друга, Фабр видит перед собой Сен-Марциал, где он читал лекции на курсах, видит источник Делаграв на Ванту, перед ним встают рисунки лубка «Ступени жизни человеческой».

— Вот он уже и на последней… Eheu, fugaces labuntur anni! Быстро проходят годы. Быстро. Особенно когда дело идет к концу. В детстве то был веселый ручеек, струившийся под ивами меж зеленых берегов. Сегодня это бешено ревущий поток, что несет тысячи обломков и рушится в пропасть…

Но и спустившись на последнюю ступень, он остается тем же тонким и точным наблюдателем жизни и самонаблюдателем, каким был в расцвете сил, когда вспоминал и описывал часы, проведенные на прудке; свою встречу с Пастером; день, когда вступил в Гармас…

…Вокруг стола под лампой продолжает собираться поредевший круг друзей, в среде которых Фабр испытывает прилив бодрости.

Кто-то посоветовал ему каждый день пить по утрам крепкий кофе.

— Не думаете ли вы, — посмеялся Фабр, — что я, как ягненок, нажевавшись кофейного листа, стану бегать и прыгать?

Все чаще гасла трубка, с которой Фабр не расставался. Ему подносили зажженную спичку, он раскуривал и говорил:

— А я еще помню, как старухи бегали по деревне из дома в дом разжиться уголька, как несли его и потом раздували огонь в очаге…

Он быстро терял силы, но голова работала отчетливо.

Когда епископ Авиньонский магистр Латти посетил Гармас, он долго беседовал с Фабром на разные темы, блистал знанием литературы, напомнил последнюю строку эпитафии в монастыре «Иль Санто» в Падуе: «За самым прекрасным днем следует ночь». Однако, расставшись, смог ответить корреспондентам только, что «поражен ясностью ума ученого».

После визита Аглая осторожно сказала отцу, что на время, пока он себя плохо чувствует, придет помощница из конгрегации сестер-сиделок.

Фабр покачал головой:

Я из префектуры к вам направлен.
Наш префект тревожится о вас.
Говорят, вы при смерти…

Так в розовом доме с зелеными жалюзи появилась молчаливая, почти неслышная сестра Адриена. Она умело ухаживала за стариком, не уставала подносить ему огонь для гаснущей трубки, читала вслух и бесшумно задергивала кретоновые занавески, когда он начинал дремать.

Весной Фабр захотел еще раз осмотреть свой Гармас. Стояла пора, когда в Провансе цветут лилии. Небо сияло густой синевой, захлебываясь, щебетали в зарослях заповедного участка птицы. Фабр откинулся на спинку кресла, которое медленно катили по дорожке дочь с сиделкой. Как быстро зарастает аллея, едва ее перестали расчищать! Особенно много пробивалось отпрысков

японского эйланта, того самого, что когда-то был посажен им для опытов с мегахилами-листорезами. Чужеземец здесь прижился…

После того дня Фабр уже редко покидал комнату.

В начале августа 1913 года его посетил министр Жозеф Тьерри, а в октябре сам президент республики Раймон Пуанкаре. Под пение фанфар и гром барабанов между застывших шеренг солдат, за которыми стояли плотными рядами сдерживающие толпу жандармы, президент проследовал под зеленый тент. Здесь его ждали Фабр с близкими. Они были в трауре: недавно скончалась Жозефин-Мари, жена Фабра.

Пуанкаре наспех прочитал приветствие, в котором говорилось о гениальном сыне народа, «давшем всем ощущение, будто впереди открылась бесконечность…»

Приехав с некоторым опозданием, он, едва закончив короткую речь, сразу отбыл.

И опять все газеты наутро заполнены отчетами о встрече, и снова устремляются в Гармас делегации от лицеев, университетов, учительских союзов, ассоциаций друзей природы и просто бездельники, вытаптывающие зелень.

Фабр говорит Легро:

— К чему это? Скрипки пришли слишком поздно.

Когда Фабра доняли скульпторы, торопившиеся закончить кто барельеф, кто горельеф, а кто фигуру для монумента, Фабр пробурчал навестившему его Бордону:

— Настоящие «сантибеллис»![2] Надоели! Пора кончать!

В одно из августовских воскресений Фабр и сериньянский учитель Луи Шаррас сидели на зеленой скамье в саду. Только что закончился очередной прием посетителей.

— Что вы обо всем думаете? — спросил Фабр, попыхтев трубкой и окутавшись табачным дымом.

— Что ж, — ответил Шаррас, — вам воздается по справедливости, и не скажешь, чтоб с этим поторопились…

— А по-моему, если выкладывать все начистоту, эта пышность не стоит доброй затяжки… Меня превратили в редкое животное; всем хочется поглазеть. Вроде жирафа, о котором рассказывал Фавье.

Фабр не то устало, не то досадливо махнул рукой и грустно улыбнулся: разве в том дело?..

Действительно, подобно другому школьному учителю, в глуши другой страны посвятившему себя другой науке и еще почти безвестному, хотя он уже тогда, вооружившись числом, господствующим во времени и в пространстве, прокладывал путь в космос, Фабр с полным правом мог сказать о себе:

— Основной мотив моей жизни — сделать что-нибудь

полезное для людей, не прожить впустую, продвинуть человечество хоть немного вперед. Вот почему я интересовался тем, что не давало мне ни хлеба, ни силы. Но я надеюсь, что мои работы, может быть, скоро, а может быть, в отдаленном будущем дадут обществу горы хлеба и бездну могущества.

Здоровье Фабра ухудшилось, у него началась водянка, и епископ Латти снова приехал в Гармас. Отчет об этом событии опубликован Альбером Флори.

«Когда епископ читал молитву „И не введи меня во искушение“, Фабр внятно проговорил:

— Нет, я не буду просить, чтоб бог не ввел меня в искушение, он не может этого сделать!

Услышав слова Фабра, сестра Адриена ахнула…»

Испуг скромной женщины понятен. Она знает, какая трудная перед ней задача.

Епископ регулярно пишет Адриене. В книге Флори опубликованы полностью восемь его пространных писем сестре. Та сила, которая сорок лет назад грубо вторглась в жизнь Фабра, лишила его кафедры и музея, сейчас, когда он знаменит, когда его имя известно миллионам, действует обходительно, мягко. Епископ расспрашивает сестру обо всех подробностях самочувствия Фабра, дает ей указания, наставления, объясняет, как держаться.

«…Не перестаю молить бога о том, чтоб он превратил его ум ученого в душу верующего христианина. Конечно, он верующий, но пока еще не вполне».

«…Будь в нашем распоряжении лет десять, я просил бы его посвятить меня в свои идеи ученого натуралиста, а со своей стороны рад был бы открыть ему истину и утешение религии. Мы поучились бы друг у друга. Но это невозможно…»

«…Не бойтесь входить в детали. Даже если они неприятны, они могут быть полезны», — инструктирует епископ Адриену.

Книга Флори — она вышла в серии «Знаменитые христиане» — и другие клерикальные издания наглядно демонстрируют упорство и цепкость, с какой ведут борьбу за души церковь и ее служители. Но почему то, что не удалось епископу Латти, так легко, с таким расточительным пренебрежением позволяли, да и сейчас позволяют себе иные критики? Ссылаясь на высказывания, «пропитанные спиритуализмом», они отказываются от Фабра, от всего его научного наследия!

…Неподвижный, лежал он на узкой железной кровати, окруженный венком из лавровых веток и гирляндой вереска, срезанного в Гармасе. Рядом на соломенном плетеном стуле —

черная фетровая шляпа.

14 октября из Гармаса двинулся печальный кортеж. В толпе, следовавшей за гробом и за почетным знаменем, почти не было мужчин: большинство их находилось в окопах Шампани, под Верденом… Война шла уже больше года. Поль, получивший отпуск после ранения, смог проводить отца.

Шаррас прочитал над могилой провансальские стихи — плач по покойному, Вейсьер благодарил учителя. Говорили другие…

На край гроба опустилась голубокрылая кобылка. По крышке пробежал муравей. Из сухой травы показался сверчок. Когда человека хоронят в теплую пору года, в этом нет ничего необычного. Сейчас хоронили Фабра, и подробности, не замечаемые или ничего не значащие, были замечены и приобрели значение.

Гроб опустили в склеп, сооруженный еще при жизни Фабра. На плите два слова: «Семейство Фабров». Надгробие увенчано не крестом, а урной, по бокам высечены не слова молитвы, а латинские изречения.

Французские друзья прислали нам номер «Тан» от 15 октября 1915 года. Газета занята сводками с фронтов, разбором военных операций. Только в углу на одной из последних страниц заверстана корреспонденция Жоржа Безиа «Похороны Ж.-А. Фабра» — короткое письмо из Сериньяна без деталей, о которых здесь говорилось.

Прошло четыре года. В гостинице Арля над столом, забросанным картами Прованса, при свете люстр склонились поздней июньской ночью три головы. То прибывший из Вашингтона Л. О. Говард, шеф отдела по защите растений, и французские специалисты: знаменитый Поль Маршал и его ассистент Поль Вейсьер, сын марсельского профессора Вейсьера, который, как Говард и Маршал, входил когда-то в общественный комитет по подготовке чествования Фабра.

Эта тройка руководит сейчас операцией против марокканской саранчи. Вредитель обрушился на юг Франции, и для борьбы с ним на помощь крестьянам присланы армейские части.

Впервые против саранчи применяют военные огнеметы. Идет разработка плана очередной операции, и вдруг Говард, изучавший карту, с изумлением спрашивает:

— Постойте-ка, что это за Сериньян тут неподалеку? Неужели Фабров? Вы должны дать мне возможность побывать там!

На рассвете «форд» модели 1913 года, с которого еще не облупилась защитная краска, вышел из Арля, промчался через спящий Тараскон и несколько просыпающихся городков и к девяти утра подходил к Сериньяну.

— «В большинстве случаев насекомые мало подвластны человеку, — цитировал Вейсьер Фабра, которого знал наизусть целыми страницами. — Не всегда мы в состоянии уничтожить вредных, увеличить количество полезных. Странное дело! Человек прорезает материки, чтобы соединить два моря, просверливает Альпы, определяет вес Солнца и в то же время не может помешать крошечной тле-филлоксере губить его виноградники или маленькому червячку попробовать вишни раньше их владельца… Титан побежден пигмеем…»

— Побежден? Пожалуй, преувеличено. А вот кряхтит под пигмеем, не скроешь, — проворчал Говард. Потом внезапно вскрикнул: — Смотрите, таблички на домах! Улица Анри Фабра! Черт возьми! По-моему, первая в мире улица, названная именем энтомолога.

И вот трое ученых почтительно переступают порог Гармаса. Их встречает маленькая седая женщина, «мадемуазель Фабр», как ее называет Вейсьер, которому все здесь известно. Это Аглая, хранительница музея. Она нисколько не удивлена ранним гостям.

— Здесь каждый день люди отовсюду, — говорит она.

— Я был бесконечно взволнован, — вспоминал потом Говард, — шагая по земле, где он ходил, касаясь руками приборов, которыми он столько лет пользовался, волновался от мысли, что дышу воздухом, которым еще недавно дышал он. И я живо представлял себе, как бы завидовали мне десятки и сотни энтомологов, подобно мне в первую очередь Фабру обязанные выбором своей специальности.

Но если десятки и сотни энтомологов обязаны Фабру выбором своей специальности, то сотни тысяч и миллионы читателей обязаны сериньянскому отшельнику тем, что он своими «Сувенир» будил в них пытливый интерес к живому миру насекомых, к его необычайным нормам, к его полной содержательных загадок простоте. Не случайно в период между двумя войнами Фабровские места привлекали к себе туристов, экскурсантов, паломников со всего мира. Только в годы, когда Франция была оккупирована гитлеровцами, замерли и Гармас и Сен-Леон. Кого тогда могли занимать энтомология, проблемы инстинкта, нравы насекомых, примеры верности мирному призванию? Казалось, всеми забыты и Фабр и дело его жизни. Похоже было, не помогли никакие сантибеллис! Но именно эти фигуры, над которыми подтрунивал Фабр, показали, что память о нем продолжает жить.

В 1943 году оккупанты проводили во Франции сбор меди и бронзы: рейху требовались цветные металлы. Команды

гитлеровцев отвинчивали ручки с дверей, выворачивали решетки садовых оград, сбрасывали с пьедесталов памятники. В числе других трофеев для переплавки отправлена и статуя из Сен-Леона. На одной из маленьких станций в департаменте Кантал возле Орилляка железнодорожники — участники Сопротивления отцепили от состава платформу. Ночью с нее бесшумно сняли медного Фабра — во весь рост, с лупой в руке изучающего колонну гусениц походного шелкопряда. Статую спрятали в надежном месте. Она пролежала два года в земле на крестьянской ферме.

В 1945 году, как раз в те дни, когда маршал Конев принимал в своем штабе освобожденного из концлагеря Эррио, статую возвратили в Сен-Леон.

К пятидесятилетию со времени кончины славного сына коммуны Везен на стену каменной хижины Фабров прикреплена мемориальная доска. Вместе с учителями и школьниками, фелибрами, энтомологами и краеведами в церемонии приняла участие делегация антифашистов, ветеранов Сопротивления.

Ораторы говорили о том, как дорог народу Фабр, который столько сделал для того, чтоб людям понятнее и ближе стали задачи, стоящие перед наукой, перед человечеством, перед каждым человеком в отдельности.

Отгороженный от мира каменной стеной Гармаса, он всего себя отдавал людям. В глуши, лишениях, нужде умел быть счастливым. Умел радоваться и когда сеял, а не только когда пожинал. Не тратил время на пустяки, на суету, сборы, слова, ожидания. Не было возможности заняться самым любимым, продолжал работать там, куда его ставила жизнь, отдавал этому делу ум и сердце. Но одновременно упрямо шел против ветра, выгребал против течения, показывая, что никогда не следует откидывать и никогда не бывает поздно начать. Посвятив себя малому, он стал по-настоящему великим.

Основные даты жизни и деятельности Жана-Анри Фабра

1823, 21 декабря — В деревне Сен-Леон-де-Левезу родился Жан-Анри-Казимир Фабр.

1830–1837 — Учится в начальной школе в Сен-Леоне, потом в коллежах в Родезе и Тулузе.

1837–1839 — Бродяжничает, перебивается случайными заработками.

1839–1842 — Принят по конкурсу в авиньонскую Эколь Нормаль, досрочно заканчивает курс обучения, получает диплом преподавателя.

1842–1849 — Преподает в начальной школе в Карпантра, сдает экзамены на звание бакалавра литературы и наук, затем лиценциата по химии и математике.

1844, 30 октября — Женитьба на Мари-Сезарин Виллар.

1849–1852 — Преподает в лицее Аяччо на Корсике.

1853 — Становится преподавателем физики и химии в Авиньонском лицее.

1854 — Сдает в Тулузе экзамен на звание лиценциата по естественным наукам.

1855 — Публикует в «Анналь де сианс натюрель» статью о церцерис. Защищает в Париже докторские диссертации по ботанике и зоологии.

1857 — Публикует работу о сфексах.

1858 — Публикует работу о гиперметаморфозе. Академия наук присуждает Фабру премию Монтиона.

1858–1861 — Публикует работы о красящем начале марены — ализарине.

1859 — Академия наук присуждает Фабру премию Женье.

1860 — Знакомство с Джоном Стюартом Миллем.

1865 — В издательстве Делаграв, Париж, выходит получившая широкую известность книга Фабра «Небо». Знакомство с Луи Пастером.

1867 — Министр просвещения Франции Виктор Дюрюи посещает лабораторию Фабра.

1868 — Награжден орденом Почетного легиона, приезжает по вызову министра в Париж, присутствует в Тюильри на приеме виднейших французских ученых.

1868 — Немецкие химики получают синтетический ализарин.

1869 — Переезжает в Оранж.

1879 — Смерть сына Жюля. Выход в свет I тома «Сувенир энтомоложик».

1879 — Покидает Оранж и переезжает в Сериньян, приступает к созданию лаборатории живой энтомологии.

1880 — Смерть жены Фабра — Мари-Сезарин.

1881 — Женитьба Фабра на Жозефин-Мари Додель.

1882–1907 — Выход в свет II–X томов «Сувенир».

1910, 3 апреля — Юбилей Фабра.

1915, 11 октября — Кончина Фабра.

Краткая библиография

Литература о Ж.-А. Фабре

Л. Е. Аренс, Проба физиологического анализа механизма поведения насекомых (одинеров) в свете учения И. П. Павлова. В сборнике «Материалы по эволюционной физиологии». Под ред. Л. А. Орбели. Том II, стр. 51–59. М.—Л., 1957.

Л. Е. Аренс, Ж.-А. Фабр и И. П. Павлов. Газета «По ленинскому пути», г. Карачаевск, № 153, 1958.

Д. А. Бирюков, О единстве живого организма и среды, изд-во «Знание», 1954.

В. А. Вагнер, Возникновение и развитие психических способностей. Выпуски I–IX. Л., Госиздат, 1925–1929.

В. А. Вагнер, Ж.-А. Фабр. В журнале «Природа», 1915, № 12, стр. 1531.

М. М. Коновалов, Анри-Жан Фабр. Сообщение, произнесенное в заседании Пензенского общества любителей естествознания. Пенза, изд. почетного попечителя Пензенской учительской семинарии, 1916.

Л. Морган, Привычка и инстинкт, Спб., 1899.

С. И. Руновский, Фабр об инстинктах насекомых. Серия «В помощь учителю», г. Горький, 1935.

J. Charles-Roux, J.-H. Fabre en Avignon. P., 1913.

M. Coulon, Les ennemis de J.-H. Fabre et Ferton. P., 1925.

M. Coulon, Le génie de J.-H. Fabre. P., 1924.

R. S. R. Fitter, Six great naturalists. Linnaeus, Audubon, Fabre a. o. London, 1959.

Alb. Flory, J.-H. Fabre. «Matson de la bonne presse». P., 1942.

G. Grandi, Les instincts et leur manifestations chez les hyménoptères supérieurs. In:, «Scientia», VI série, v. IX-X, 1962.

Kurt Guggenheim, Sandkorn für Sandkorn. Zürich-Stuttgart, 1959.

P. Julian, Poésies françaises et provençales de J.-H. Fabre. P., 1925.

G. V. Legros, La vie de J.-H. Fabre-naturaliste. P., 1925.

M. Maeterlink, J.-H. Fabre. In: «Vers et prose», pp. 32–46.

J. G. Millet, En lisant J.-H. Fabre — le Virgile des insectes. P., 1922.

L. Mathon, Mes entretiens avec J.-H. Fabre sur l'éducation. P.,

1923.

E. Rabaud, J.-H. Fabre et la science. P., 1925.

E. Revel, J.-H. Fabre, l'Homère des insectes. P., 1951.

J. Rostand, Le droit d'être naturaliste. P., 1963.

J. Rostand, J.-H. Fabre. In: «Hommes é vérité». P., 1948.

L. G. Simons, Fabre and mathematics and others essays Ed. «Scripta mathematica», N.-J., 1939.

M. Thomas, J.-H. Fabre et la science. Réponse á E. Rabaud Bruxelles, 1926.

G. Vidal, J.-H. Fabre ou une leçon d'énergie. Conflans, 1925.

E. E. Teal, In: «The insect World of J.-H. Fabre». Greenwich Conn., 1964.

Издания сочинений Ж.-А. Фабра на русском языке

«Жизнь насекомых». Перевод с французского Л. В. Очаповского. Спб., издание «Вятского товарищества», 1911.

То же, второе издание, под редакцией и с предисловием проф. Н. М. Кулагина. М.—Л., Госиздат, 1924.

То же, для старшего возраста. Обработка Н. Н. Плавильщикова. М.—Л., Детиздат, 1936.

То же, второе издание. М.—Л., Детгиз, 1939.

«Жизнь насекомых. Рассказы энтомолога». Сокращенный перевод с французского и обработка доктора биологических наук Н. Н. Плавильщикова. М., Учпедгиз, 1963.

«Жуки-навозники». Изложение Л. Очаповского. Спб., изд. «Вятского товарищества» «Народная библиотека». 1911.

То же, под редакцией Н. Я. Кузнецова. М.—Л., Госиздат, 1926.

То же, второе издание. М.—Л., Госиздат, 1928.

«Звездное небо». Лекции из области науки о небе для старого и малого. Перевод с немецкого С. М. М., изд-во «Московский рабочий». 1924.

«Инстинкт и нравы насекомых». Из «Энтомологических воспоминаний». Перевод с французского Е. И. Шевыревой, под ред. ученого секретаря Русского энтомологического общества Ив. Шевырева, тт. I–II. Спб., изд. А. Ф. Маркса, 1898–1905.

То же, второе издание. Пб., 1906–1914.

То же, третье издание, том I, изд. А. Ф. Маркса. П.

«Насекомые-мертвоеды». Изложение Л. Очаповского. М., Вятское книгоиздательство «Народная библиотека», М., 1911.

«Наши слуги». Перевод с французского В. Барбашевой. М.,

Госиздат, 1925.

«Одиночные пчелы». Изложение Л. Очаповского. М.—Л., Госиздат, 1927.

«Осы». Изложение Л. Очаповского. Спб., изд. «Народная библиотека», 1912.

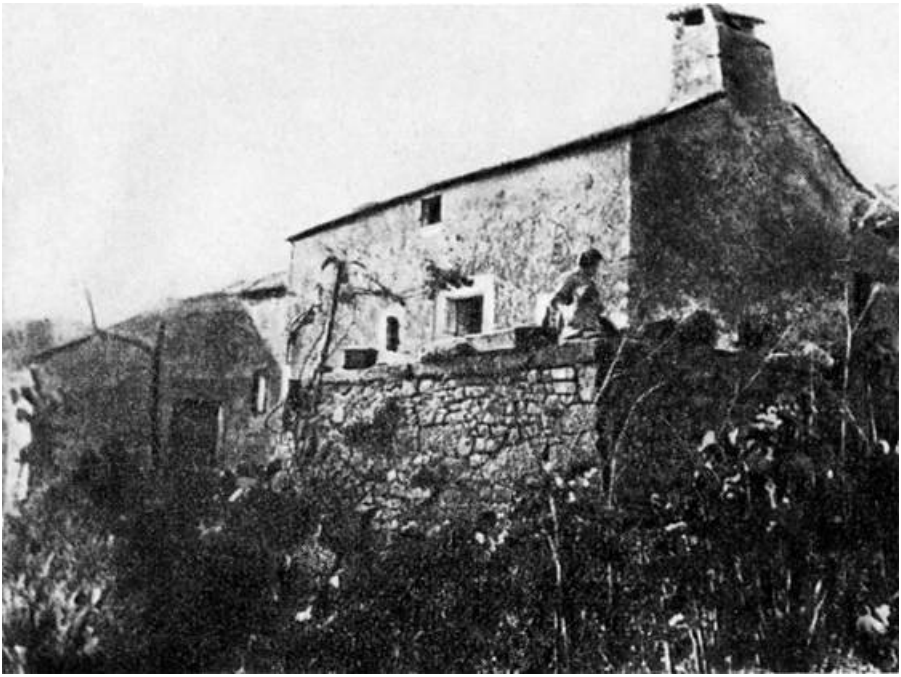
То же. М.—Л., Госиздат, 1927.

«Пчелы». Изложение Л. Очаповского. Пг., Вятское киигоиздательство «Народная библиотека», 1912.

«Шестиногие». Пересказ для детей среднего возраста Н. Н. Плавильщикова. М., Детгиз, 1935.

«Первоначальный учебник химии» (в соавторстве с Ф. Малагути). Перевод с французского Ф. Савченкова. Спб., «Русская книжная торговля», 1872.

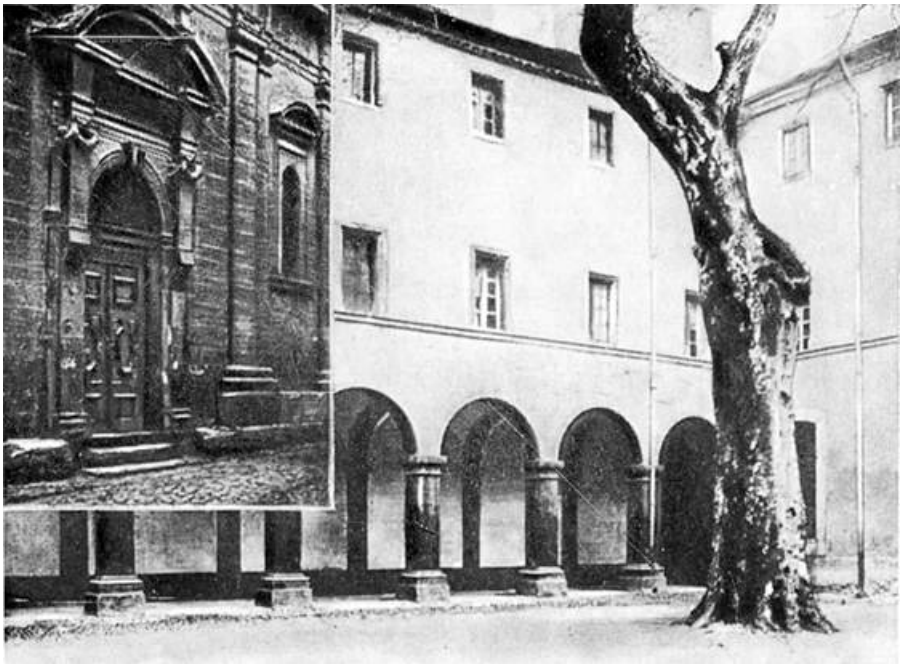
Иллюстрации



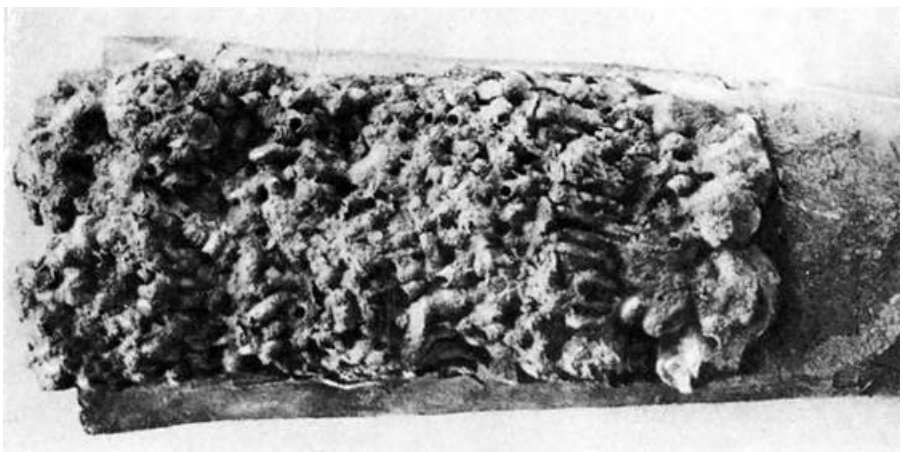
1. Дом, в котором родился Фабр.

2. Памятник Фабру перед этим домом (скульптура Малэ). Установлен в 1924 году.

3. «Пустая дорога» в окрестностях Карпантра.

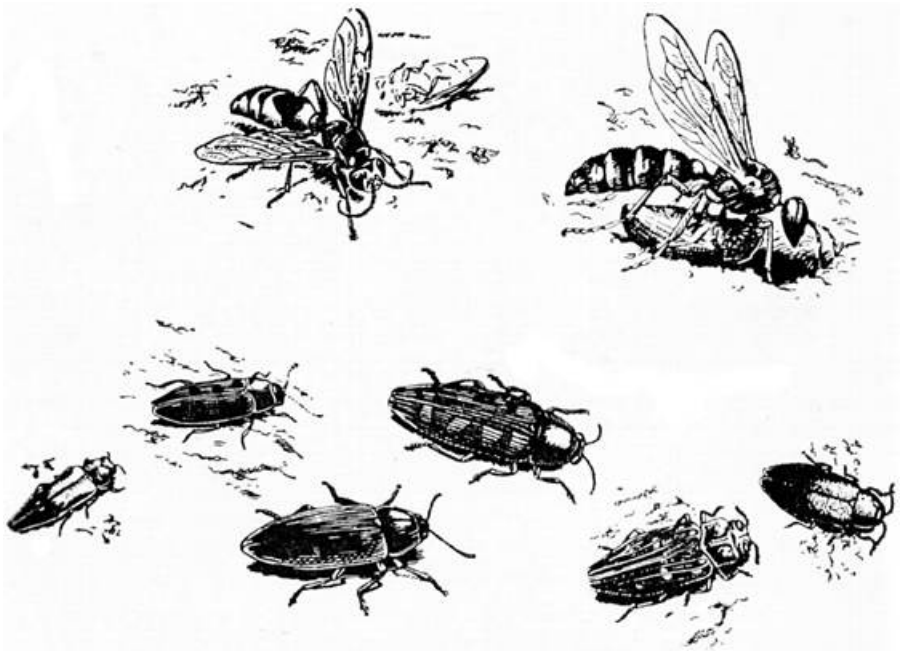


4. Карпантра. Здание коллежа, в котором учительствовал Фабр.

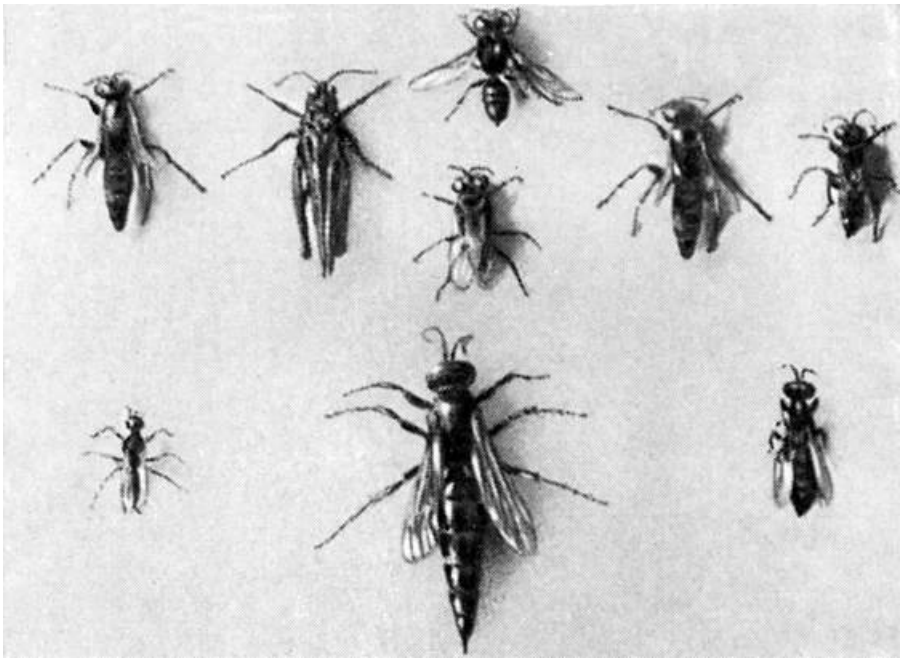


5, 6, 7. Черепица, сплошь покрытая гнездами пчелы халикодомы амбарной. Колония их обитала у входа в сарай Фабров.

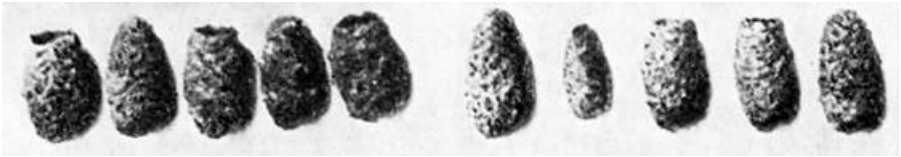
8. Леон Дюфур.



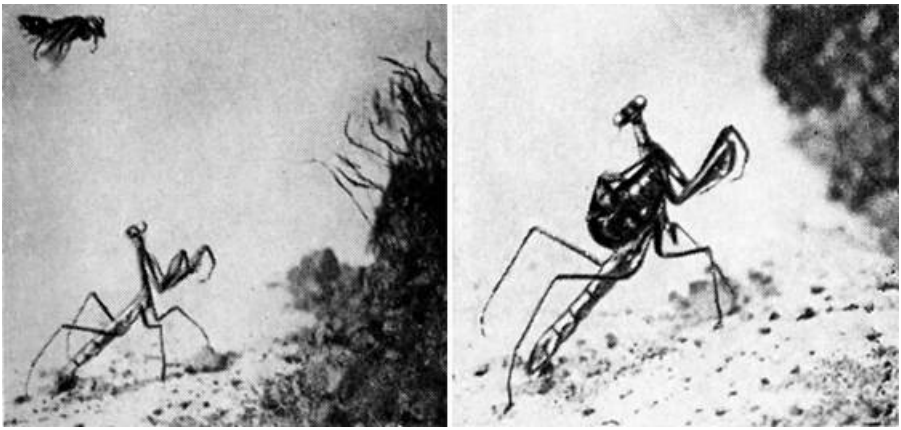
9. Осы церцерис и жуки, которых они заготовляют в корм потомству.



10. Осы тахиты, убийцы богомолов.

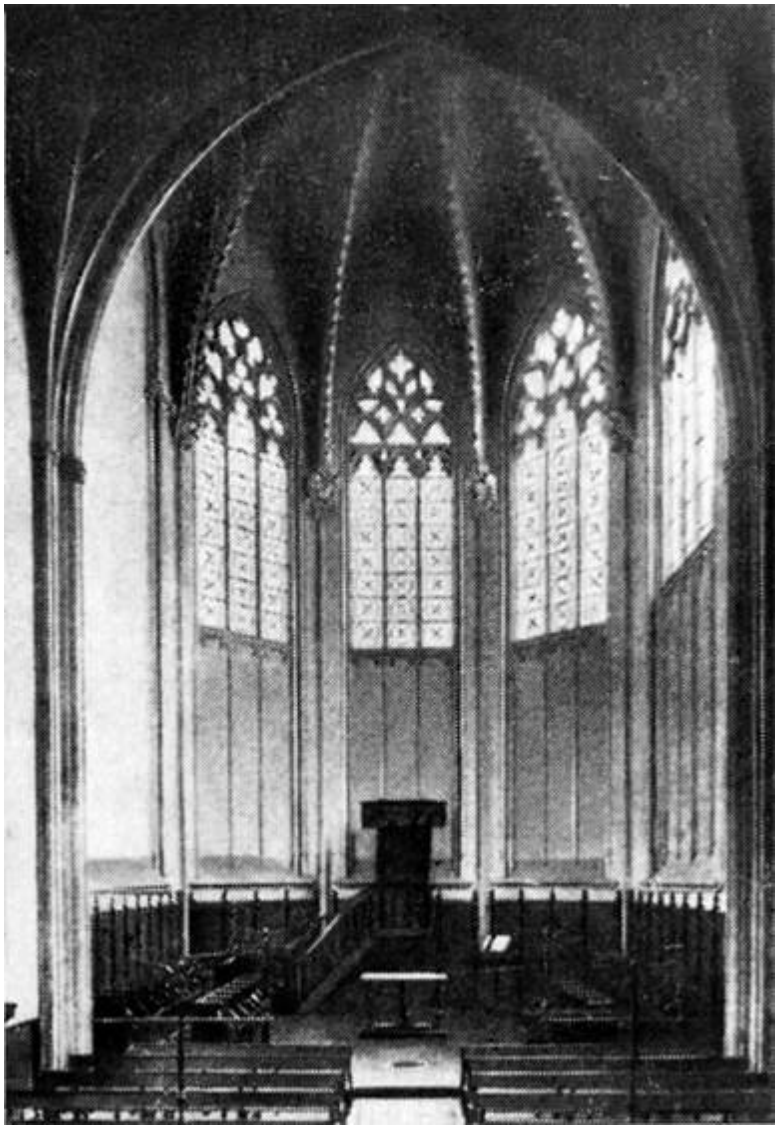


11. Их коконы.

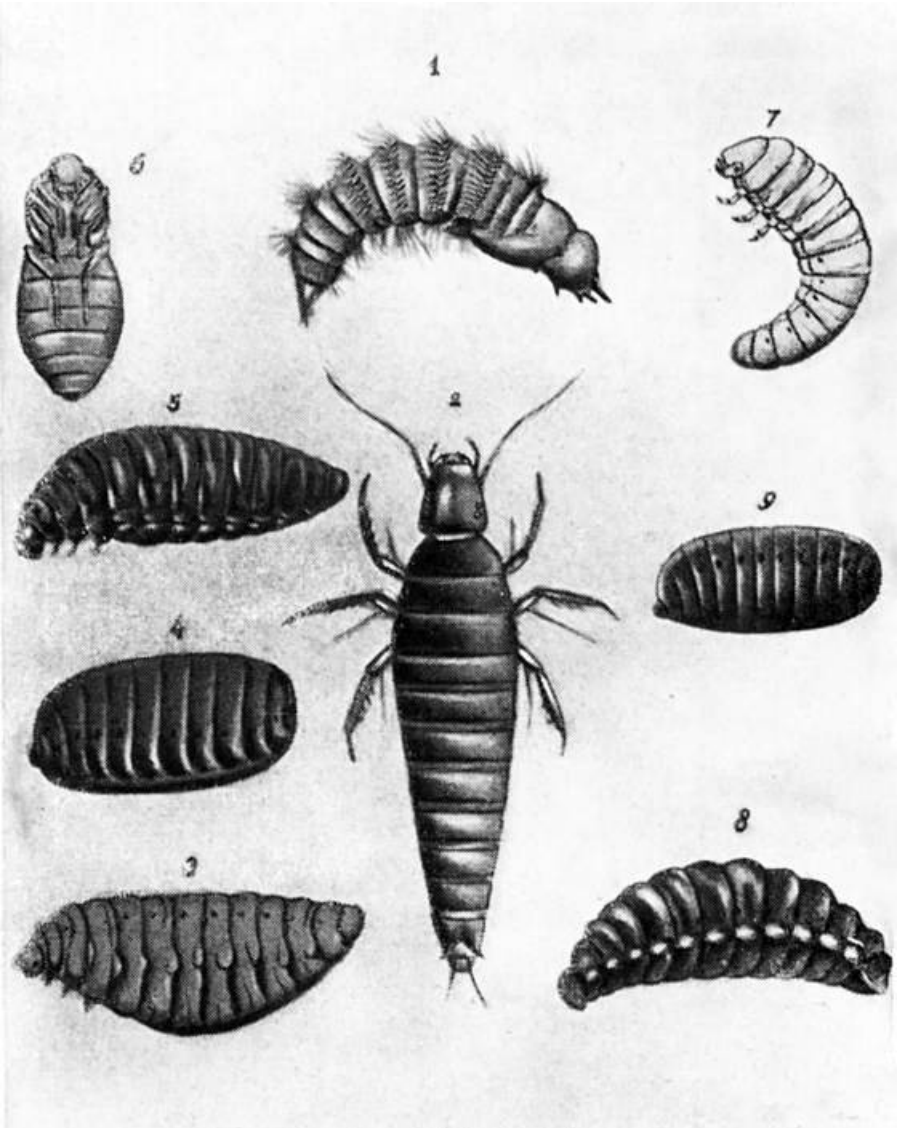


12, 13. Схватка тахита с богомолом.

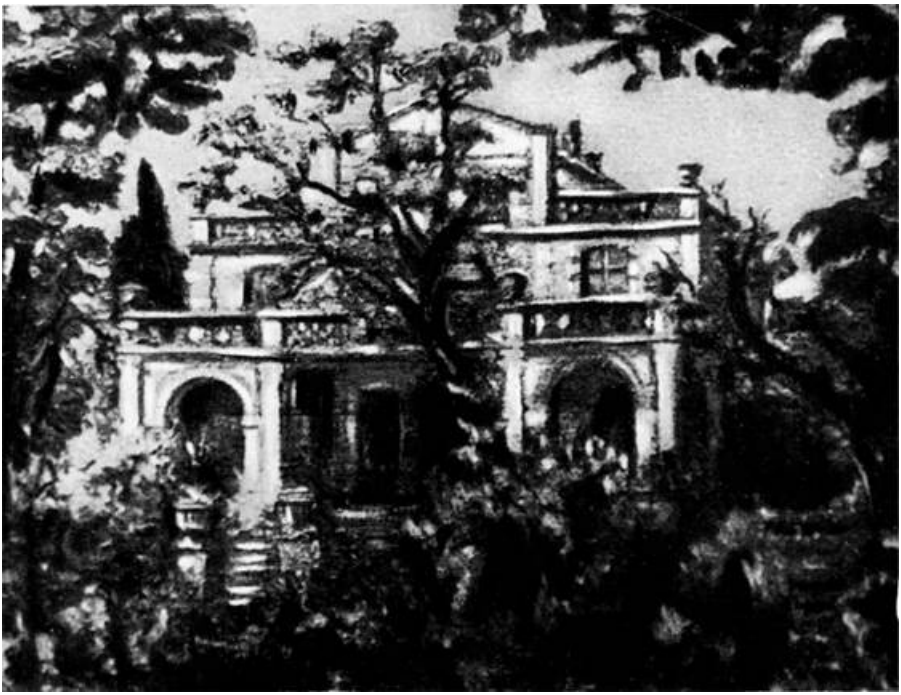
14. Эспри Рекиян.



15. Одна из аудиторий Сен-Марциала, в которой часто выступал Фабр.

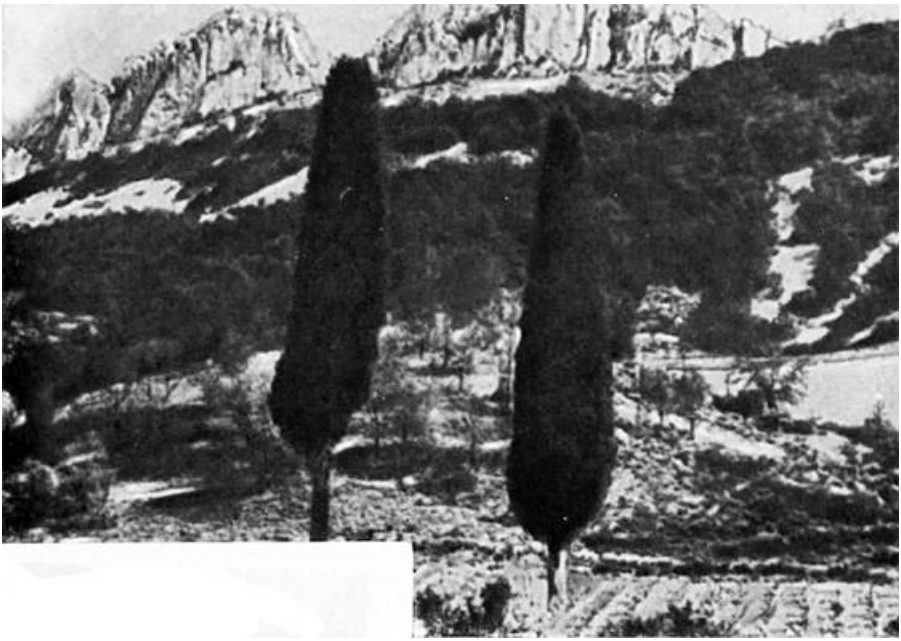


16. Гиперметаморфоз жуков нарывников: 1 — нимфа антракса, 2 — первая личинка ситариса, 3 — вторая личинка ситариса, 4 — ложная куколка ситариса, 5 — третья личинка ситариса, 6 — нимфа ситариса, 7 — вторая личинка мелоэ, 8 и 9 — ложные куколки мелоэ разных видов.



17. «Зеленый дуб» — место встречи фелибров. С картины Ж. Касса (коллекция Рора, Авиньон).

18. Фредерик Мистраль.



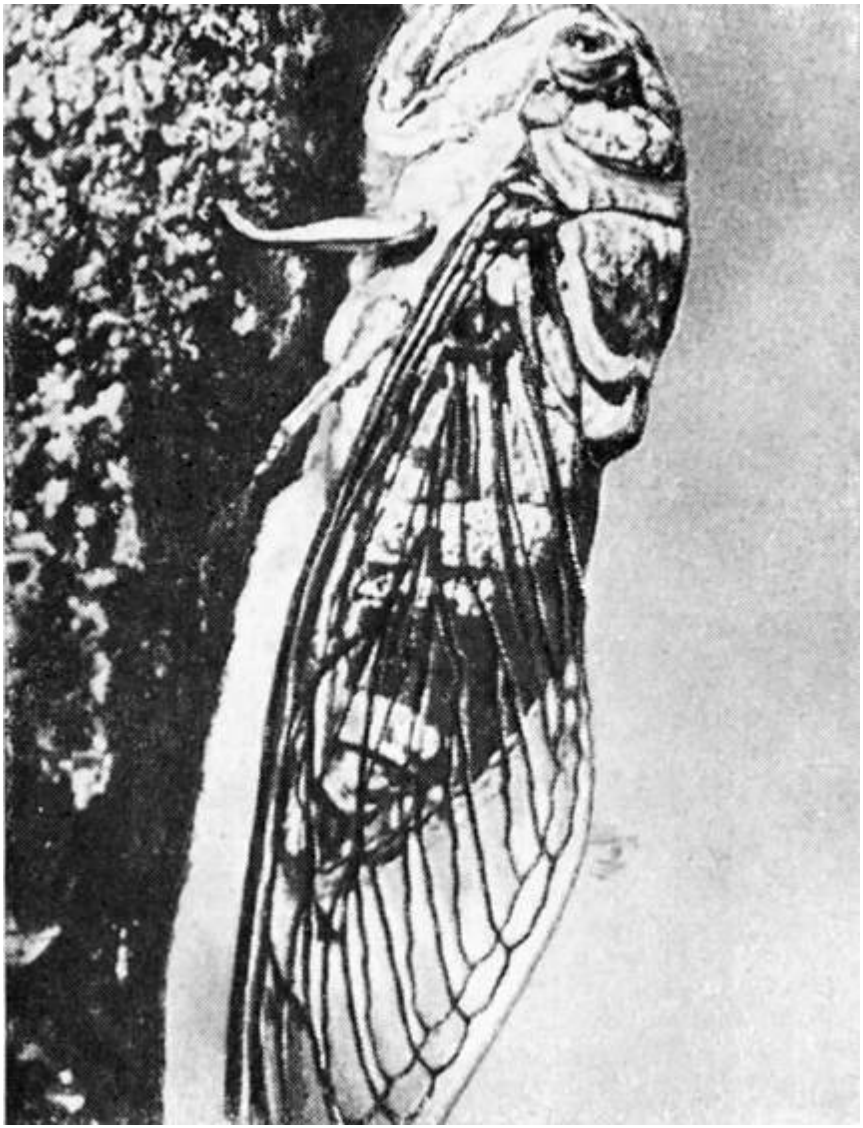
19. Вид на гору Монмирайль.

20. Хижина на полпути к вершине Ванту. Здесь не раз ночевал Фабр.

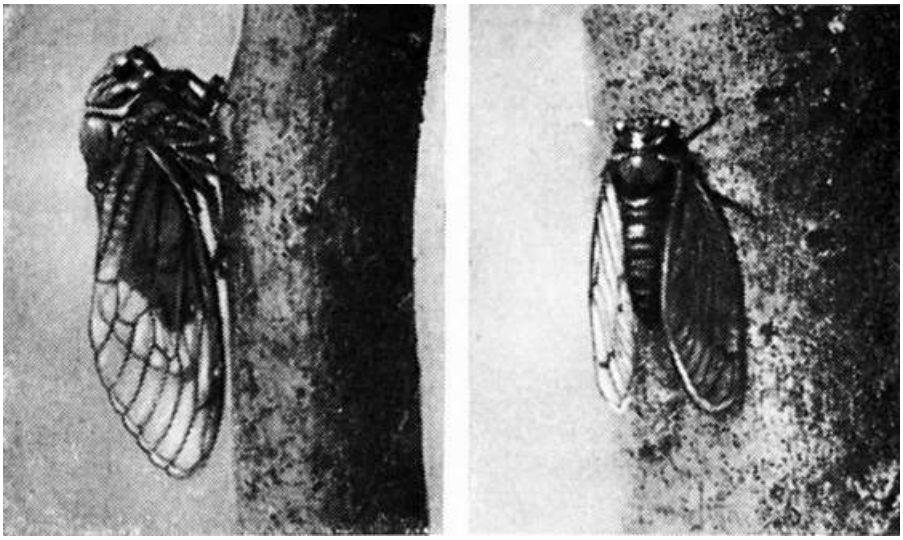
21. Гора Ванту.

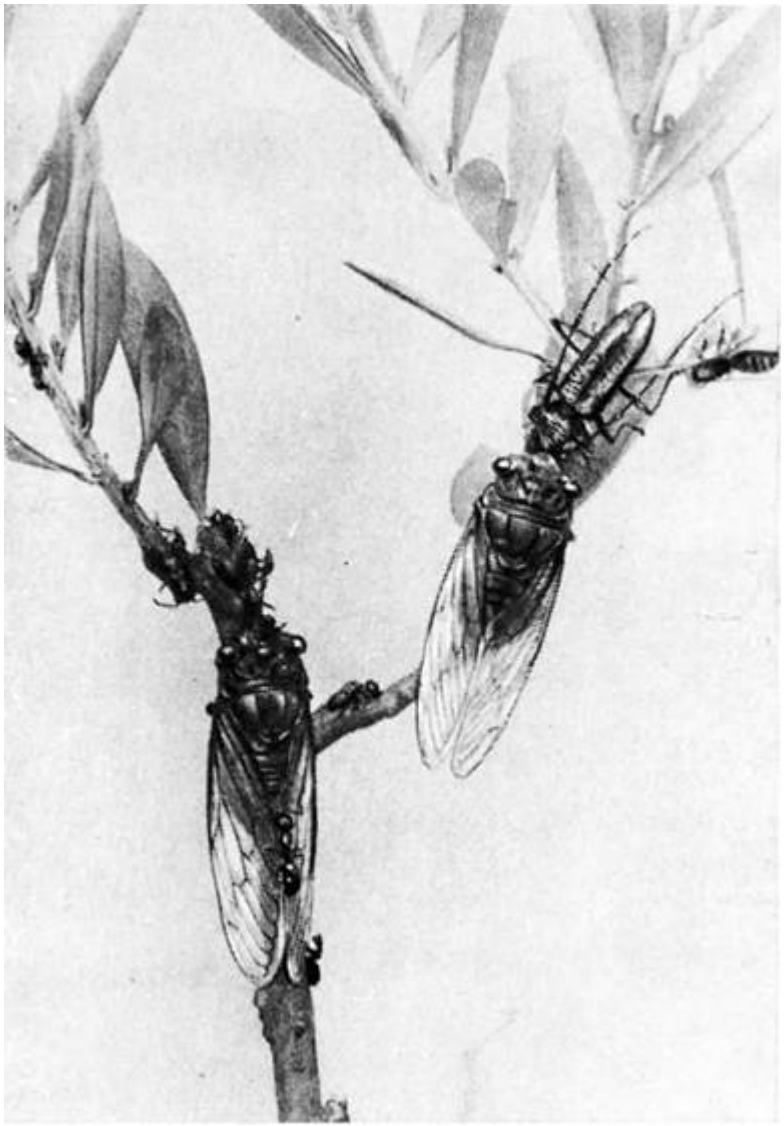
22. Цикада роет ход.

23. Выход взрослой цикады из кокона.



24. Взрослый самец цикады (увеличено).

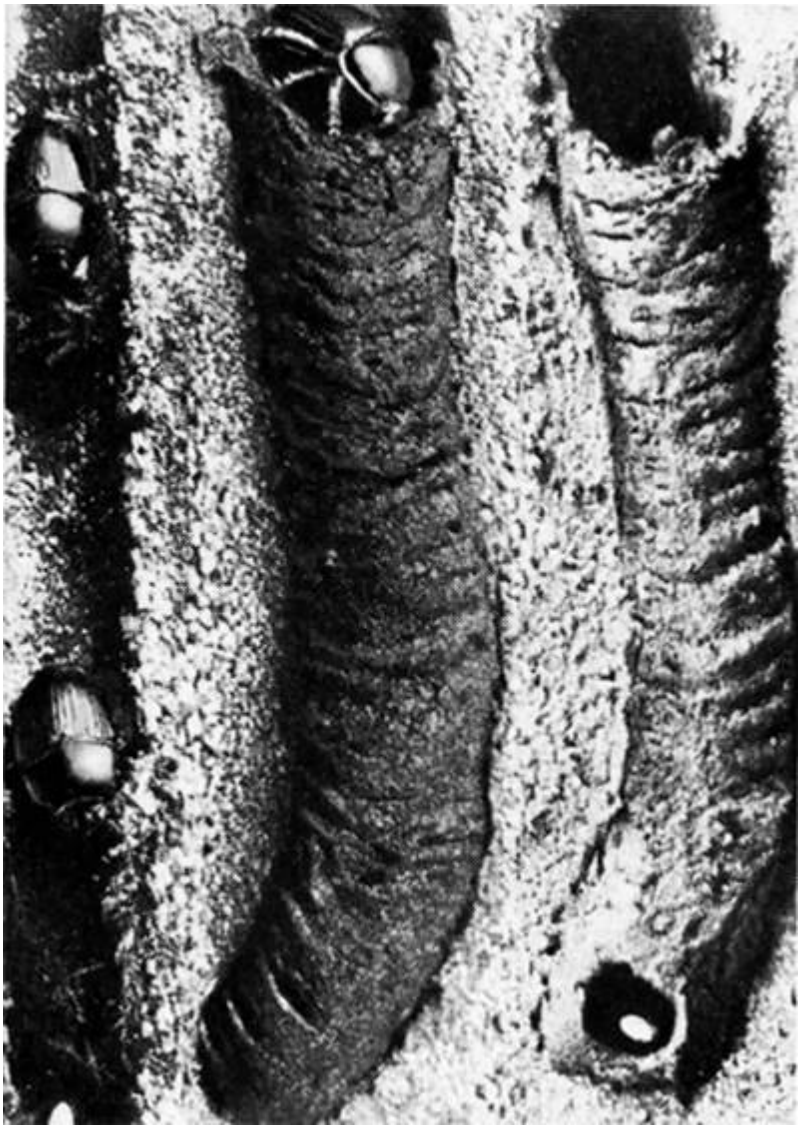




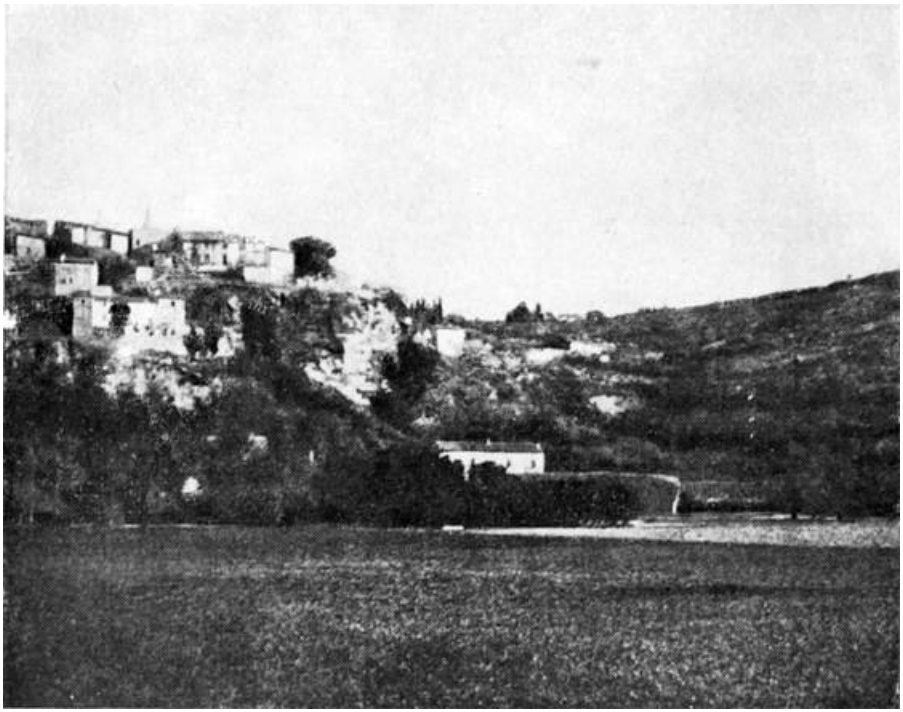
25. Цикады буравят хоботками ветки растения и сосут сок. Вокруг собираются любители сладкой растительной пищи.

26. Авиньон, улица Красильщиков. Дом, в котором дольше всего прожили здесь Фабры.

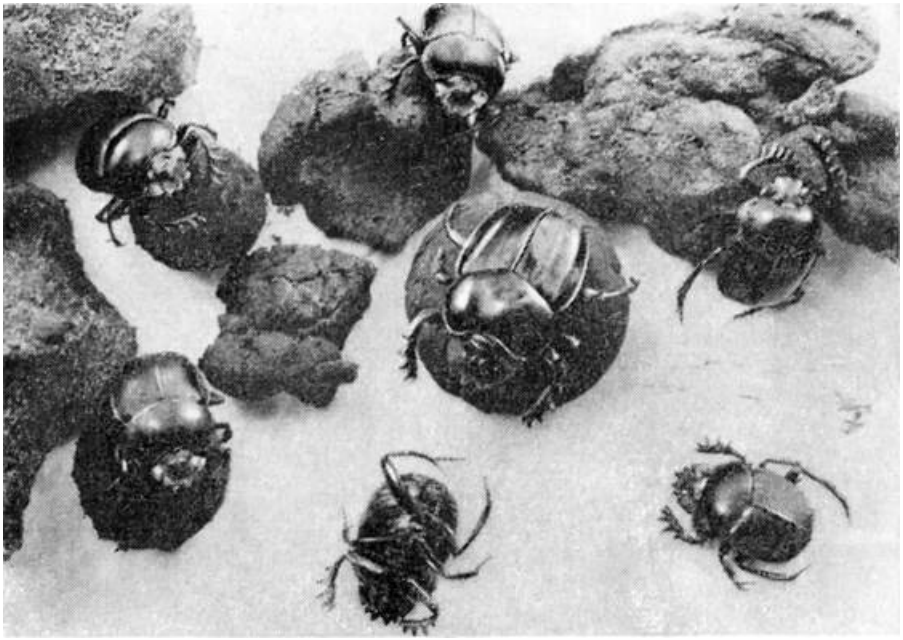
27. Жуки геотрупы-навозники.



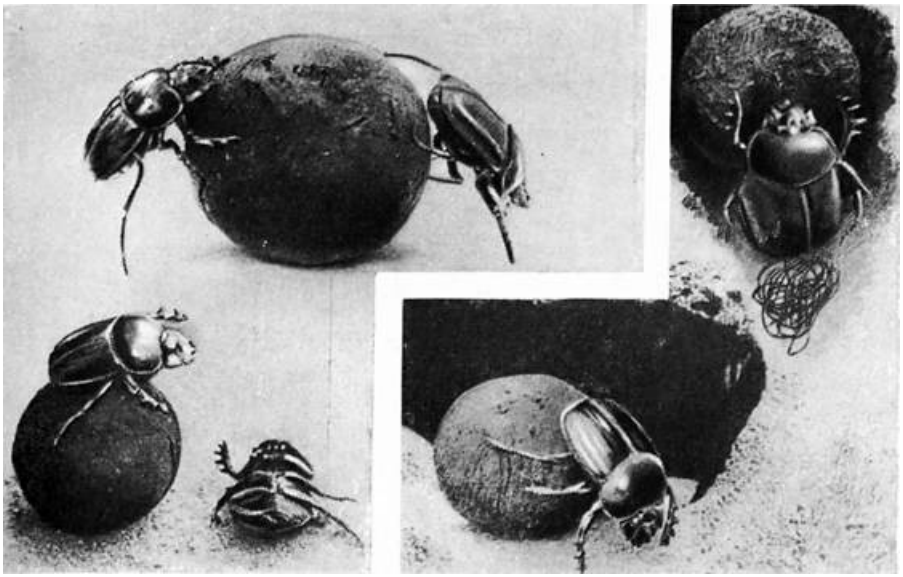
28. Жуки прокладывают шахты, заполняют их кормом. Внизу лежит яйцо, из которого выйдет личинка.



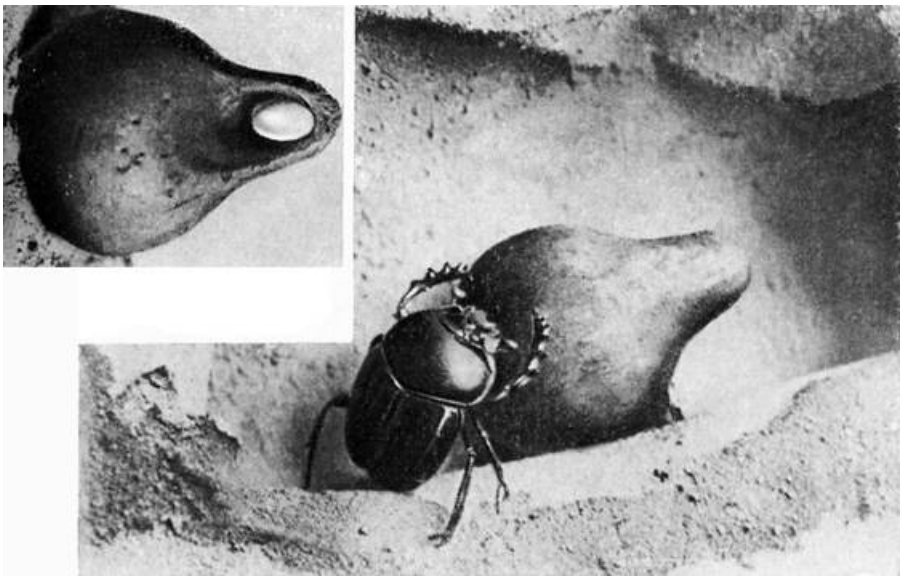
29. Плато Англь.



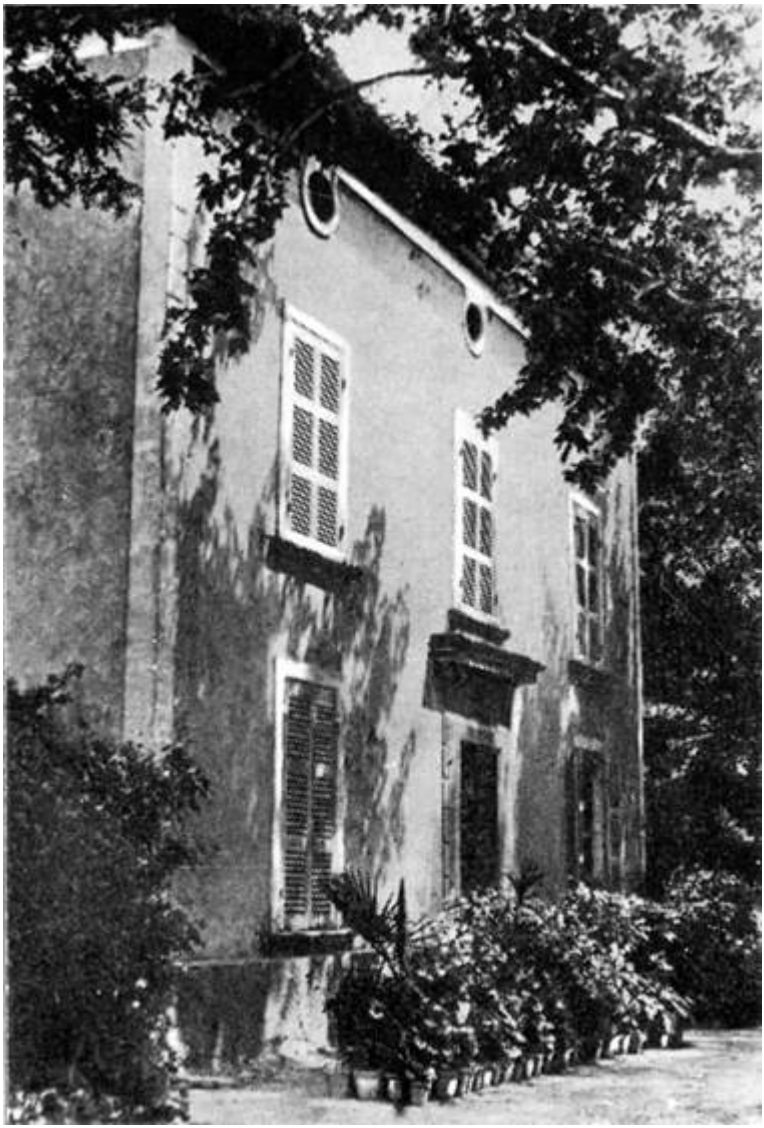
30. Жуки скарабеи, скатывающие навозные шары.



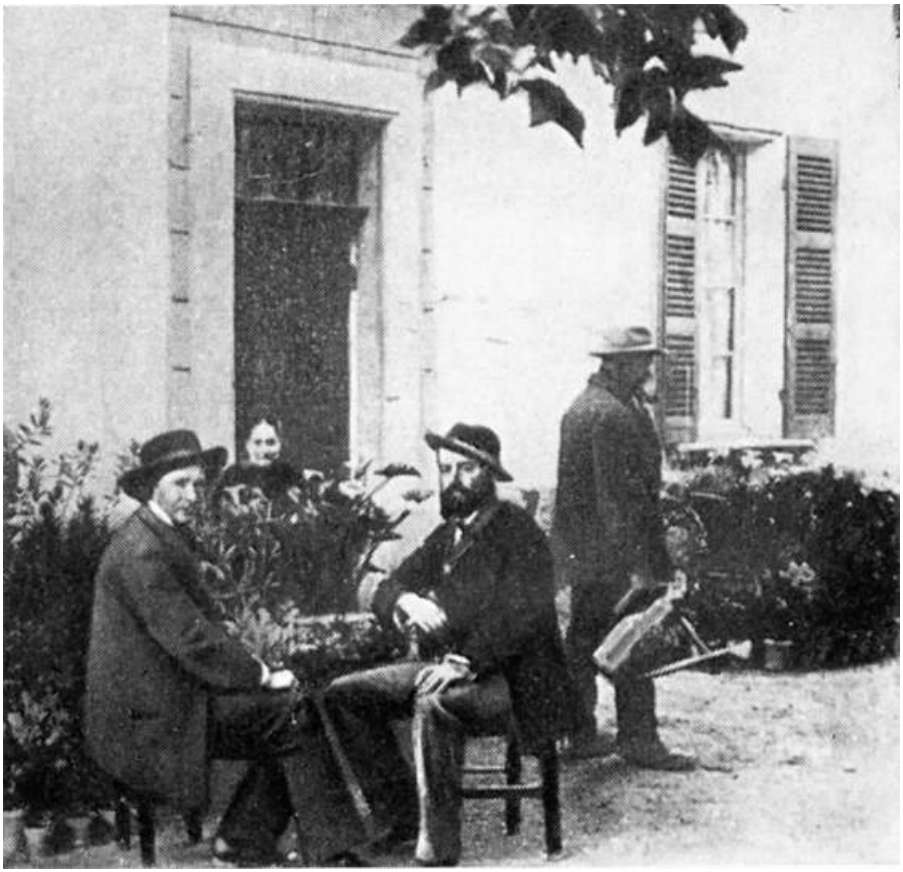
31. Когда шар поедается, из жука непрерывно выходит нить погадок.



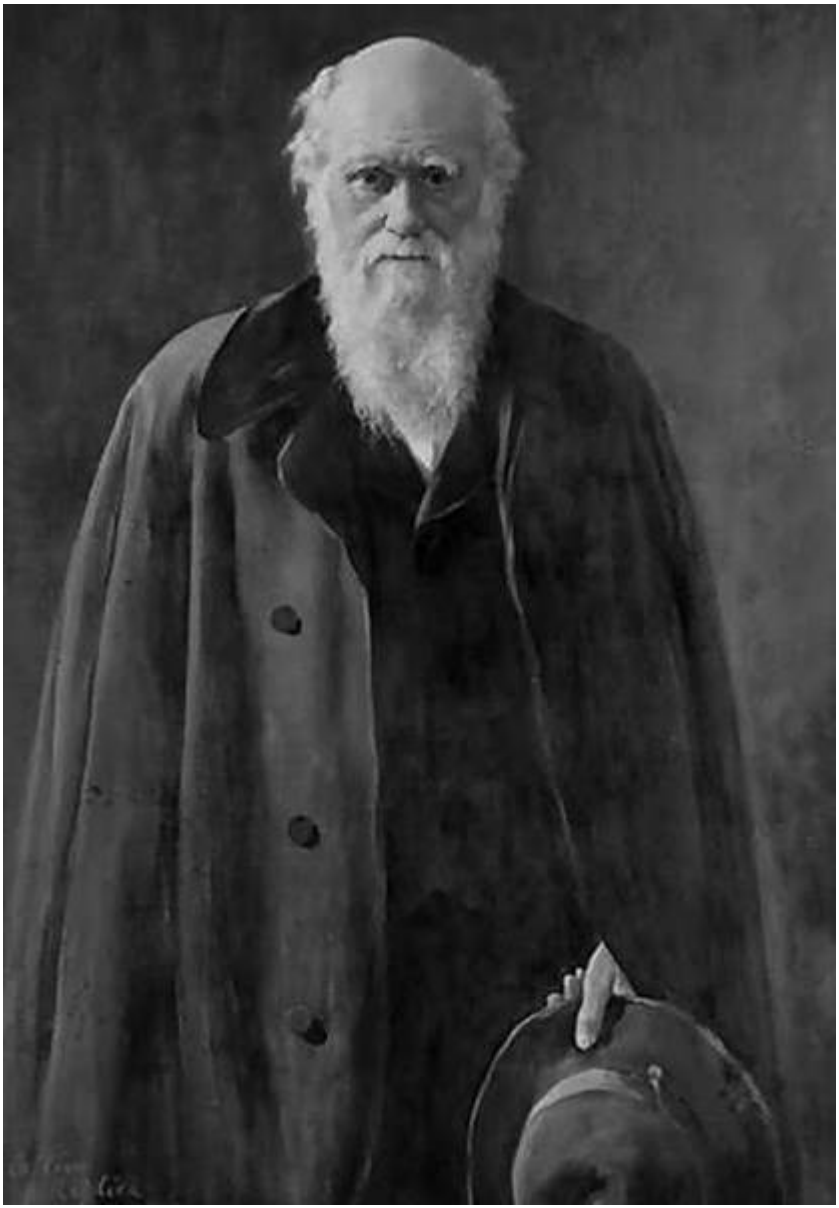
32. Жук формует грушу — корм для личинок. Яйцо отложено в узкой части груши.



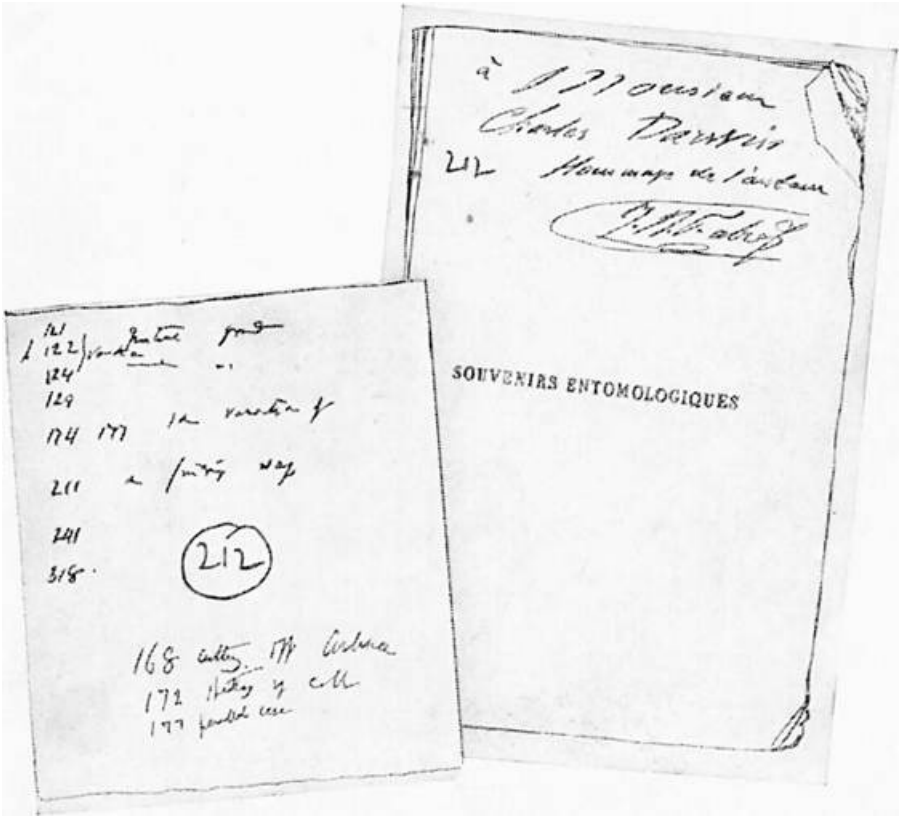
33. Сериньян, дом в Гармасе.



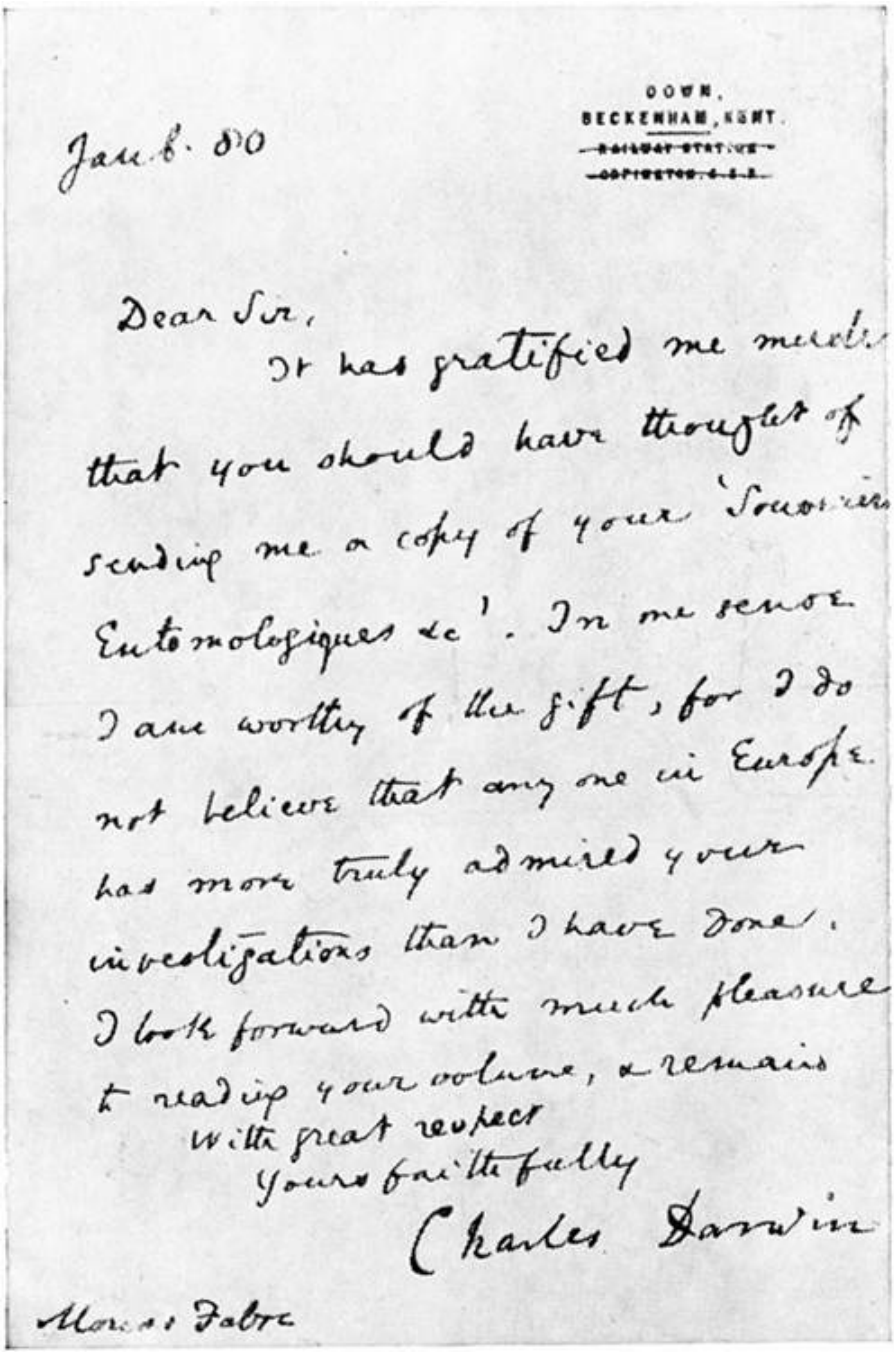
34. Фабр с навестившим его другом. В глубине Мари-Сезарин и садовник Фавье. Первая фотография Фабра.



35. Чарлз Дарвин, портрет художника Ж. Селье.



36. Обложка первого тома «Сувенир» с надписью Фабра Дарвину, а также листок с пометками Дарвина: выписаны страницы, особенно заинтересовавшие его. Находится в книгохранилище Кембриджского университета. Публикуется впервые.



Jan. 6. 80

DOWN,
BECKENHAM, KENT.
RAILWAY STATION
DISTRICT S.E.R.

Dear Sir,

It has gratified me much that you should have thought of sending me a copy of your 'Souvenirs Entomologiques &c'. In no sense I am worthy of the gift, for I do not believe that any one in Europe has more truly admired your investigations than I have done. I look forward with much pleasure to reading your volume, & remain

With great respect
Yours faithfully
Charles Darwin

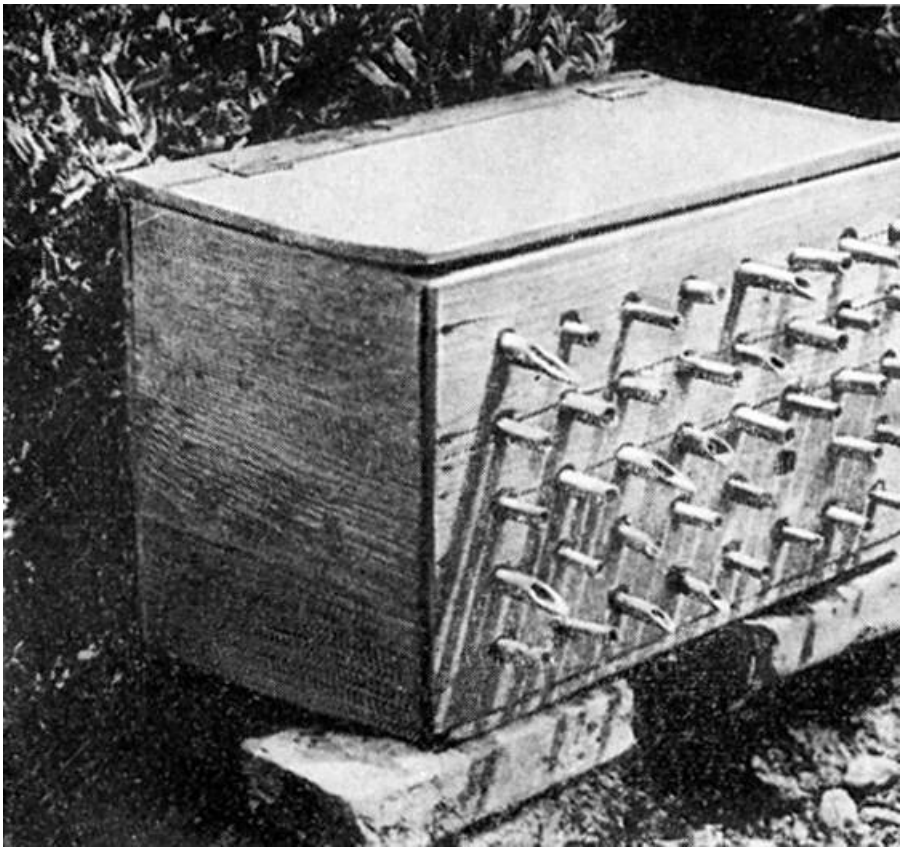
Monsr. Fabre

37. Фотокопия письма Дарвина Фабру от 6 января 1880 года. Дарвин благодарит Фабра за присылку тома «Сувенир» и пишет, что вряд ли кто-нибудь в Европе интересуется исследованиями Фабра больше, чем он. Оригинал письма хранится в музее Фабра в Сериньяне. Публикуется впервые.

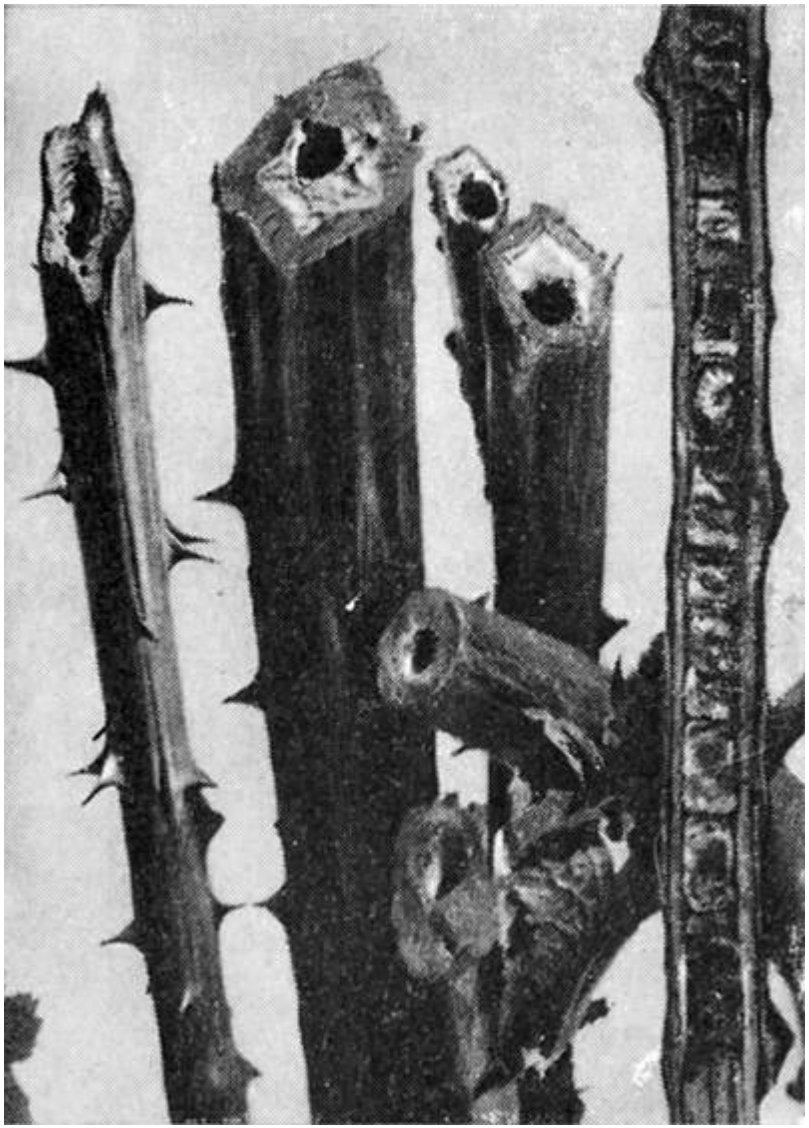
38. Лаборатория в Гармасе.

39. Фабр в возрасте 75 лет в кругу семьи. Слева на право: дочь Мари-Полин, жена Жозефин-Мари, дочь Анна-Элен, дочь Аглая, племянник.

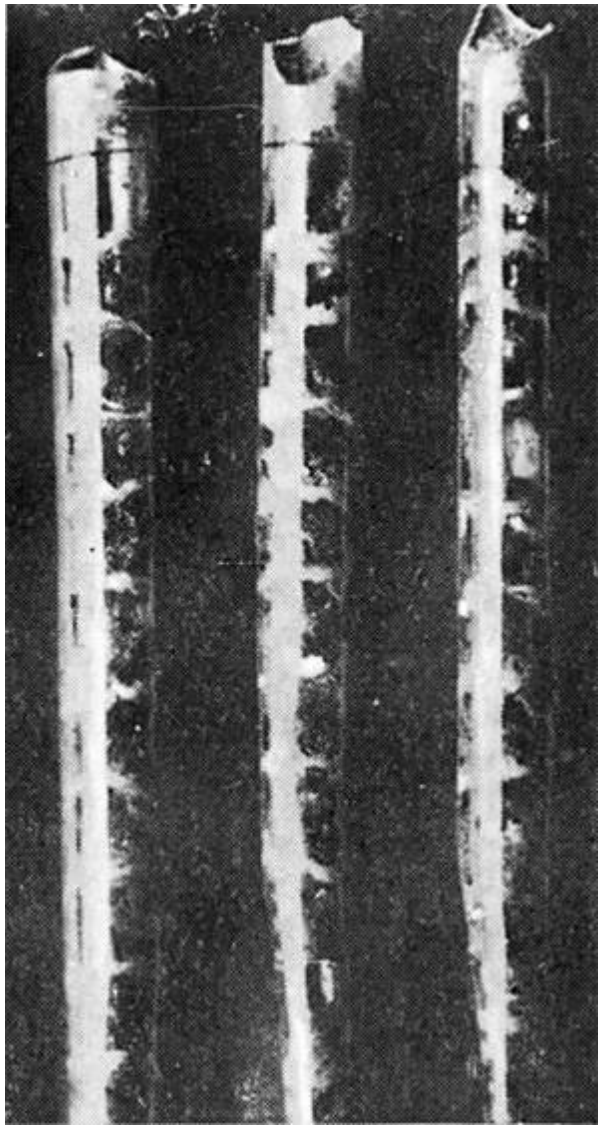
40. Фабр в лаборатории.



41. Улей системы Фабра.



42. Стебли-гнезда; последнее расщеплено вдоль, в нем видны ячейки, некоторые с личинками.

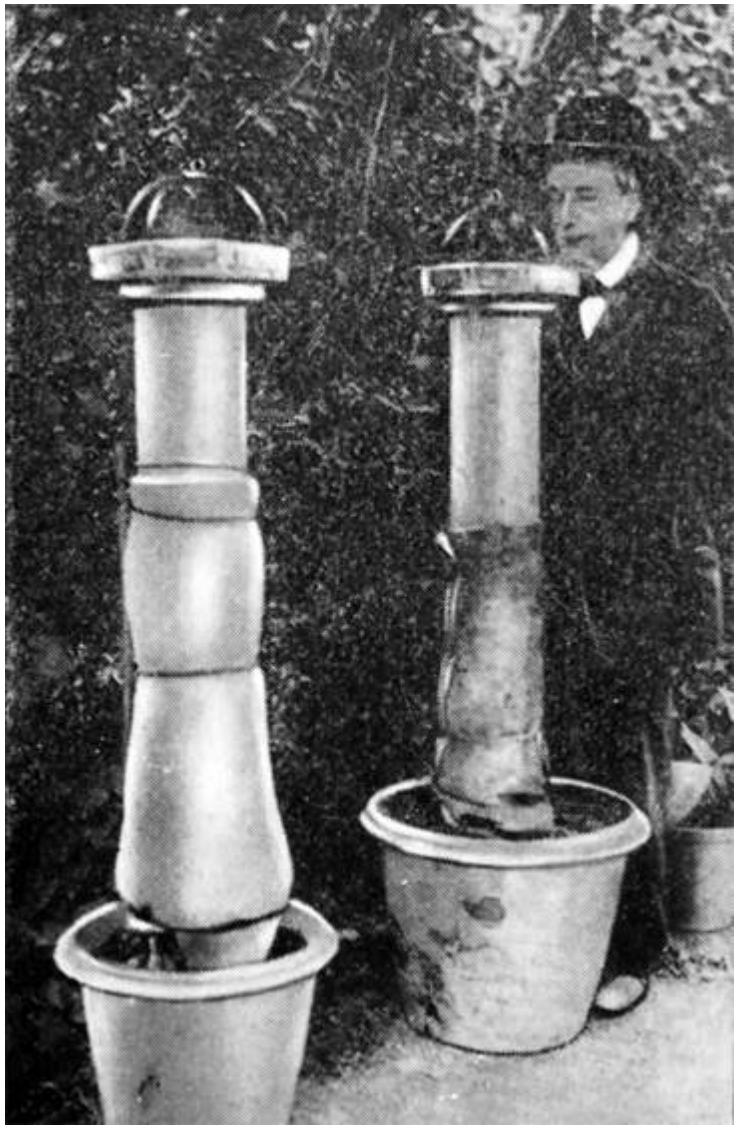


43. Наблюдательные гнезда осмий в стеклянных трубках.

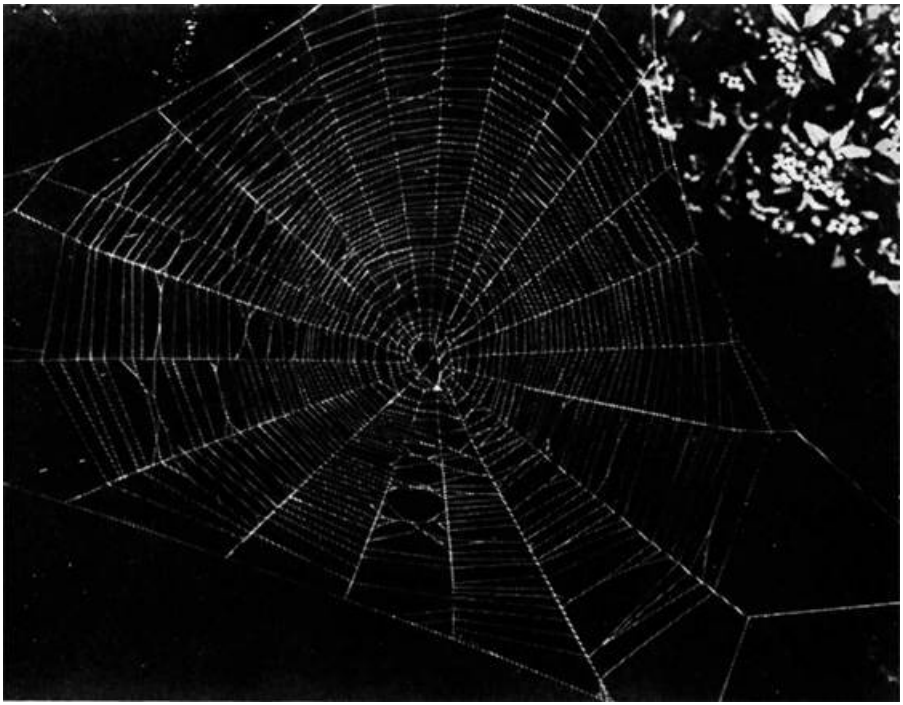
44. Приманка для насекомых — пожирателей падали.

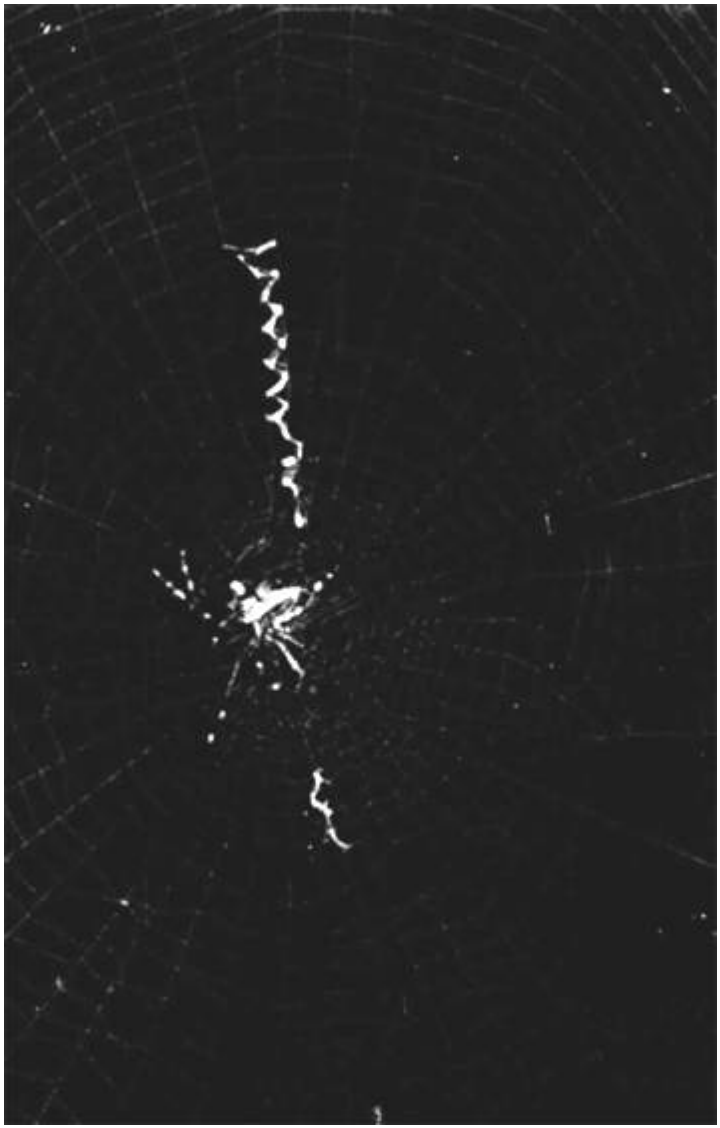
45. Привязанная к трем камышинам миска, в которую кладутся трупы.

46. Сын Фабра Поль под руководством отца снимает киноаппаратом сцены из жизни насекомых.

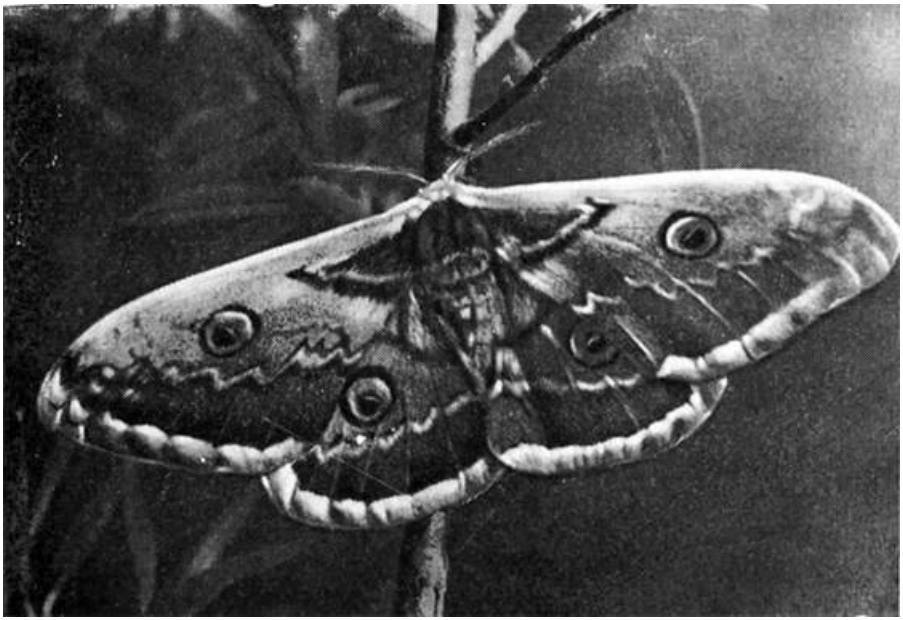


47. Усовершенствованная пилона — устройство для наблюдений за жуками навозниками.

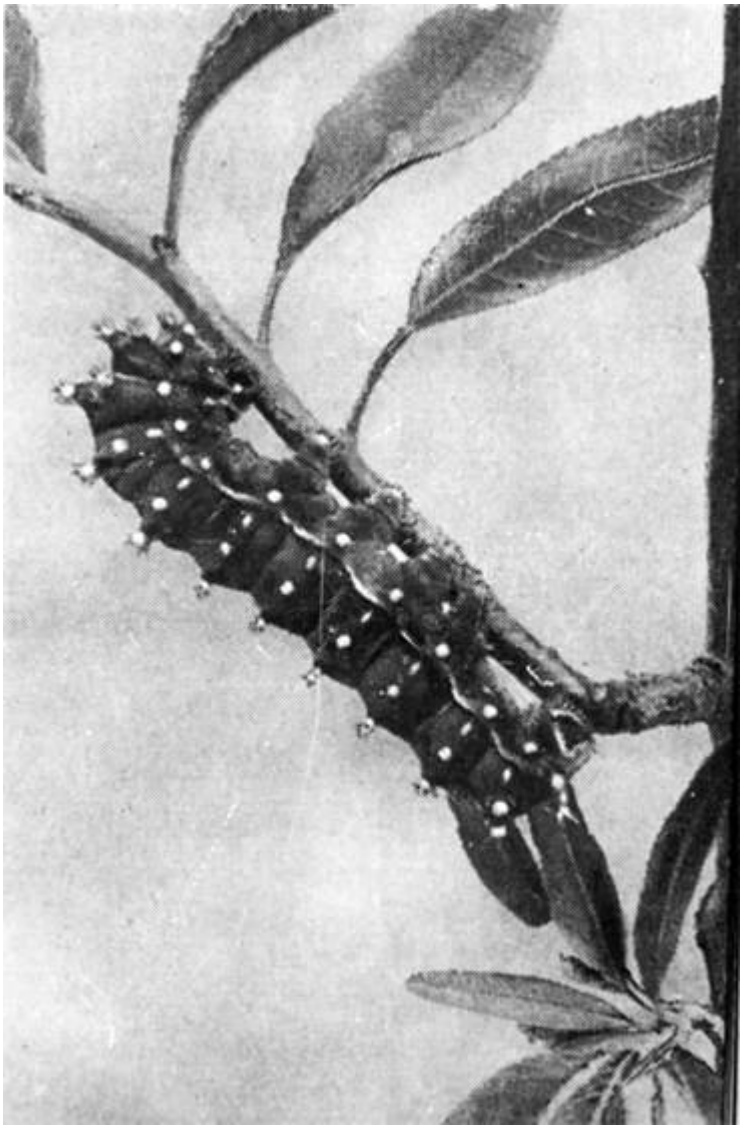




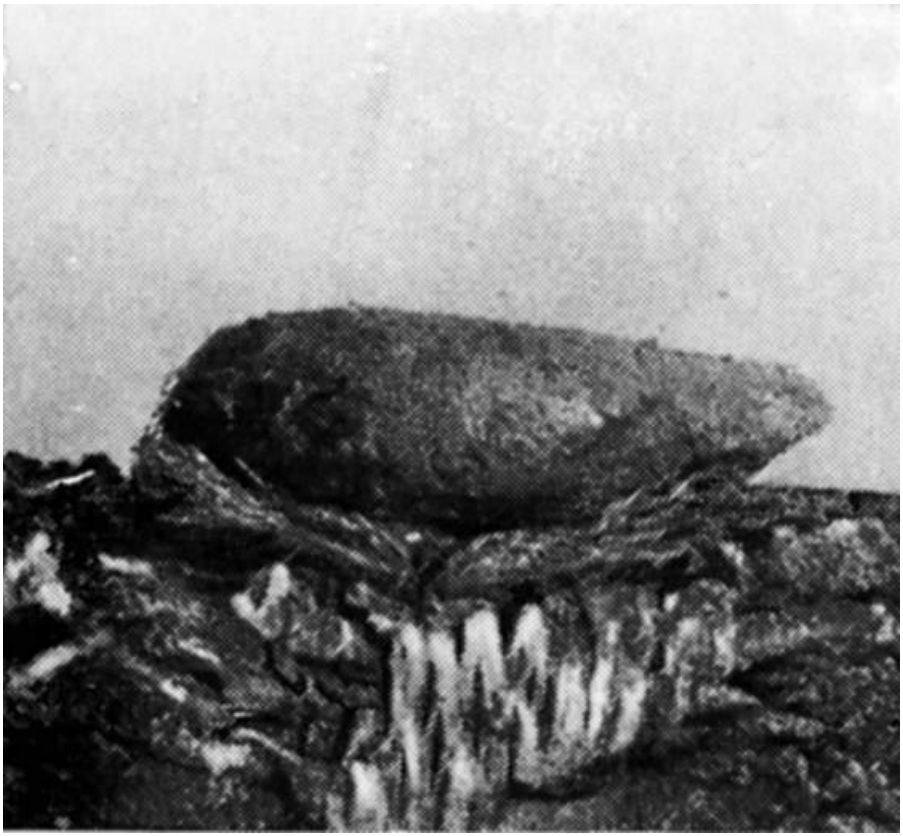
48, 49. Паутина пауков, о которых Фабр рассказывает в «Сувенир».



50. Бабочка «большой павлиний глаз».

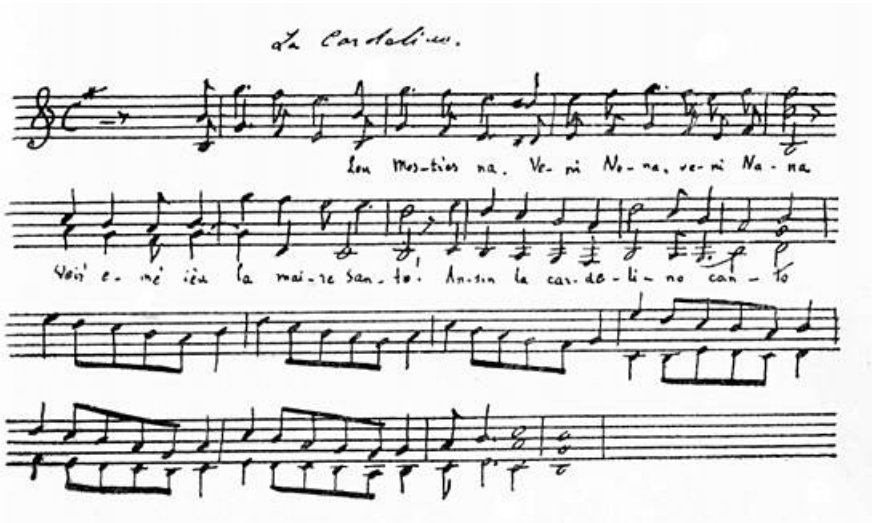


51. Ее гусеница.



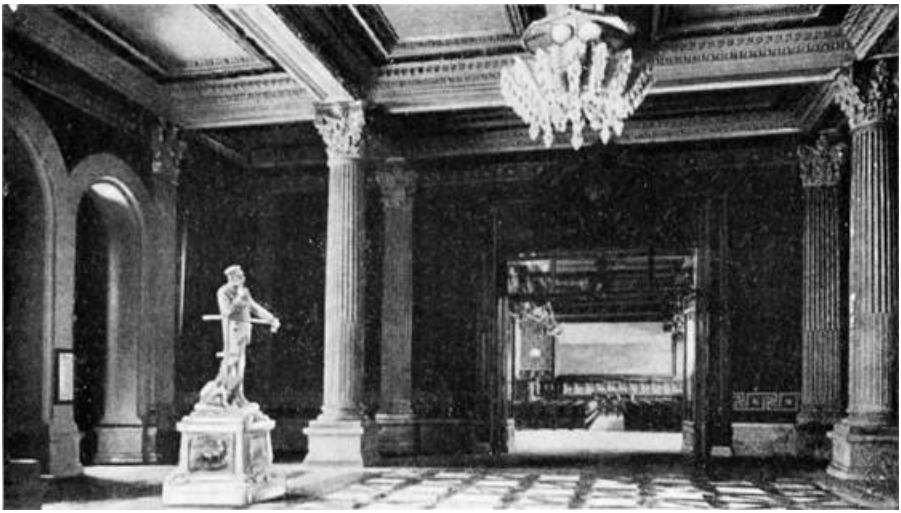
52. На стволе дерева кокон с куколкой.

53. Фабр на участке Гармаса.

54. За письменным столом.

55. Музыкальный автограф Фабра (публикуется по материалам института истории Прованса при Сорбонне).

56. «Сериньянская академия». Слева направо: учитель Луи Шаррас, Фабр, плетельщик стульев Мариус Гиг.

57. Океанографический музей в Монако.

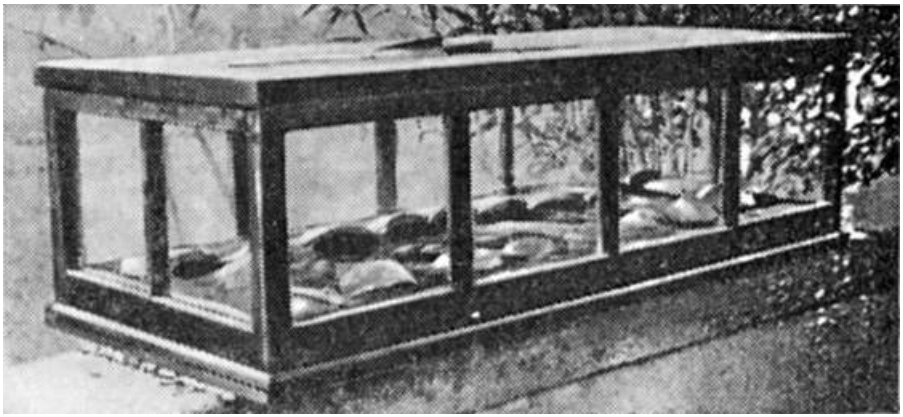


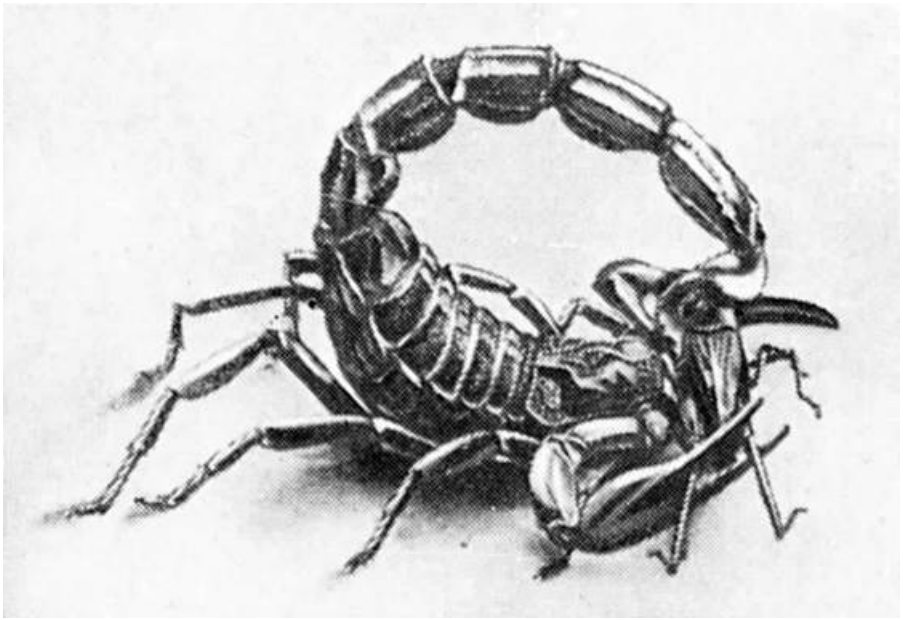
58. Вестибюль музея и вход в зал конференции.

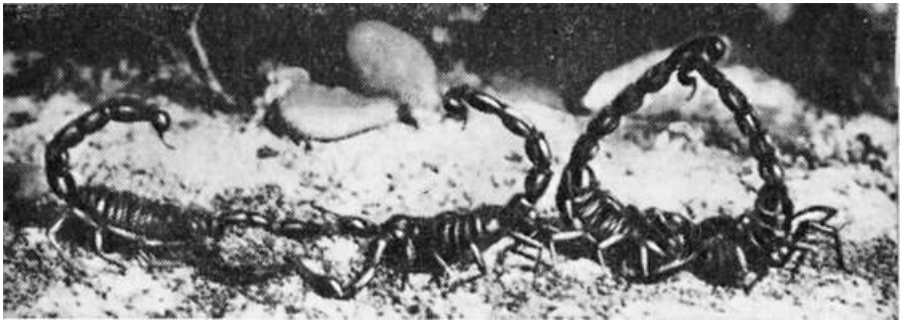
59. Чествование Фабра в день юбилея.

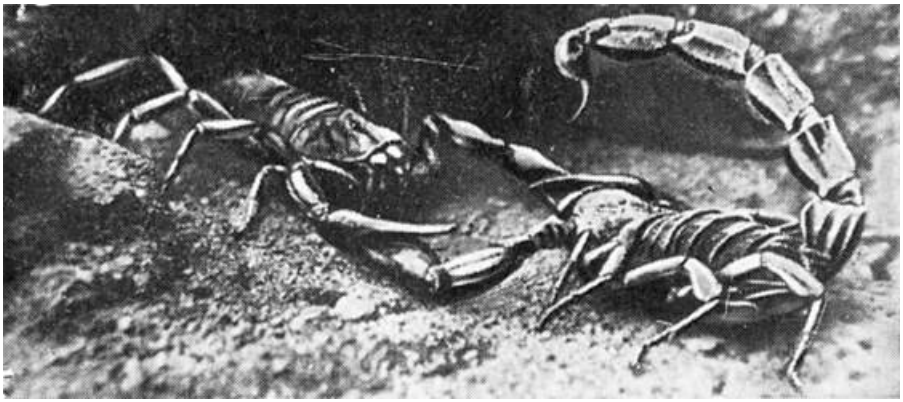
60. Памятная медаль, выбитая в ознаменование юбилея.

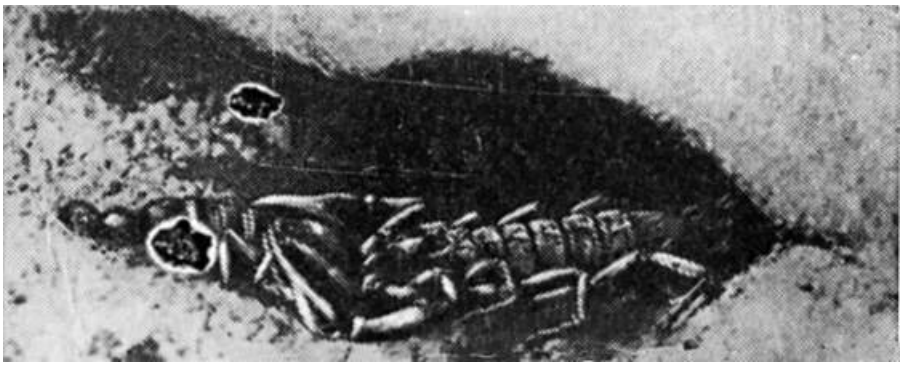
61. На банкете в честь юбиляра в сериньянском кафе.



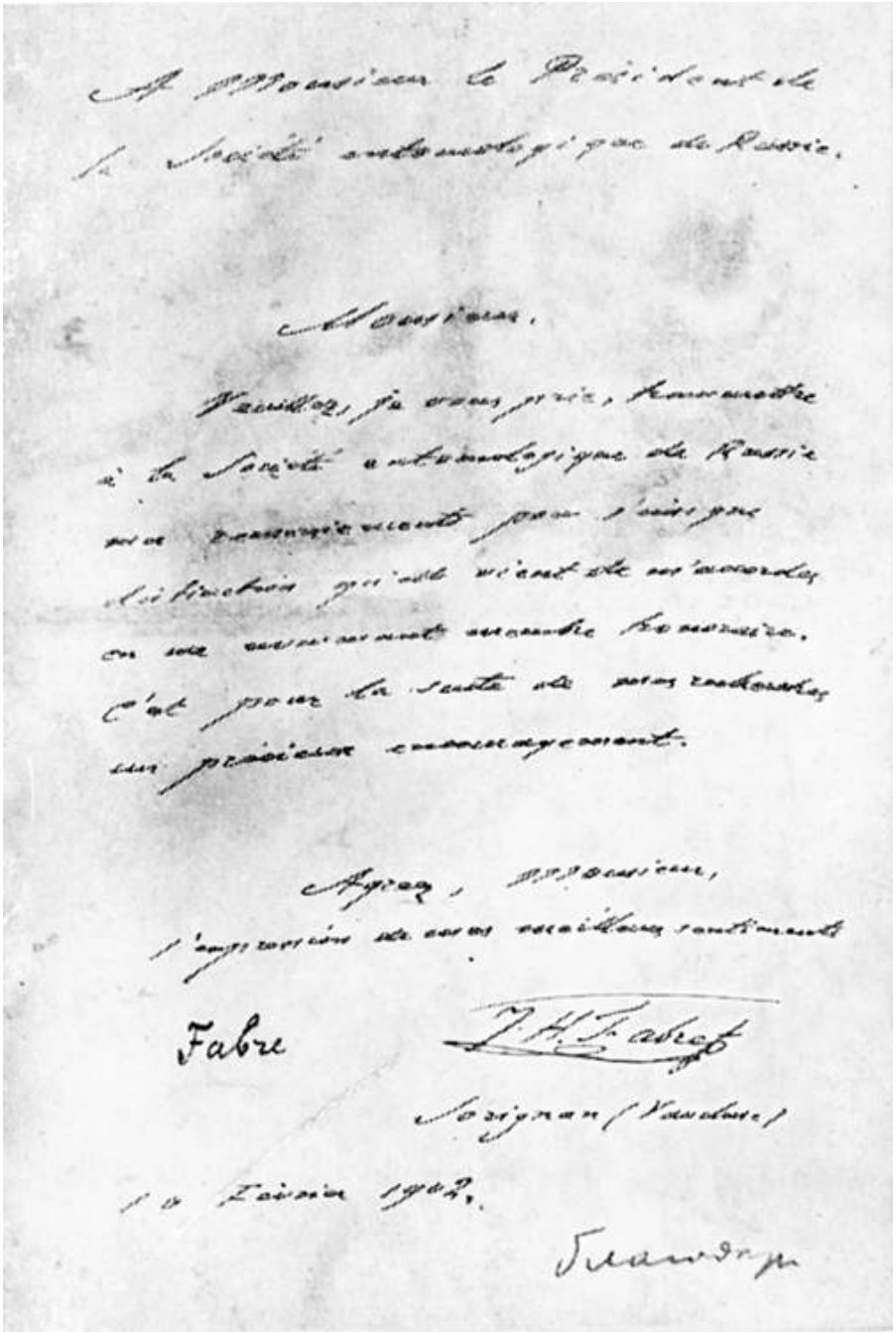






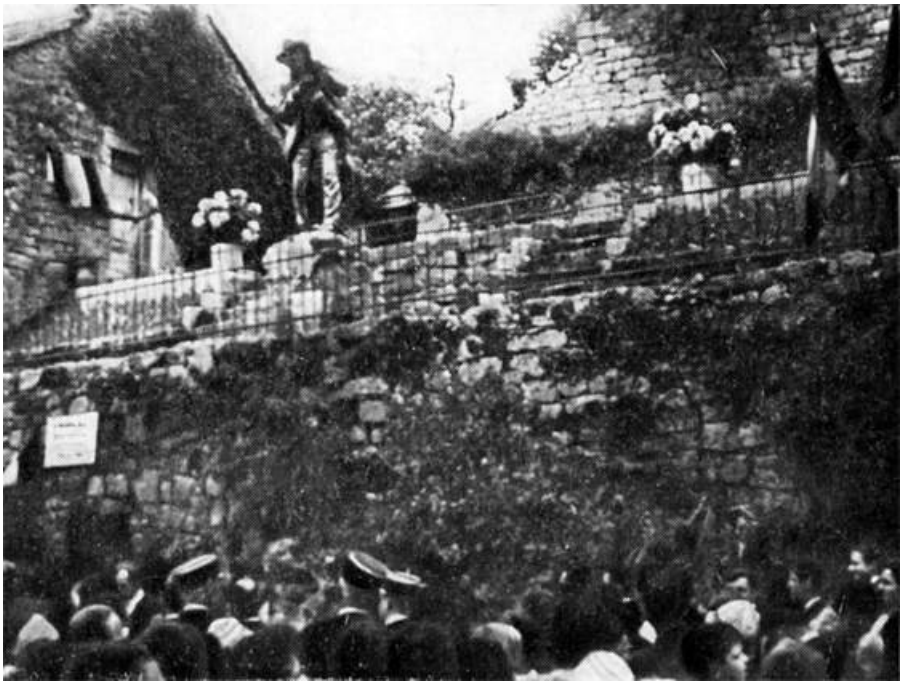


62–66. В стеклянном садке Фабр поселил скорпионов.



67. Фотокопия письма Фабра президенту Русского энтомологического общества с благодарностью за избрание почетным членом общества. Оригинал хранится в Архиве Академии наук СССР. Публикуется впервые.

68. Фабру 80 лет.



69. Октябрь 1965 года. Открытие мемориальной доски на стене дома, где родился Фабр. Надпись гласит: «Дом фелибра насекомых».

Содержание

Глава I. Его университеты
Ярмарка в Бокере … 5
Жан-Анри-Казимир — сын и внук Фабров … 10
Школа господина цирюльника … 13
Двадцать четыре утенка и синяя птица … 19
С семьей и без семьи … 21
Глава II. Первая ступень
Счастливый день … 27
Бакалавр, лиценциат … 33
Знакомство и прощание с Корсикой … 43
Глава III. Авиньонская каторга. Авиньонские радости
Занавес поднимается … 50
Новые незнакомцы … 60
Пустая дорога … 67
Маршруты восхождения … 74
Немые актеры, говорящие сцены … 85

Ализариновый мираж … 108
Глава IV. Изгнанный
Черный год, трудное десятилетие … 119
Чувство дома … 133
Глава V. Третья жизнь
Час — шестьдесят минут … 148
День и ночь … 162
Сериньянская академия … 178
Полвека … 190
Глава VI. Конец и начало
Сто лет спустя … 205
Запоздалые скрипки … 214
Основные даты жизни и деятельности Жана-Анри Фабра … 230
Краткая библиография … 232

notes

1

Это о ней писал 22 сентября 1882 года Ф. Энгельс, сообщая Бернштейну, что Елена Тейлор, приемная дочь Джона Стюарта Милля, прислала деньги в избирательный фонд.

2

Так называют в Провансе дешевые гипсовые фигурки святых.